



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WIDENER



HN HBE8 4

P 5171



СЕЛО ГОРТОПИ

ОПОВІДАНЄ.



ЧЕРНІВЦІ — 1906

З друкарні товариства „Руска Рада“, під зарядом Івана Захарка

XP5171

✓

053 X 139



орогою, яка веде з Извору до Гортонів, ішов рудий Мортко. В правій руці держав гудзовату ломаку, в лівій ніс капелюх і кафтан і тягнув за собою сухоребру, ялову сивульку. Він мав склеп у Изворі і торгував збіжем і худобою. Сонце вже добре припекло і Мортко присів у тіни дерева.

Кругом тихонько, не видко людскої душі. Кукурудзи ще на ниві, але жито і пшениця вже в кланях. Деся із червонявої гречки пітнілітька не-репелиця.

Мортко поклав долоню поверх рудих бров і повів оком у віддаль. Ген-ген з ізвірського пригорбка видно було щось чорне. Ворона би то, чи пес? Мортко підождав, а то показав ся чоловік, але чи би на кони, чи на колесі, таким, як то паничі в місті їдуть? Дійсно,

так. Зближуючи ся до місця, де сидів Мортко, панич встав з колеса і провадив его попри себе.

Мортко встав і потягнув корову за собою. Осміхаючись приязно, запитав ся панича: — А з далекі? —

— О, з далекі. Це дорога до Гортопів? —

— Акірат вона. Може новий пан учитель? —

— Так. А де можна би там переночувати? —

— У Сруль. Файне собі чоловік, має заїзд. —

Слово в слово прийшли на пригорбок, з котрого побачили Гортопи. Сільце лежало вповите в зелень розлогих дерев, ліворуч тягнув ся буковий ліс. Між хатками, соломною вкритими, виринали і більші будинки, гончені і мальовані.

На голічці, край села, грала ся юрба дітей і пастухів. Скоро лиш пізнали голодранці Мортка, всі одним голосом закричали: — Мортко має череду під ярмурков на біду, — і зачали бляяти ріжними голосами.

Завстиджений Мортко покивав ломакою і сказав до учителя: — Вай мір, будете мати файне закуске в ці Гортопи. Молоде таке буйне, хлопці насканують до очий ек той кутюга. —

Учитель запитав ся: — А стариня? —

— Така сама, простаки, упєрті гарами. Ідїть до Сруль, файне чоловік, він оповіст вам за село. А будете потребувати коровка, файне, тирольске, або може готовий грейцар, то дайте знати, а Мортко принесе. Не з гешешту, а аби сходити си з добрими людьми. А гіт юр, пані учитель. —

За сим словом навернув ся Мортко в бічні сутки, а учитель пішов дальше.





едалеко церкви сидів начальник. Учитель вступив до него, аби взяти ключ від школи, та нікого не було дома. Учитель пішов на дорогу, надібав хлопця і той попровадив его до школи. Йлучи дорогою, учитель розглядав ся на право і ліво.

— Як виджу, тут найбільше бідних людей, коло хаток кармничок, колешенька, кошничка, більше нічого Стодола лиш там і он там, — говорив він до себе — Тутешні люди, здаєсь, лихо господарять. Правда земля глинковата і не рівна, снадами тяжко єї й виорати. І овочеві дерева прастарі, занущені, дикі. —

— Ходиш до школи? — запитав ся він хлопця.

— Аек, від Великодня. Аді, це школа. — Учитель увійшов на обширну обору. Посеред неї стояла старезна, кріслата липа. Будинок не великий, ще добрий. Коло школи садок і яких десять запусгліх грядок. Оглянувши ся, подумав учитель: — Ог в сїм затишку дасть ся якось прожити. Садок нащеплю, огородину позасїваю, а рої будуть брєніти округ цвитучої липи. З під неї красний вид на село і лїс. Правда, 90 дїтий учити і навчити, се добра закуска, але нащо я молодого народу. Також кажуть, що тутешні люди недовірчиви і уперті, але чи то не всюди в нас так? Нещасливі обставини зробили наших людей такими.

Ми власне, їх приятелі, мусимо їх виховати, їх переконати, що в вже і між нами приятелі народу і тогди вдасть ся нам зжити ся з ними. —

З такими гадками оглянув домівство, відтак припер ворота і пішов зі школи дорогою в низ. — Гей, хлопче, де ти? —

Хлопець лишив юрбу дітий, що зібрала ся на дорозі.

— Де тут заїзд Сруля? —

— Аді, ек ті тополі. —

То був на сино помазаний великий дім з фігурами і чорним дахом, з обох кінців брами. Учитель перейшов шинок і вступив до бічної кімнати. Тут сиділа коршмарка і колисала дитину.

— Прошу варених покладків і грінку хліба — сказав учитель. Она притакнула і пішла розкласти ватру.

В тім роздав ся захриплий голос з поза стола в шинку: — Мой, Бінцьо, ще порційку! — Розхрістаний п'яниця підняв порожню порцію, щоби еї подати коршмарці, що саме входила.

— Танаске, ци не буде тобі доста? — сказала она.

— Ох, Бінцьо, де твої глuzzi, гадаеш, шо в мене гроший нема? Озде петнацїть грейцарів, шо мають разом помандрувати. —

— Не стидно тобі, Танаске, пропивати гірке гроші, шо Єринке заробила тобі на хліб? —

— Засі тобі до мої дівчини! Вона чемна і дбає за старого тата. Гей, сегодне мого патрона, дай горівки, бо закличу Сруля. Він даст дві порції за одну. —

Бінця дала горівки.

— Кілько роки тобі? —

— Шішт десїток. —

— Файне вік, Танаске. —

— Йой, Бінцьо, собачий вік! Двацїть, трицїть, аек, файний вік. Але шішт десїток, рахувати, поганий вік.

Ци ек кажеш, Срулю? — запитав ся він входячого коршмаря, подаючи ему порожну порцію.

— Вперед гроші, Танаске, не можна боргувати. —

— Дуже це файно, Срулю. Бінця каже доста, ти таксамо не даеш! Шість коров, моспане, стоели в мене в колешни, штири круторогі орали менї рілю, а ти не даеш горівки? На петака, тримай собі порцію, дай літерку! —

Коли Сруль побачив гроші, зараз принїс замовлену літерку.





Рудий Мортко поманджав до Гната Харини. Тут на широкій оборі стояв віз з білим хлібом, з котрого підсадкуватий господар скидав снопи до стодоли.

— Боже помагай, Гнатке, не перебивай си, скінчи роботу, я підожду. —

Господар поволи оглянув ся і ледви що покивав головою. Мортко не дуже сим уразив ся. Тут був він як дома. Він припняв свою ялівку коло плота, кинув перед ню кілька стебел соломи і пішов просто до отвореної колешні. Корови по-вставали одна по другій. Мортко оглядав їх за порядком. Одні були гладкі і вишасені, иньші худі і стряпаті. Наконець Мортко став перед невидною коровою, яку оглядав і обмацував зі всіх боків. Відтак поплескуючи єї по стегні, сказав: — Єкос вичухаєш си, козульки, буде з тебе добре коровке. —

В тім увійшов Гнат Харина. Глянув на Мортка застрашеним і гнівним оком.

— Ну, Гнатке, — почав Мортко медовим голосочком, — треба пофалити тебе, знаєш ходити коло ходоби. —

Господар мовчав і дивив ся в долину. Нараз підняв голову: — Шо маєш, Мортку, кажи зараз! —

— Шо буду, мати! Нічо. За нічим вібігав сми ноги, аж кров тече. За вісім дни ярмарок на Слобідке, нема гроші, треба дома сидіти. Мусиш помогчи, Гнатке. —

Господар остовпів, закаменів. Єму стало такважко, що аж лице скривив. Не відповідав ні слова.

За хвилику почав Мортко знов: — Ану, ци можеш сказати, шо не мав сми велика терпеливість? Таже ти мені винен проценти за два роки. Дай мені їх. Аби я так здоров дійшло до дому, шо більше не почекаю. Мусю їх мати. —

Харина закусив зуби а відтак дрожаючим голо- сом промовив: — Мортку, зараз скажи, шо хочеш від мене? —

— Та я тобі не сказало на розум? Гроші хочу. Чей-же не допустити до скарги, аби люди горлали, шо за пару левів зафантовано богача Гната Харину! —

— Мортку, ти знаеш так як і я, шо в мужика нема будь коли гроший. Зажди до другої Богородиці, тогди продам зерно і худобу. —

Можеш і зараз продати. Я беру отсу козульке в рахунку. —

Мужик озвав ся: — Аді, куди, це моя найліпша молочна корова, еї не дам. —

— Ну, то послухай таке: — Поміняймо си за ту коровке на дворі. Єк втрачу, додаш мені лиш два леви. Тобі лиш так спускаю. Гнатке. —

Господареви вдарила кров до голови. Лице по- синіло з великої лютости. Сягнув за іралями і кинув ся на Мортка: — Ой ти окаяннику, меш си з мене ще й насмівати! —

Мортко скоком скрив ся в яслах, кличучи то- неньким голосом: — Боже справедливе, Гнатке, не роби нещесте. Пусти мене, пусти мене! —

В тім явив ся в дверях син Харинин, Трохим, і закликав: — Тату, затигнуло на слоту. Треба би борзо ще раз обернути. —

Гнат обернув ся і кинув іралі: — Добре, Тро- химе, спішіт си лиш! — Відтак сказав до лихваря: — Ви- лази, Мортку, Бог тебе бери. —

Не спускаючи очий з Гната, Мортко поволи ви- ліз з ясел і боком посував ся наперед.

— Так, Мортку, — почав Харина наново, — отвори широко твої осячі вуха. Вічне конїроване мені вже надійло. Ти напосїв си, аби з мене кров спустити. Господи, нема супокою ні днем, ні нічею! Спиши, шо сме тобі винен. В осени все продам. Тобі дам твою частку, аби-м втратив і половину маетки. —

Мортко остовпів, як стрілець, котрому втік зацяць. Відтак зблизив ся до Харини і протягнувши руки, сказав: — Нашо продавати, Гнатке? Шкода розривати фayne домівство, еке до купки тримали твої діди гірким трудом! З жалю в гробі обернули би си. —

Мужик тихо застогнав.

— Не продавай, Гнатке! Оженім Трохима, я знаю дівчина, шо має гроші. —

Гнат відвернув рукою. Але Мортко аж заслинив ся: — Страшно то маетна дівчина, сирота, брат богато оженив си і може зараз сестру сплатити. Бігме це делікатне інтерес, бігме поплатне. —

Господареви було стидно, шо его Трохима висватує нехрист, але знов була се одинока надія видобути ся з своєї нужди. Він запитав ся: — А то хто? —

— Шеревирі Татяне з Вовчинці. —

— Шо, та відьма, та стара шкорба, від котрої всі втікають ек опарені? —

— Еке відьма, еке шкорба! Краса не нагодує чоловіка. Вона має гроші, а нам гроші треба. Шо собі гадаеш? —

— Де схоче єї Трохим! —

— Ек він знає Божі заповіди, то послухає свого тате. —

— Най дїе си Божа воля, — сказав мужик сумно.

— Ти розумне чоловік, Гнатке, ти мудре ек рабін, лиш за бистре маеш кров. Піду я до Вовчинці, засилю я нитка, шо ти лиш цмокнеш кажучи, ека добра душа Мортко.... Ну, шо козулька? Даш єї, я продам і маю гроші. Тогди речинец най буде на Бородица. Доти може прійти і до сьова і весїля. —

— Мортку, заткай си, я втратний на таким гендлю. —

— Ну, ек тобі, додам до мінянки два срібні. Відшибну їх в книжках. Най пібе мене грім, ек не тратю на цім торзі. —

Торґали ся сюди й туди. Довго опирав ся Гнат. Наконець сказав : — Ек здимидіеш з моеї обори до Богородиці, най біда бере. Інакше ві. —

З великим вереском заляв ся Мортко, що до Богородиці не покаже ся на оборі Гнатовій. Він подав долю, в котру Харина три рази вдарив і так наступила злагода. Мортко скочив за худоз сивульков, Гнат вивів з колешні бажаву корову. Она зарикала за своїми яслами і прошила тим серце господаря. Він еї викохав, тому й любив. Мозолистов руков мило поплекав еї, якби з нею прощав ся.

Мортко завів сивульку, вернув ся з колешні, припняв корові курмей до рогів і забрав ся з очий, мило носьмішкуючи ся. Але йдучи до воріт, як гадина тихо засичав : — Попаметаеш мене, собачий гою, шос хотів замордувати мене живцем ! —

Гнат, примкнувши двері від колешні і стодоли, зайшов тяжким ходом до хати.





Ут було тихо, лиш мухи брешли. Гнат ходив із закутка в закуток, місця собі не находив. Тяжка жура, якої ніколи ще не зазнав, стиснула его серце. Сягнув за сволок за кашуком, напхав люльку, витягнув кресало і запалив. Але зграз відклав люльку, спер ся на долоні і сумно дивив ся наперед себе.

В тім до хати увійшов Трохим.

— Так, це ти, Трохиме? Закинулисте снопи до стодоли? —

— Аек, тату. —

— Де Гайдукова? —

— Побігла до дому до дітий. Казала, що цього тижня вже не надбїжит, мусит свої зароблені снопи забирати. —

За сям стало тихо в хаті. На дворі стемніло ся і підняла ся страшна буря, аж віконця дрожали. Гнат сїв за столом напротив сина, не підоймаючи очий.

— Аек, Трохиме, — промовив він нарешт, — так далі йти не може. Робітник дорогий і нема его відки взети. Не помагают ні гроші, ні добрі слова. І наша наймичка Макрина вже не довго зможе робити. Ми оба чоловіки не дамо всему ради. Крайний час, аби оженив си. —

Здивовано поглянув Трохим на тата: — Шо, тату, нараз так страшно наперло? —

— Трохиме, таже маеш рокі. Я був два роки молодший, ек мої покійні неньо вишукали для мене твою покійву маму. Саме трафее си поредна дівчина, шо нам би придала си. —

Знов наступила тишина.

Наконець почав Гнат наново : — Трохиме, ти знаеш Вовчинські дівчета ? —

— Знаю кількоро. —

— Є межі ними дуже маєтні, Трохиме. —

— Аек, тату. —

— А заходив ти коли до Шеревирі ? —

— Аек. —

— Шо кажеш за Татяну ? —

Трохим здихнув. Дотепер дивив ся непорушно навперед себе ; тепер підняв голову і сказав супокійно : — Ні, тату, та не до мене. —

Тато надівав ся на таку відповідь. — Чому не до тебе? —

— Єї ніхто не хоче, і я не хочу. —

— Не бидзкай си мені, Трохиме. Пискувати не смієш ! Татяна має гроші, а нам гроший треба. —

Нехотячи повторив він слова Морткові.

— Ага, вже вижу, Мортко сватає. —

— Трохиме, — напирив тато, — ти видів, ек я мав почестувати его іралями. Він пего не забуде. На Богородицу треба его закутати, инакше буде зле. —

• — Ій, так зле не буде. —

— Гірше, ек ти гадаєш. Дотепер давав сми тобі волю, тепер мусит піти по моему. На другу неділю діло зачіпаю у Вовчинцех. І шо ще хотів сми сказати, біганина за иншими дівчетами має мені перестати. Треба мати фрику. —

Трохим почервонів : — Я за дівчетами не бігав. —

— А-за Кричуновов Єринов на храму. Майже лиш з нев данцував, лиш єї обдаровував. Най буде, вона й так не має багато добра у твої тїтки, началнички. Але тепер всему конец. —

— Тату, Єринка чемна дівчина, — відповів син гірко.

— Сюди чи туди, та смішкам кінець, а розвага має тепер наступити. —

— Тату, це не смішки. —

— Навчу я тебе, хлопче. Ти висватаєш Татяну і на цім кінець. —

— Ліпше живцем до пекла, ек. ту стару відьму! —

На дворі буря люто розіграла ся. Але більша ще лють запанувала між татом а сином.

— Мой, хлопче, — кричав Гнат, — ек би я загинув, то робишо хочеш. Але я ще триваю і маю розказувати. Ти засватаєш Татяну. —

— Ліпше піду каміне товчи. —

— Хлопче, — закричав Гнат захриплим голосом і підняв руку. В тім гримнуло страшно, грім вдарив в старий оріх перед хатою, розшарпав і повалив его до землі. — Ой це не добрий знак, — сказав господар і зажурился.





уря проминула і наступив милий холод. Шанцями гонили каламутні води, болито ся з неба, як з коновок. На улиці кричали знов воробці і дїтвора.

Учитель пішов до дому начальника. Коло воріт люто загавкав таркатий пєско.

В хоромах роздав ся пєскливий жіночий голос : — Єрино, подиви си, чому Таркуш так скажено гавкає. —

Молода дївчина вибігла і спинала собаку. Відтак запровадила учителя до хати.

Начальник Гаврило Лупій сорбав за столом борщик. Був вже беззубий і тяжко жмякав черствий хлїбець. Свіжий хлїб він не любив, лиш двонедільний. — Чим свіжіший хлїб, тим більше его минає си, — говорив він до своєї жінки, а она на се лиш потакувала.

Учитель поздоровив начальника. Сей поглянув непривітно і сказав : — Я не даю нічо ; йдїт собі. —

Здивовано подивив ся учитель на сукритого, худого чоловічка, кажучи : — Таже я новий учитель, Максим Скорейко. —

— Та — ак? — відповів Лупій і его лице трохи прояснило ся.

— Гадав сми, шо ви єкийє аєнт і тим пройди-світам я нічо не даю. Менї также ніхто нічо не дає. Просимо сїдати. —

— Я прошу о ключі від школи і о єї вибілене, — сказав учитель.

Начальник настрашився, що буде більше просьб, і тому зачав споминати о злих часах, дорогих робітниках і о громадській радї, яка над такими потребами має рїшати. Пішли до школи. По дорозі здибали они трох людей, з котрими начальник познакомив учителя. То були Шлемко Захарій, Орелецький Наум і Перелерко Фока.

Всі они привиталися з новим учителем сердечно.

— Я за вас вже чув, — сказав Шлемко. — Мій хлопец показував вам школу. Каже, що ви відай дуже парите. — При сїм сердечно розсміявся.

— Думаю, що наука піде і без бука. —

— Ой, бука треба, — додав начальник поважно. — У наших Гортопах до бука привикли. За наших часів були побої, що чоловік омлівав. Сегоднішня молодїж багато гірша і нечемна. Такі твердо треба шкварити. —

— Е, не туди, Гавриле, — відповів Орелецький, чоловік з високим чолом і розумними очима. — Післї побитої верстви приходить розвезена, казав бувало мій дїд, і правду говорив. Різкою не багато вдїеш, завше вперед треба доброго слова. Але чого стоїмо на дорозї? Я не люблю вступати до шинку, але хотїв бим розпізнати си. —

— Ходїм, — сказав начальник, — і так маємо за білене школи радити. Нас авшусїв тут штирох, Сруля чей найдемо дома а за Фрацияном пішлемо. —

В коршмі було пусто, лиш в закутку сидїло трох пїяків, Мафтей, Талалай і Пентелей. Серед стола стояла фляшка і порция, а они грали в кїстки.

Небавом надїйшов Фрациян. — Єк си маєш, Костатїю? — сказав начальник вічливо. — Це Костатїй Фрациян, а це новий пан учитель. —

Фрациян вклонився і сїв коло стола. За хвильку сказав: — Саме найшли Танаска пяного в рові коло хати гайдука. Не бракувало багато, а мав там утопити си. —

— Хотів би я знати, хто Танаскови знов дав горівки. Таже боргувати заборонено, а ек такі ему дають, то наша рада мусит цему запобігчи, — сказав Шлемко.

Сруль при сих словах скоро забрав ся з хати.

— Ну, — зауважив Лупій — шо тут вдіеш, Танаско найде горівку, хоть би єї викопав. Чим борше на смерть запе си, тим ліпше громаді. —

— Хто той Танаско? — запитав ся Скорейко. Наум Орелецкий відповів: — Танаско називає ся Кричун і він був найбогатший чоловік на все село. Лїнивство і лихварі зробили ему амінь, прогнали его з хати, тай став піяком і громада мусит его тримати. —

— Мають нехристи тут велику міць? — запитав ся учитель.

Тишина. Кость Фрациян пошкробав ся в голову. Лупій скривив лице, якби мав казати: — Шо его таке обходить? —

Нім хтось з присутних підняв голос, обізвав ся із закутка Мафтей: — О, файно тут у нас, пане учителю. Тут люди а нехристи за пан-брат. —

— Мовчи, Мафтею, шо маєш тикати тут твій ніс, — крикнув Фрациян.

В тім відтворили ся двері і показав ся кривий ніс Мортка: — Нема тут Танаске? — запитав ся тихцем Мафтея.

Учитель запитав ся Фоки Передерка: — Може сей має Танаска на совісти? —

— Акурат цес, — відповів Фока. — Ек лиш Танаско его вздрит, зараз ловит его за горло. —

— Пождіть, — подумав учитель, — коби я лиш тут місце загрів. — Відтак запитав ся Мортка: — Чому ви так боїте ся Танаска? —

— Ну, ну, пане учителю, ек би ви его знали, ви би непитали си. Має дурійка. Чоловік небеспечно. —

— Так, так, — сказав Скорейко, а відтак до Лупія: — Я вперед вже хотів вас запитати ся, е тут у Гортонах Каса пожичкова і щаднича? —

Рудий Мортко скривив лице, як би давив ся.
Лушій помахав головою: — Цего в нас нема і не треба. —

— Фалчиво говориш, начальнику, — замітив Фока Передерко. — На Полянї, куди моя сестра віддана, є Каса. Люди там складають і жичат гроші на дешевий процент і Каса спроваджує грис і всю потріб далеко ліпшу і дешевшу, як у нас. —

Тут обізвав ся і рудий Мортко: — Каса, фayne справунок, мусит маєтний класти голове за бідного, це неограничене порукі. Мусимо гіркий грейцїр давати за довги инших людей. —

— Доки я начальником, доти не буде тут ніякого товариства, — заявив Лушій люто. — Файно би було, аби чоловік мучив си задля таких людей, шо нічо не робят і нічо до купи держати не хотят. —

— Началник розумно говорить, — притакнув Фрациян.

— Ну, — замявкав Мортко як кітка, — пан учитель немав злого на гадїї за Касу в Гортпах. Але він ще молоде чоловік і не видит, яке то небезпечне. —

— Ой, лишїть се, за Касу говорити можу. Я саме до тепер три роки був в такїй Касї касиером. Она людям принесла лиш користь. Страту мали ті, шо брали з людей лихварский процент. —

Рудий Мортко притаїв ся і розмахував руками.

Розважно промовив тепер Орелецкий: — Мортку, най же я тобі скажу: Я за Каси нічо не чував, але ек ти против них, то мусит це річ бути добра. А чому? Бо шо нехрист нашому чоловікови радит, то шкодит чоловікови, а шо нашому чоловікови відраджує, то хосенне чоловікови. —

— Ну, ну, Науме, ти любиш жертвувати. Знаю я тебе. —

— А тебе Мортку ми всі знаємо. —

— Я гадаю, шо чес розходити си, — сказав начальник. —

— Ага, — додав Орелецький — чей ніхто не противний тому, аби школу вибілити? —

Всі пристали. Лиш Фраціян вперед поглянув на начальника а відтак так само непривітно притакнув.

Коли всі вийшли, сказав Мортко до Сруди: — Ну, чи ти чуло таке? Він хоче Каси. Ой, це небезпечно собі чоловік. —





Старий Харина гриз ся тим, що так люто сварив свого сина. Він постановив поступати розважнійше. Насамперед помандрував він без відомости Трохима до Вовчинців. Удаючи, що шукає пари до свого бичка, вступив до дому Шеревири. Єго привитали радісно. Татьяна поставила добрих галушечок і цілу барівочку запіканки. Тут отже не було перепони, але що почати з Трохимом? Харина купив ему дві ширинці на Вовчиньскім ярмарку, блискучу люлечку, і хоч сам курич відпадкми від пануш, приніс синові пачку за 8 крайцарів.

Трохим прийняв вдячно дарунки, але своїх намірів не змінив. Постановив непохитно не сватати Татьяни. Але він був так само переконаний, що не потрафить тата наклонити, аби пристав на єго вінчанє з Іринкою Кричуною. Та мимо сєго надїя єго не покидала. Молодє серце має то виключне право, надїяти ся там, де нема чого надїяти ся. Нєраз сидячи в недїлю вечером на приспї і пускаючи з рота голубї колїсця диму, видїв він гейби в снї, як Іринка порєє ся господинєю в рєдиннїм єго домі, і серце єго шемїло з великої радости.

Одної недїлї Трохим був коло пчїл в огородї і тогди то шуснув рудий Мортко до їх хати.

— Файне добре день, Гнатке. —

— Добре здорове. —

— Ну, ек там любеню? — запитав ся Мортко, мило усміхаючи ся.

Харина не відповідав, а скривив зажурене лице.

— Ну, — продовжав Мортко — читаю тобі з лице, шо ти злої волі, шо-м прийшов перед Богородица. Та я з приязни, був сми у Вовчинці у Шеревирів. Чекают вони там на Трохим, а Трохим не приходит. Нема дива, казало сми, Харина з сином одинокі на велике господарство. Де їм взети чес у осїнну пору. Обіцяло сми, шо Трохим прийде до Вовчинці на друга неділя. Тогда даст си запита слове, ек лиш Трохим не збицкае си ек дурне теле. —

Журливо відповів Гнат: — Мені не видит си, аби він туди пішов. Став гет супротивний. Ми велико поперечили си, ек я спімнув за женіне. —

— Ну, дам тобі добра рада. Поговори з твоя сестра, начальничка, вона хитрійша ек ми оба разом. Вона замотае Трохима. —

Гнат помахав головою. — Це не піде. Ти знаеш, ми ще від поділу не сходимо си. —

— Гнатке, ек хочеш вилізти з болота, треба до всего брати си. Знаеш, шо на Богородица треба дати мої гроші. Ну, ну, не фукай, опаметай си. Може я зачекати й до новий рік, ек вздрю, шо женячка рупшае си. —

Чоловік поклав голову в долоні і задумав ся. Відтак сказав сумно: — Нема виходу, треба пролігнуту перчицу і говорити з Теклев. —

По вечері сказав Гнат до сина: — Лиши си дома, маю в селі орудку. —

Десь за годину чуе Трохим, а Макрина кричить на оборі: — Ай, ай, світ си западае, екі рідкі гості. — Трохим відхилив двері. В хоромах була его тітка Текля. Проразливим голосом она захищала: — Вечер добрий. — Трохим так зачудував ся, шо серце его потрясло ся. Він не любив тітки. Десь перед десяти роками забрав ся він був з хлопцями до саду вуйка

Гаврила. Вибігла тїтка Текля, а хлопці в ноги. Як він остатний перескочував плїт, трафив его камїнь в голову і він місяць відлежав без пам'ятї. Від тогди він тїтки не видїв.

Гавриліха почала: — Прийшла м подивити си, що у вас си дїе. Жито вже змолочене? Дякувати Богу за погоду. Правда, капуста здало би си трохи дощику. —

— Аек, — сказав Трохим понуро і запакав шаечку.

— Господи, Трохимку, не роби такого диму, ек з горна. Боже светий, що ті чоловіки фуреют тих грошій на тютюн. Та вуйка я відучила, вже не пакає. Бігме, до вашої хати придала би си поредна жінка, аби все до купи тримала. —

— Не думаю ще женити си, — відрізав Трохим.

— Ой, Трохимку, але вмїеш ти притаювати си. Таже я чула, що йдеш на храм до Вовчинців. Це, рахувати, добре діло. Там є богачки. Простоволосої тобі не треба. То був би великий стид, аби через тебе дізнала запропастила си. —

Трохим підняв голову і хотїв щось відповісти, але тїтка не допустила.

— Ек не хочеш до Вовчинців йти сам, то може з тобою піти нап Якимко. Ти знаєш, він хлопец складний. Він справив би тебе на добру дорогу. Кинув ти може на еку дївчину оком? —

Трохим розгадував, як ему при сїм торкотї поводити ся. Він пізнав, що тїтка прийшла з наказу тата. Пускаючи клубами дим, кликнув він: — Тїтко, не бийте собі голову. Ек тато не приченив мене до Татяни, то ви цего не вдасте. —

Гавриліха остовпіла: — Шо ти верзеш за тата і Татяну. Не знаю, бігме, що ти хочеш. В селї...

— Але я знаю; вам не треба крутити і скривати си. З того нічо не буде. —

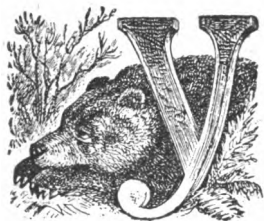
— Трохиме, — кричала тїтка і біла костистою рукою до стола — ци тобі не стидно? Я йду суда

і говорю з тобов по доброму, а ти зачинаеш крутарством і скриванем. —

— Ой, лишіт вашу доброту. Аді гудз на голові десятилітний. —

— Но, мені доста. Бери собі, кого хочеш, про мене й піякову Єрину. Але знай, ек лиш раз вздрю тебе з нев, нажену єї з служби. — За сям гримнула дверми і забрала ся.





Сруля сидів Танаско, розчіхраний і зарослий, і думав тяжку думу. Утроба порожня а шинкар не боргує.

Увійшли два проходжі паничі і лиш его побачили, кажуть ему, щоби виліз на вікно, они хотять его малювати. Танаско опирав ся, але як ему заплатили літерку, він пристав. Малювали сюди і туди а за годиву сказали „доста“ і дали ему по срібній короні.

Якби очарований глипав Танаско на срібло; тільки гроший его рука давно не мала.

— Срулю, літру оковитки! —

Спершу мав гадку ликнути горівку нараз. Відтак постановив сорбати новоди, щоби щастя цілковито засмакувати.

Так сидів він цілий поцолуденок і пив та пив. Чим раз більше западала ся теперішня его нужда. Він став знов богатим господарем з набитою грішми мошенкою.

Коли вечером увійшли Мафтей, Пентелей і Таладей, крикнув до них: — На, мой, пийте за мое здорове, сегодне продав сми пару ситих волів. Гей, братчики, прошу, саракі ви небожета. —

Пізною вночею поплів ся Танаско улицями. Темнота кругом чорна. Переходячи греблею, нараз щось бовтнуло у млинівці і знов стало тихо.

Другої днини прибіг Мафтей до Лупія і сказав: — Пане начальнику, ходїт до млина, Танаско утопив ся. —

Лупій пішов. На гребли стояв гурток людей, живо розмовляючи. Мертвець лежав перед ними зі скривленим лицем. Навіть Лупія переняв жаль. Колись маєтний господар, а тепер...

— Чого стоїте тут і повітріщали очи! Гайда, до трупарні з ним, — крикнув Лупій.

Всі подали ся назад. Ніхто не хотів підоймати тїла. Тогди то, хоть ще підчимеричені, взяли мерця Мафтей, Пентелей і Талалей і потаскали до трупарні. Нарід розійшов ся а начальник подав сей припадок до відомости суду у Слобідці.

Коли Лупій вернув ся до дому, вбігла рівночасно з поля Іринка до хати: — Господи, правда, шо тато мій умер? —

— Агій, — відповів Лупій — цього було ще треба, аби ти через таке роботу лишала і до дому бігла. —

— Таже то мій тато, — сказала дївчина тихо плачучи.

— Овва, будь рада, шо-с збула си непотріба. —

Дївчина замовкла і поблідла. Відтак каже: — Ци ви деревище замовили? —

— Є чес. Штири дощці за годинку зібют. Він громаду доста коштував. —

— Іринка підняла голову: — Громада це не буде платити. Мій тато має мати похорон, ек кождий господар. Я замовлю ему деревище. —

Іринка взяла тлумок шлатя і пішла до трупарні, тата видіти. Гробарці передала шмате, аби его вбрала. Замовила в стельмаха деревище, мальоване чорною краскою, і пішла на Слобідку до панотця.

Сивооголовий старик похвалив еї, що хоть она заробляє собі на хлїб власними руками, то не скупує ся, аби тата гідно поховати.

Дївчина заплакала і сказала: — Тепер вже не маю нікого на світї, шо би мнов опікував си. Мене задля тата всі відпурали си, тепер я сама одинока. —

— Успокій си, Єрино, таже ти маеш ще тата на небі. Він тебе не опустит. А як потребуєш ради або помочи, прийди до мене. —

На готари Гортонскім почула дївчина за собою скорі кроки. — Єрино, — роздав ся голос Трохима, — пожди часочок! —

Кров вдарила їй до голови і зарум'янила личко. Она встромила очи в землю.

— Єринко, не бери собі це так дуже до серця. Даст Бог, все наверне си до доброго. —

За сим щиро подав їй руку.

— Коли похорон? —

— Позавтра в полудне, — відповіла она і підняла очи. Невисказані слова сердечної любови пішли в обмін. Відтак ступали обоє мовчки дорогою, доки дівчина не дійшла до хати начальника.

Та на оборі накинута ся на ню Гаврилиха мокрим рядом: — Ов, дуже чемна наймичка, пльонтає си цілу днину а робота єї й не в голові. —

Ірина відповіла супокійно: — Я татови на похорон старала. —

— Аек, тай попри то вишкіряла си до парубка. Ци тобі не стидно в білу днину з Трохимом тягати си? —

— Я вірно вам служу вже три роки, а ви не то, аби помочи мені тата поховати, а ще мене окарите. —

— Ти не притаюй си, небого, — кричала розлючена начальничка, — ти гадаеш, шо ек я тїтка твого любаса, то ми маємо твого тата ховати? Їди хоть зараз до Гната, він най ховає твого тата піяка! —

— Ек тато був піяком, то вас нічо не обходить. А за Трохима мені не спомінайте, то не до вас! —

— То не до мене? Чекай, небого! Я Трохимови загрозила, шо тебе нажену з хати, ек лиш раз вас разом натарапаю. Тепер марш мені з обори! —

Дівчина-сирота стала як поражена. Відтак, опам'ятавши ся, зібрала своє шмате в тлумок і плачучи поплентала ся через ворота.





Старому Харині ішло як з Петрового дня. Він став сукритий і за малі дрібнички ганьбив робітників. Навіть наймицю Макрині допікав до живого. Она то збаламутила Трохима, тримає з ним одну руку і намовляє его до упертости.

Тогди то стара наймичка як не розреве ся : На таке она собі не заслужила, она не пхає свого носа до чужого проса, она і зараз може забрати ся.

— Но, но, Макринко, екоє то буде. Я лиш не знаю, шо з собов почати. —

І так наймичка успокоїла ся. — Ви, бадіко, чос хмурні стали. Це вижу давно. Воно йде від кровисто-стї. Ануко підїт до Ізвору до цирулика, най накладе вам пявки. То лік найліпший. —

Гнат зітхнув і пішов в свояси. Пявки — саме они завдавали ему тяжку журу. Якось здибав ся він з Мортком, а той і не поглянув на него. Також до его хати не навертав. Се були ознаки не добрі. Богородиця зближала ся. Що стане ся ?

Неодну нічку перележав чоловік на постели й ока не зажмуривши і дивив ся у темряву. Він роздумував, чи не продати з вільної руки часть поля. Але коли докладнійше застановляв ся, котрі ниви і луки продавати, здавало ся ему, що найцінніші саме ті. Коли брав під розвагу инші, здавало ся ему то само. Розкавалцувати маєтність уважав найстрашній-

шим гріхом. Так мучив ся надаремно і не дійшов до жадного кінця. Все повертав до женички Трохимової. Гнів его на сина немав вже міри.

Трохим видів татову журу: — Ох Боже, коби то Єринка була маетна. — Відтак напірав на себе, аби зробити татови волю. Раз такі зібрав ся й пішов тихцем до Вовчинців. Але тут дізнав ся за Татяну таке, що втратив і ту дрібку охоти.

Так стояли справи Гнатові, коли то убігла до хати его сестра Текля: — Ой, велику радість несу вам, Гнате. Гадайте собі лиш, Трохим серед вулиці тягав си з дівков Танаска. Єк вам це мило, най буде. —

Тогди викрикнув Гнат: — Аек, мило! Ліпше пустю з рук, шо маю. Втвори рот, Трохиме, ти з дівков змовив си? —

— Тату, — відповів Трохим, — я єї давно не видів, аж сегодне у вечер; сказав сми Йї кілька слів, бо жаль менї єї було. —

— Диви си но, єке меке серце, — осміхнула ся злобно Гаврилиха. — Але аби ти знав, єк думають поредні люди, я єї саме з служби нагнала. —

— Та ци з вас чого лішого можна було надїяти си? — крикнув Трохим гнівно.

Але тут вмiшав ся Харина: — Я хочу знати, на чім стою. Лишиш ти ту старицу і озмеш ту, котру я хочу?

— Тату, — відповів Трохим дрозачим голосом, — тату, най буде ваша воля, хоть це менї дуже гірко, я забуду на Єринку. Але Татяну не озму на жаден спосіб. —

— От єк, — тровила Текля. — Сюди, туди, а Єринка моя буде. Чому, ци Татяна не гідна дівчина? —

— Не хочу таке мати, єк вуйко Гаврило з вами. Борше задзумбелаш чортяку, єк примириш лиху жінку. Не хочу пекла тут на землі. —

Тато не міг стримати в собі гніву: — А це не пекло, шо все розлітає си? Для кого мучив си я і жури в си днем і ночев? Єк тобі все байдуже, то йди собі в світ за очи і шукай собі прошеного хліба. —

— Так му треба, най знає, що ти тато, — те-
реферила Текля в злобній радості.

Гнат продовжав: — Зараз мені скажи, що в
недлю підеш до Вовчинців, інакше стане си таке,
що довго треба буде покутувати. —

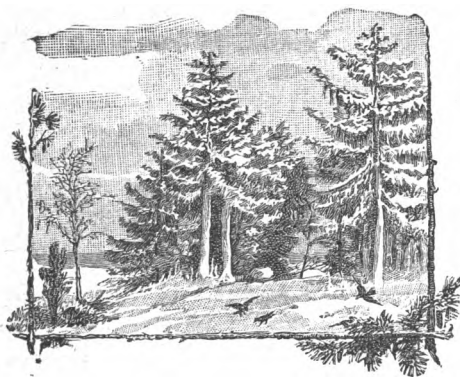
Трохим, блідий як стіна, відповів: — Не можу,
тату, не можу, хотьби прийшло си голодом мліти. —

— Коли так, забирай си мені з хати! — За
сим словом вийшов у хатчину і гримнув за со-
бою дверима.

Трохим не відповів і слова, зібрав у тлумок свое
шмате і покинув свою батьківщину.

- Старенький тато глипнув у віконце за своїм си-
ном. Хотів вийти і его завернути, але Трохима вже
не було видно. Він схилив голову на долоні і тяженько
застогнав.





Надійшов листопад, і одного погідного дня сонечко мило за-світило, немов би ще в послідний раз хотіло виявити нам красо-

ту літа. Але дарма, бо его лучі падали вже лиш на зівялу траву і пожовклий лист на деревині.

Дорогою, яка веде з Гортонів на Слобідку, ішла Кричунова Іринка. Минала саме попри зарослу яругу, і літом темрявою вкриту. Она прискорювала свої кроки. Тут панував нечистий. Минувшою новорічної ночі видів его старий гробар, як він, держачи рогату голову під пахою, ходором витинав на березі гопака. Правда, гробар, оповідаючи такі історії, мав за звичай в чубку, але все такі не мило оно, здибати ся сам-на-сам з безголовим царем темноти.

Іринка зітхнула, дійшовши до вершка горба; перед нею лежали поля і ліси сонцем озарені. Там в долині блещали ся позолочені хрести Гортонської церковці. Було видко і кілька хат. Там она уродила ся, там перебула радість і горе всего свого життя. Тепер она без притулку, як листок, зірваний вітром і гонений у безвісті. Сльози наповнили очи дівчини і затемнили еї зір. Але она скоро утерла їх і пішла дальше. Ії прийшли на гадку слова старенького панотця: — Бог е всюди. Здай ся на него, він поведе тебе доброю дорогою. —

Нараз зашелестіло щось праворуч від неї в лісі. Дівчина здержала свої гадки. З помежи дерев виходив чоловік. Вся кров вдарила дівчині до серця.

— Трохим, — закликала она зо страху і радости. В млі ока парубок станув перед нею і обіймив її. Она склонила голову на его груди а він гладив її по личку.

— Трохиме, ек ти мене настрашив, відки ти тут взев си? —

— З Поляни. Я вже від досвіта на готари чекаю, бо відти видко ціле село. —

— Шо тебе загнало аж на Поляну? —

— Я там наймив си до тартаку. —

— Ох, Трохиме, — сказала Ірина і зітхнула.

— Шо-ж, Єринко? —

— Ох, Трохиме, верни си до дому. Боже милосердний, тато твої добре кажут, богач з богачем, бідний з бідним, так має в світі бути. Погадай лиш, то твої тато, вони тебе вихохали, а тепер самі ек палец. Піддай си їх волі. За мнов не питай си, забудь мене. —

Дівчина замовкла і тихо заплакала.

— Перестань, любко, мені серце рве си. Мені жаль, шо-м пішов собі, і татови напевно жаль. Але вони цего не показуют, тверді. Я їм казав, шо розійду си з тобов і засватаю иншу, лиш не Татьяну. Але тато стоять при своїм. Родичів у всім треба слухати, лиш цего они не можуть жадати, аби задля них жите свое загирити. —

— Шо-ж ми пічнемо обое, Трохиме? —

— Мусимо робити і запрацувати собі на придулок. Тепер вже й десять волів нас не розірвут. —

Милим оком глянула дівчина на парубка. Забула зовсім, шо саме хотіла ему договорювати, аби її покинув.

— Трохиме, ти тепер мій скарб, ти не знаеш, ека я тобі прихильна. —

Трохим хотів дівчину перемовити, щоби з ним пішла на Поляну і там стала на службу. Але она не хотіла, аби люди її не взяли в зуби, шо она за ним волочить ся. І хоть Трохимови було її жаль, то все

таки тїшив ся, що дївчина має почуте чести і гордості. Він пристав на то, аби она стала на службу в Розсохах.

Коли се село стало вже перед їх очима, розпрощали ся без великої туги. Они знали, що належать до себе на віки.

На хвильку озирнула ся Іринка і дивила ся за Трохимом, що жваво сходив у долину. На краю ліса він ще раз обернув ся і помахав до неї рукою. За сим зник.





Школа була набита людьми, навіть хороми і ганок. Тати і мами прийшли подивити ся, як їх діти грають театр „Пастирі вєфлеємські“.

Школярі були сьогодні горою, бо не лиш що їх

обдаровано, але й они обдарували старших. Они співали їм співанки, промовляли в стихах і оповіди любу стародавню історію різдвяну. Родичі трясали ся зі страху, коли їх ціндряк мав приходити на ряд. Але все йшло як на шнурочку. Виставу закінчено хорівим співом дїточим.

Всі були тої гадки, що такого дива в Гортонах ще не було. Навіть Мафтей, Пентелей і Талалей, що не знати яким чином зайшли до школи, признавали : — Що правда, мой, на таку забаву пішов би я зараз знов. Мені, чорт знає, збирало си на слези, ек ті три дівчєта заспівали коледку, ек самі ангели. —

По театрі молодиці внесли вкриті кошики і розклали на довгім столі лакітки : Волоскі горіхи і циганочки-яблока, пшеничні книшики з маком і цілий ряд поливаних мисок пшениці з медом. На сю різдвяну несподіванку визначили панотець і епітропи значну квоту зі скриньки церковної.

Дарунки були невеликі, але дїточі лица сияли з щасливости. Они і на старі літа будуть нагадувати собі на сю хвилю предивної радості.

Коли по часі розійшли ся діти, в шкільній комнаті були ще лиш три чоловіки, Шлемко, Орелецький і Передерко. Пан учитель запалив собі папіроску і сказав до них: — Добре, що з вами можу поговорити; я хотів би почути вашу гадку о тім, що має стати ся з Хариною. —

— Ой, правда, — сказав Орелецький тяжко зітхнувши. Скорейко продовжав: — Его маєток не сміє забрати Мортко. Було би се нещасте для Харини і небезпека для цілого села. Лихвар розкавалцує відтак маєтність, продасть частками і заробить гальман. Але найгірше при тім то се, що він всіх тих купців дістане в свої пазурі. Сего не можна допустити. —

— Акурат так, — відповів журливо Орелецький, — було з маєтком Кричуновим. З того часу має Мортко неодного на мотузку і мені видит си, що він кільком здушит горло. —

— Господи, се кричить до неба о пімсту, як ми до сего допустимо і нічо не зробимо. Як перед Богом відповісти за таку байдужність? —

Чоловіки глянули на учителя зачудовано, гейби казали: — Побудеш тут довше, привикнеш на таке, ек і ми. Так світ си має. —

Але учитель продовжав: — Мусимо ему помочи. Ци не мож би це так зробити, аби громада приступила до ліцитації? Так уратувала би она Харині домівство і часть ґрунтів а сама нічо би не стратила. —

Чоловіки поглянули на учителя знов здивовано. Наконець промовив Орелецький: — Скажемо по щирости: Таке не вдаст си в Гортопах. Ціла громада стала би дуба. Ми три це почали би радо, та решта виділових спротивит си. Фрациян стоїт так, що нема за него що казати. Кум Лупій, начальник, свому шуринови добра не жичит, а Сруль, Господи, з Мортком знають си ек лисі коні. —

— Ну, — сказав Скорейко рішучо, — то зробім собі К а с у. Я такі завтра спроваджу статуту з Рускої друкарні в Чернівцях. За тим обговоримо справу, аби

ви докладно знали, о що йде. На вас трох маю всю надію. —

— Я пристаю, — кликнув Передерко.

— Я также, — potwierдили два прочі.

— За божою помочію до діла, — сказав Скорейко.

— Нам треба без розголосу лучити ся і приєднувати людей. —

Чоловіки подали собі руки: — З Богом ! —





Того са-
мого різд-
вяного ве-
чера, як се
діяло ся в
школі, на-
чальник і
его небога

живо розмовляли в тепленькій хатчині.

Лупій здоймив із за сволюка стару свою люльку, викрутив з неї цибушок і ссав мачку. Відтак глипнув на гашуксина Якимка, аби его тютюном напхати люльку, та гадку сю зараз покинув, як Текля на него глянула.

Лупій і его жінка обговорювали дуже важну справу, оженене свого Якіма.

Она сина дуже високо ставила. Де до него можна рівнати Трохима, що дес валеє си по Полянї. Якимко й вусом не повів, ек вона питала си, ци він не засва-
тав би вовчинську Татьяну. Він лиш запитав си: —
А має вона грейцарі? В мене жінка без грошей, ек без рук. —

— Де варе Мортко, — сказав Лупій. — Сегодне мав він відомість принести від Шереверів. — Лиш що се сказав, лихвар убіг до хати. Зачав підскакувати і як шалений кидати руками.

— Най Бог боронит перед цес студинь. Зайшли запарі у руки та ноги. Началнику, дай зашканки. —

Лупій скривив ся і подивив ся зизом на Теклю. —

Она підняла ся повільно, пішла до мисника, ви-
няла зелену фляшку і налила пів порції.

— Пийте, Мортку, на здорове ; розігрійте си. — Лихвар перехилив порцію і віддаючи начальничці, сказав : — Болапрости, тіточко. —

За сим розмовляли за веремне, за озимину, за розпустну молодіж і поволи перейшли до властивої справи, до женячки Якіма.

Мортко широко оповідав, як він досвіта рушив з Извору, що ему Сура наказувала і як его Татяна приймила і делікатно угостила.

При тім хвалив Татяну, поцмокуючи в здовж і поперек : — Рóсла собі особе, Якимови до пари акірат. —

— А хоче его ? — запитала Текля нетерпеливо. — Ну, тітко, пожди хвилька ! Спершу й чути не хотіла, аби йти до Гортопи. Я й тут маю парубків на вибір, каже. Тогди я зачало фалити Якіма а гудити Трохиме. Лунії, кажу, маюг лиш хлоцца й дівчину і обоє дістануг фayne придане. —

— Ну, а вона ? Та говори вже раз ек си належит. —

— Гей, та не напірай без памети. Суди-туди кажучи, Татяна вбила собі в голова, що ек вже йти за Якіма, то лиш тогди, ек він набуде маеток Харини. Сграх вона зваріована жінке. —

Мортко умисно затаїв, що саме він підбуриг Татяну против Харинів і сам піддав їй гадку, аби ставила се жадане.

— Коли так, то з цего не буде мукі, — сказав Лупій. — Дві-три нивці хотів би-м був мати, але цлого маетку для мене за багато. —

— Ну, ну, — почав Мортко знов, — Татяна має роки, може й зараз віддавати си. Ця не було би фayne, ек би Яким осів в хаті, де родила сиего маме ? —

Гаврилиха зараз обстала за гадкою Мортка і обоє стали обробляти Лупія, аж він пристав на всі їх хитрощі, як би Харину збавити.

— Ой, йой, — засьміяв ся Лупій, — ек то витрищит Гнатко очи, коли я стану ліцитувати. —

В тім Мортко прижмуриг пудьки і сгиснув губи.

— Началнику, — сказав він, — не роби збитки. Єк тобі ліцитувати! Покажут люди на вас палцем та скажут, шо ви свому шуринови відтели голова. —

— А мене шо то обходит? —

— Хочеш брати журу на здорова голова? Таже на Харині е дві гіпотеці, моя і банкова. Не ліпше буде, взети маєток з мої руки? —

— Еге, кожда рука д-собі крива; на цес місток не піду. Я сам буду ліцитувати. —

— Ну, — сказав лихвар ґдко і встав, — ек псуєш гендель, то роби шо хочеш. Коли на ліцитація отвориш рот, то я скаргу мою відкличу. З Гнатом помирю си, а він менї даст кілька нивки. Я їх продам з руки і ти не дістанеш і то, шо чорне під нігтем. Пронала тогда й Татяна. —

За сим наступила довга гарканина, де особливо Текля кричала і пищала. Наконець сказав Лупій: — Робіт собі, ек хочете. —

— Видите, началнику, з мудрим ліше і втратити, — сказав Мортко. Відтак присяг, подавши Лупієви руку: — Я дам тобі маєток у такій цїні, ек би ти сам був ліцитував, побий мене Боже. —





Одного дня громадський гайдук обвістив людям : — На другу неділю з полудня в школі схід. Пан учитель буде научати за сільські стоваришеня. Хотят заложити в нас Касу. —

В канцелярії сказав начальник до гайдука : — Хто тобі має розказувати, я ци учитель ? Ти не смієш мені нічо робити, шо я не прикажу. —

— Таке вперед не бувало, — відповів гайдук, — це не стоїт у моїм контрахті. —

— Дам я тобі контрахт, ек собаку нажену. Чий хлїб їш, того пісню співай. —

Вечером у Сруля відбувала ся чорна рада. Участь брали : Начальник, Сруль, Кость Фрациян і Мортко.

— Не сказав сми зараз, — почав рудий Мортко, — шо новий учитель небезпечне чоловік : робит незгода, бунтує громаду. —

— Подати его до капітанї, — радив Сруль.

— Так ему треба, — притакнув Лупій.

— Воно багато не поможе, але треба его хоть настрашити, — сказав Сруль.

— Ну, Срулю, ти его не знаєш, він завзяте. —

— Таки подати, він забере си, і по товаристві, — обстоював Сруль.

— Господи, ек ти не знаєш сегоднішне світ. Вітер в горі інакше віє, ему пришлют ще й похвала. —

— Менї не видит си, — сказав начальник.

— Ану, зачни лиш, ци носа тобі не втрут. Дїло треба інакше зачіпати. —

— Та ек? — запитав ся коршмар.

— Мусимо отворити людем очи, шо то таке „неограничена порука“, ну, богаті люди не схотят по-печи си, а бідних загулюємо. Але тихцем, аби ніхто цього не покмітив. Аж на бівци озмемо си до тих трох оснувателів. —

Всі пристали. Оден лиш Фрациян сидів скривлений і часом докинув „гм“ або „аек“. Єму тут не дуже мило було. Орелецкий і Передерко були его приятелями, а рудий Мортко, ну...

Довго сиділа чорна рада і засудила дитину, ще не народжену. Обговорено всі подробиці, при чім найзручнійшим показав ся Мортко.

— Але ша, тихо, — наповідав він, — аби оснувателі не дізнали си, бо все пропало. —

— Ой, йой, — сміяв ся начальник, — ото буде сміху: варта буде подивити си на тих штирох. —

— Знаете шо, — крикнув Сруль злосливо, — пішлім на збори наших п'яків. Там виберут Мафтея начальником, Талалея головою ради надзорчої — а Пентелея касірем. Господи, ото-ж то було би товариство. —

Настала неділя. Скорейко ходив неспокійно по хаті. Надійшов Орелецкий і Передерко.

— Дивно, шо нема ще людий, — сказав учитель.

— Цим нема шо журити си, — відповів Передерко. — Тутешні люди не дуже то скорі. Кождий чекає на свого сусіда, відтак купками вистоюют на вулиці, а наконец всі разом приходят, аби ніхто не був перший. —

Орелецкий осміхнув ся: — Та так, Фоко, але я міркую, воно на шос заносит си. Ек я ходив начальника запросити, то він був якимос дивом дуже солоденький; він сему не перечит, каже, але з нами не піде, товариства не потребує. Лушій хитрун, цими днями пересиджував у Сруля. —

— Гм, — сказав Передерко зажурено, — і мені шос дивно, оногди ходив смі до мого кума Івона, та кумá почервоніла си і каже, шо Івон пішов у поле. —

Між тим увійшов Захарій Шлемко і сказав: —
Вибачайте мені, що-м загавав си. Перемовлев сми мого
вуйка Василя, аби зо мнов пішов, а він каже, що его
крижі боля. Здає си, що воно шос не на добре заносит
си. —

Тимчасом коршма битком наповнила ся. Тих
людей, що йшли до школи, кликали сюди і перемовляли.
Сруль вертїв ся між глотою і говорив: —
Файне це мені товариство. Чуло сми, що учитель має
давні довги і хоче, аби ми їх платили. Та ми не по-
тратили голови. —

Луній потакував. Кождому уткнув „неограни-
чену поруку“ і чи ему ще того треба, аби его фан-
тували. Він чув і за таке, що люди втратили цілий маєток
і відобрали собі навіть жите задля якихось Кас. —

— Це доказане, — продовжав Сруль, — що ті
люди робя для власної мошенки і сїют несупокій.
Хто з вас має глузди, най не кидає гроші у болото. —

За сим більшість людей кликнула: — Боже бо-
рони! —

Сруль і Луній аж осміхнули ся з радости. Було
справді кількох людей, котрих сї бесіди не переко-
нали, але они не мали відваги встати і піти до школи.

Тепер Сруль взяв ся до піяків в закутку: —
Мафтею, ану-ко на збори. —

— Не піду. Все твое герґотане — одно крутар-
ство. Каса, діло добре, та люди дурні, що, рахувати,
пішли на твою вудку. Але підут вони саракі раз під
плоти, аек. —

— Е шо, — крикнув Талалей, — я йду і ти зо
мнов, Пентелею; нам такого плаксія, ек Мафтей, не
траба. —

— Кождому дам пів літри горівки, — захоочу-
вав Сруль.

— Шо собі гадаеш, аби я нарід продав за пів
літри горівки? — опирав ся Мафтей.

В тім Талалей і Пентелей потягнули до школи.

Та не доходячи до школи, каже Талалей: — Ци чуеш, Пентелейку, бери собі мою горівку, я вертаю си; мене не долюблює шос директор і менї жель за мої кости. — І Талалей вернув ся.

В школі сиділи ті чотири чоловіки мовчки. Скорейко гриз ся, що его добрі наміри не вдали ся.

В тім увійшов Пентелей: — Добрий день, ващецї, ци можна сісти? — запитав ся він насьмішливо.

Люто став перед ним Скорейко: — Чого хочете? —

— Ади-си, таже Касу закладати. —

Учитель втворив двері. Шлемко зловив Пентелея за барки і викинув піяка на двір.

— От так, тепер най лайдак оповідає, ек він покпив собі з нас, — сьміяв ся Шлемко.

Учитель звернув ся до чоловіків: — Ну, треба нам розходити ся. Не добре пішло. Як не хотять помочи, то нема що їм помагати. —

На се Орелецкий: — Не з добра це Гортопи. Тут тяжка робота. Але шо не вдало си, може ще вдати си. Нам треба терпеливости і витривалости.





домівстві Харини якби все вимерло. Гнат став відлюдком, живучи як пустельник. Нераз лежав на постели ців днини, дивлячи ся на стелю, Там являли ся его знакоми. Раз вздрів він на сволюці виразно поставу свого тата. Сяв жито витягнуеною правою рукою. Довго, довго оглядав господар сю появу.

— Шо би це було ? — роздумував він. Зараз нагадав ся, шо бабка оповідала, шо як видіти мерця, то смерть наша за плечима. Гнат скривив ся, якби казав : — Оьва, ніби страх вмирати ? —

Відтак образ змінив ся. З тата став рудий Мортко, шо вів ялівку на мотузку ; достоту его закарлючений носиско і лукаві очи.

— Агій, ек окаянник мене монтрожит. Треба постіль в той кут перенести. —

Переніс в другий кут, татут появили ся инші лица. Встає, ходить то сюди то туди. З стодоли до колешні, відси до комори. Зачепить щось і зараз лишить. Вперед все доглянув, тепер був як без очий. Єму було все байдуже.

Часом заходив до шпихліра, хоть там не було роботи. Дивив ся крізь віконце на цвинтар. Там лежала его небога. До неї ходив нераз сумерком згорблений і розчіхраний.

Якби не було старої Макрини, шо варила, прала і обходила худібку, все було би давно вже заковязло.

Надійшла ліцитація. Розвертаючи руками, Макрина вбігла до хати. Гнат сидів за столом, підперши долонями голову. Розплакавши ся, оповідала Макрина, шо коло керниці говорили. Мортко зліцитував і єму все припало.

— Ох, милий Боже, що тепер буде! Кудя дїнемо си! Ци нема вже справедливости на цїм свїті? —

— Аек, пішла вся дїдизна у вовче горло, — сказав Харина.

Тупими очима дивив ся він у віддаль. Відтак сказав дивним голосом: — Ой, сараки наші люди, товчут си і накажеют си від раця до ночи, та дурно. Раз не вмїют держети кінці до купи. —

Стара Макрина дивувала ся, що Гнат у так великім нещастю супокійний і рівнодушний. їй стало лячно. Тут міг помогчи оден лиш Трохим. Она закликала Шлемкового хлопця, а сей написав лист на Поляну.

В недїлю надїйшов Трохим. Коли вздрів тата, аж настрашив ся. Сиве волосє спадало розчіхраними пасмами на потилицю. Пожовкле лице схудло і заросло як щїтка. Чоло і лица поморщили ся, як у похилого старця.

— Добрий день, неню, — зачав Трохим.

Гнат мовчав.

— Неню, ци не хочете на мене й подивити си? — закликав Трохим і слези стиснули его горло.

Нараз Гнат обома руками обіймив руку сина і судорожно стискаючи, сказав: — А, Трохим, таки — прийшов раз? —

— Ох, неню, — плакав Трохим, — чому сте менї ніколи не писали? —

— Шо було писати? Шо відбирают мое добро, а закон їм помагає? —

— Чому-ж ви не продали з руки? —

— З руки? Кавалцувати то, що наші діди при купі держели? Таку кривду не міг сми зробити. —

— Коли-ж, неню, тепер все пішло марно. —

— Кривду робя вони, а не я. Шо вдїю против цего? —

— Але шо з вами стане си на старі дни? — запитав ся в рознуці Трохим.

Гнат підняв трошки руку, що зараз знов впала. „Гм“, сказав він байдужно.

— Знаєте що, неню, ходіт зо мнов на Полянү.
А ек я... —

Нараз перервав. Хотів казати: — ек з Єринков поберу си, тогди можете з нами сидіти. —

Гнат мовчав. Відтак відповів: — Старе дерево ніяк вже пересаджувати; хто вік свій був своїм паном, на старість не годен бути наймитом. —

Коли увійшла наймичка, Гнат запитав ся: — Ма-кринко, е ще там кусак солонини? —

Наймичка притакнула.

— То здойми і дай Трохимови, най мае до хлїбца. —

Трохим мусів вибирати ся в дорогу, бо мав вже від опівночи роботу. Тато скочив до хатчини. Вертаючи ся, ніс два срібні перстені на долони.

— Трохимку, озми це на наметку від покойної мами і від мене. —

Кладучи їх в мошенку, Трохим нараз глянув тревожно на тата: — Неню, чей ви не хочете заподіяти собі екого лиха? —

Гнат покивав головою: — Та еке ще лихо може мене навістити? —

Відтак щось собі пригадував. Задумчиво подивив ся Трохимови в очи: — Коли гадаеш женити си, Трохимку? —

— Ще не так борзо, мусимо вперед дещо скласти, — відповів Трохим. Серце защеміло ему з радости.

— Поздорови від мене Єрину й скажи, шо вам вже не сиротивлею си. —

Трохим пішов. Довго дивив ся Гнат за своїм сином, А коли слід за ним вже зник, наслухав він ще на затихаючий відгомін его кроків.





Іс почав зеленіти. Води дзюрчали, спливаючи з горбів, але шум їх переривав чудний сьпів пташини.

На толоці гортопській злягла сільська дівтора. Молодіж цокала ся писанками, бавила ся і сьпівала :

Вербовая дощечка,
ходить по ній Настечка :
навкруг неї лілії :
Відки милий приїде ?

Толокою йшов начальник і завернув на дорогу до Извору. Рудий Мортко, відколи зліцитував Харину, не показував ся в Гортопах, а Лупієви его було дуже треба.

На жаль найшов дома лиш Суру, а вона сказала, що Морткови буде дуже прикро, що начальник за дурно так далеко ходив ; та що з того, він досьвіта ще пішов на ярмарок аж на Поляну і верне ся аж пізно в ночі, але она его ще на тижни вишле до Гортопів.

Що робити. Лупій пошкандибав з довгим носом до дому. Йдучи так в задумі, уздрів недалеко Мортка. Підбігаючи кричав : — Мортку, Мортку ! — Та лихвар дав драла і здимидів.

Прийшовши до дому, Лупій почав так люто клясти, що Текля аж остовпіла : — Аек, треба було нападати на мене з рудим пройдисвітом, ек тхір на когута, аби я не брав си до ліцитації, а тепер він нас за ніс водит. —

Текля виділа, що не хитро поступала, та все таки сказала несьміло : — Ми мусимо мати Гнатове домівство. —

— Мусимо мати домівство, — кривив ся він жінці, — ек заплаtimo Морткови то, шо він схоче. Я не мусю мати домівство. —

— Змилуйте си, Гавриле, лишім нерозум. Сва-
тане Татяни піде в нівець, ек не дамо Гнатового до-
мівства. —

Колот між подругами став ще гірший, коли
Мортко оголосив термін, на котрім буде частками про-
давати Гнатову маєтність.

Та якимось дивом надніс вітер лихваря: — До-
бре день посполу. Ну, хотів сми подивити си, шо по-
роблете. Дуже сми желував, шо ходив ес дурно-пу-
сто до мене. —

— Ага, — відворкнув Лупій, — файно вмієш
втїкати. —

— Ну, — сказав Мортко, ніби недочуваючи, —
шо си дїє з Татянов? —

— Запитай си Якіма. —

— Ек жеж буде з розпродажею? Хотів сми ли-
шити тобі першу руку, але е копица молодих чоло-
віка, шо кричут за землев. Мортку дай нивку, Мортку
дай сїножать. Зупсував бим ціле гендель, ек бим не
розпродував перед людьми. Але домівство маєш з
руки, ек хочеш. —

Нехрист глянув хитрим оком на Гаврила. Єму
дуже на тім залежало, збути ся будинків, бо на них
немав купця.

Текля промовила байдужно: — Ми маємо землі
доста, й хатів нам не конче. Ек Татяні не в лад іти
до нашої хати, то ми з своїм назад. — Гаврило при-
такнув.

— Ну, то авс, — замяккав Мортко. — Хотів
сми це знати, аби-сте не банували. Маю чоловічка,
шо бере хату. — За сим збирав ся до відходу.

— Е, пожди ко, поснідаєш. — І Гаврило поста-
вив перекуску.

Кусні переплїтувано гендлем. По довгім торганю
Лупій купив домівство з левадою за 3000 срібних.

Мортко зараз за сим потїк ся просто до коршми,
де мала відбути ся розпродаж. Тут було вже бо-

гато купців. Они обступили кругом лихваря, бо кож-
дий хотів знати, в яким порядку буде ниви продавати.

— Дайте мені супокій, — викручував ся Мортко,
— я не знає нічо, я не знає нічо. —

Відтак писнув Срулеви: — Постав барівочку, я
заплатю. —

Люди частували ся весело, а Мортко припрошу-
вав. Тут і там брав він чоловіка під паху, відводив
на бік і потайно щось шварготів.

До него сказав: — Чуло я, що купуеш нивке
на Винограді. Закусив на ню зуби твій сусід Палій.
Але вона тобі в межу і ти мені певнійший. —

Палієви знов сказав то саме і був певний, що
оба сусіди будуть загонити в гроші при продажі. Пе-
ред всім пустив поголоску, що начальник куцив вже
домівство.

— Він хоче зарвати найдіпші нивки і сіно-
жати; ой треба підбичувати старого скупцуна, — гово-
рили люди.

Лупія село не любило. Тому багато людей по-
становили підогнати его в гору при купні: — Кров
будемо точити із згнірі. —

І справді пустили ему кров. Коли Лупій вертав
з коршми, кляв несамовито: — Злодій, опришок, са-
тана! Шість тисячів банок загорнув. Наш чоловік
цілий рікмучит си запару гнилих феників, а такому вов-
кови за годинку до гаври лізут тисячі. —





Старий
Гнат того
дня, як его
ліцитува-
ли, був
крайно не-
супокійний.

Коли-ж вчув, що шурин его Гаврило набув домівство і найкрасші ниви, то рвав собі волосе з голови, лютував і плакав як дитина. За сим нараз потахли его жизнені сили і він ходив як не свій.

Раз зайшов до него Наум Орелецький: — Шо ти вироблюеш, Гнате! Та йди собі межі люди. Тут нема тобі чого бути. Ци хочеш у сестриної невістки просити хліба? —

Гнат підняв голову: — Просити хліба? — сказав протяжно.

— Гнатку, та ми завше були добрі товариші. Разом служилисмо цісареві і я тебе висватав. Ходи, Гнатку, ходи зо мнов, доки шо найдемо. Таже маеш ще Трохима. —

Підперши голову рукою, сидів Гнат на лавици. Гадки его зайшли у минувшість. Говорив як з просона: — Аж на готар журавеньський на конях вороних їхали ми йї на зустріч, я, ти і покійний Опанас. Мала фayne придане і віз був високо натасований. Межі дружечками сидячи, була румяна, ек маковий цвіт. А цимбалістий і скрипник грали-пригравали. На оборі випрягли конї а ми тричи верхом около воза, та з пістолет не стрілеємо та не ухкаємо, аж луна розлегає си. Лиш шо наближу си до неї, вона мило

на мене гляне й осміхне си. Відтак здохмив сми єї з воза, привів на руках до хати і вона сіла собі отгуг. Гей, часи то були, та минули си. Все пішло марно! —

— Зворушений до живого пішов собі Наум. Побачивши панотця, оповів ему за і ната. Старенький пастир зараз такі відвідав его і припімнув ему за божу опіку і милість.

Гнат сидів з навхрест зложеними руками і лиш казав: — Та так, пан-отчеку, аек. —

Коли ж пан-отець сказали, що є ще добрі люди, що ему поможуть, тогди Гнат сумно осміхнув ся: — Добрі люди? Бігав сми доста, та ци оден поміг? Той не міг а той не хотів. Ошукали мене і обікрали —

В неділю були обзирини в Лупія. Татьяна над'їхала з своїм братом мальованим возом. Заставили стіл і дали сугий полуденок. Циркована барівочка медової настоянки котила ся по столу. Весело йшла розмова.

Після закуски Яким сів коло Татьяни, щоби єї забавляти.

— Краси даст Біг, молодости нема, стан ек в тої, шо ходит на лису гору, — роздумував він, — але є повні скрині. —

А вона осміхаючи ся до него, думала собі: — Уроди не має, жвавий не є. Попліскуй, сараку, загоді все перестане. —

За сим перейшли всі хатою, колешнями, стодолю, огородом. Татьяна оглядала все докладно, таже сим будуть колись ділити ся.

Наконець сказала: — Тепер ходім до Харининих домів. —

Текля подивила ся на Гаврила, як корова на нові ворота, й відновила загикуючи ся: — Та це ніяково, там ще мій брат. —

— Мені однако; я через це прийшла, — заявила рішучо Татьяна.

Хоч не хоч помандрували всі до хати Харини. Зі всіх воріт і перелазів дивили ся за ними цікаво люди.

Найшов ся і Галалей, став і подивив ся згідно на Якіма. Парубок почервонів ся і кулаком погрозив піякови. Та сей підняв голову і закричав: — Аді, помічники ізвірського кровопійца. На шибеницу тегнут такі свою кров. —

Текля при сих словах скрутила ся, якби єї вшкварив гарапником. Йшла з Татяною і заговорювала єї без перестанку, та сама не знала, що саме говорить.

Прийшли на обійсте. Текля крадьки глигнула на хату. У віконци хатчини вздріла розчіхрану голову брата і мутні его очі. Она борзо відвернула ся, але побачила ще, як він загрозив їй кулаком.

Коло стодоли зацвила черешня пахучим цвітом. На кошници клясала сова, спустивши дзюб в долину, як рудий Мортко ніс до гудлів. Гаврилиху переймив страх. Она сполошила сову, що голосно скевевкавши, відлетіла.

Стодола стояла порожна, в колешни румеґала заголоджена корова. Всюди пустка, сум, мертвота. В огороді буряни і лопухи заглушили ярину. Одні лиш улї стояли в порядку.

— Чия пасіка? — запитала ся Татяна.

— Трохимова, — відповів Яким.

— То най забере собі, шо вони в нашім городі мают шукати? Тепер ходім до хати. —

Коли отворили двері, повіяло на них плісняю. На столі лежало кілька крайків хліба. З острахом дивила ся Гаврилиха до хати, але брата єї там не було.

— Там двері до хатчини? — запитала ся Татяна.

— Аек, — відповів Яким, — пішов і відтворив.

— Ой йой, — зверещала Гаврилиха і прозогом кинула ся на двір, обома руками обіймивши голову. Збігли ся люди. Посеред хатчини висів Харина з посивілим лицем і випуденими очима.





Два дни після похорону Харини зібралося в школі около

двадцять чоловіків. Вони уважно слухали промови Скорецька, що так говорив: — Любі мої приятелі! Перед штирма місяцями ждало тут нас кількох людей. Ми хотіли установити таке діло, що мало допомогти нещасливому, котрого ми саме похоронили. Та ми чекали даремно. Против нас розпустили своє лукавство ті, що шукали зиску в нещастю бідного Харини. Неправдою і крутарством відстрашили вас від доброго діла. Справа загирила ся, а наш побратим відобрав собі жите, не найшовши помочи. Єго поховали побіч иньшого чоловіка, що з такої самої причини помер паницею. За так короткий час дві жертви. Де цему причина? Щось несамовитого ходить по селу і нівечить людей. Се ли х в а! Як спасти ся з пазурів сего опира? Чоловік, котрого ми поховали, був роботящий, тверезий і ощадний, мудрий, ретельний і щирый, а мимо того впав у пропасть. Чому?

Тепер настали иньші часи. Діди наші обходили ся без грошей. Вони доходами з поля платили податки, робітникам, частки на церкву і школу. Сьогодні ж гроший потребує кожда верства на світі, потребує і хлібороб. Єму треба гроший на податок, на церкву і школу, на пашу і гній, а також на машини, бо иньші господарі побивають нас ними. Гроший треба завше, а хлібороб має їх лиш раз в році, коли продасть жниво. Мійські каси далеко, і треба багато бігати й товчи ся, вім дістати позичку. Як селянин в біді, диви ся, а то сатана надносить маснень-

кого свого помічника, що радо дає гроші. А ті гроші в его руках стають ся шнурком, котрим він мужика задушує. Лихва завдала не одному велику журу, викликала стони і слези, привела до розпуки, загнала цілі родини в нужду, жінки і дівчата в розпусту, силує господарів до того, що відбирають собі жите, щоби збути ся біди.

Та чи нема вже ніякої помочи ?

Ой, е вона. Німець Райфайзен досьвідчив, що одинокий чоловік сам собов безпомічний, не може удержати ся посеред теперішних відносин і тому тратить до всего відвагу і охоту. Він показав спосіб, як ратувати ся. Ратунок наш у злуці всіх сил в одну силу, в едности.

Тепер перечитаю вам статуту нашої Каси і розтожкую вам все. —

Скорейко говорив за порядком про неограничену поруку, о коріннім фондї, про зиски, коли всі разом спроваджують марфу, про центральне товариство, котрому підчинають ся і через се стають сильні.

Люди слухали его бесїду з напруженою увагою і всіма заявили, що приступають до Каси. Скорейко дуже утішив ся сам, бо то були найщирїйші люди в селї. Відтак вибрано Скорейка начальником Каси, Орелецкого головою ради надзорчої а Передерка касиером.





ув вечер неділюшний. На вулиці стояла громада людей. Обі великі події, смерть Харини і основане Каси потрясли цілим селом. Всі хвалили Скорейка. Члени Каси, яких тут було кількох, наклоняли людий, аби приставали до неї, а коли хто показував байдужність, они вказували на недолю Харинину. Тодги втихали ті, що сему опирала ся. Оден старик сказав: — Чого ми так заводили на его похороні? Во ми самі винні, що так прийшло. Ми здали си на божу волю. Оден за другого не журился и ек нашого сусіда обдирали і вищили, ми супокійно цему придивлялися си. Ніхто в своїй темноті не роздумував, шо може й на него прийти черга. Але тепер, рахувати, вже нам очи отворили си. Хто має совість, найпристає до Каси, аек. —

Між тим у хаті начальника петлювали иньшу муку. Сруль і Луній сиділи за столом а писар прочитував письмо, яке він уложив на їх приказ до шкільної ради.

Письмо було таке: — Ми підписані громадяни села Гортопи знаємо, шо школи треба, але до тепер ми не знали, шо учитель має мішати си до громади. Тим часом наш учитель Скорейко Максим, відколи до нас прийшов, окарит нас, шо ми не такі газди, ек инші, заводит якіс товариства і сїе незгоду і кóлот. Госпо, дареви Пентелеєви Баранови трохи вязи не скрутив-коли той мав требу до школи.

Підписані громадяни просят, аби чим скорше перенести нашого учителя на инше місце, а нам дати чоловіка спокійного. —

— Ну, — сказав Сруль, — дали ми ему бобу, тільки его тут. —

— І мені так видит си, — додав задоволено Луній.

Они підписали ся, поклавши хрестик. — Коби лиш богато підписало си, — сказав писар.

— Це вже моя жура, — відповів Сруль. — Я скажу людем, що це просьбе, аби відписали податок. —

Незадовго по с'ім надійшло до Скорейка письмо, щоби явив ся в Слобідці в інспектора шкільного. Він довмив собі голову над тим, що мало би се бути, бо обовязки свої сповняв точно.

Інспектор перечитав ему відтак скаргу і п'ять-нацять підписів на ній. Скорейко оповів про заложене Каси, про поступок піяка Пентелея і заявив, що підписи фальшовані, бо там е й імена найрєвнїйших членів Каси.

На се заявив інспектор, що справа ему ясна і він єї залагодить прихильно. Так з великої хмари не було жадного дощу.

З староства вступив Скорейко до церкви. Старенький сьвященик запросив его після служби божої до парохіяльного дому. Він дуже любив розмовляти про народні дїла, а за Касу сказав: — Властиво повинен був я се дїло зробити, але я вже приослаб і Гортони мені не під рукою. Мої тутешні парафіяни постановили самі заложити собі таке стоваришене, коли учули за ваше. Знаєте, пане учителю, мені серце бе ся з радости, коли подивлю ся, як наш нарід дучить ся до едности в економічних товариствах. Що значимо ми Русини без тої едности. Не тратьте відваги через ріжні прикрости. Бог вашу витривалість поблагословить. —

На повороті вчув Скорейко вистріли з пістолетів в Гортонях. Роздумував, що се має значити. Тогди нагадав собі, що сегодня весїле Лупієвого Якимя.





инув рік від заснованя „Каси пожичкової і щадничої для громади Гортопів“ і відбували ся саме загальні збори. До неї належали що найсвітлішші газди і грошевий оборот був дуже потішаючий. Але перед зборами розпустили нявки по селу непокоячу вість, що учитель має піти з села і Каса має упасти, через що майже всі члени носили ся вже з гадкою виступити з товариства.

Коли переглянено книги і найдено все в як найліпшим порядку, встав Скорейко і заявив, що всі поголоски за него неправдиві і що кождий без страху може до неї прилучити ся.

За сим словом всі успокоїли ся. Тогди встав Наум Орелецкий і почав говорити : — Ми знаємо від касиера, що стан Каси добрий. Але ви, пане учителю, маєте через Касу великі прикрости. Ми приучили си вже трохи діловодства і може потрафимо ей самі повести. Просимо лиш, порадити нам, ек нам треба буде помічи. —

Скорейко стиснув зрушений руку Наума і сказав : — Як би я видів, любі приятелі, що човен буде плисти без мене, то віддав би весло в другі руки. Але крім вас майже всі члени були в мене і хотіли виступити, коли би я покинув товариство. Каса чей не може устояти ся, коли має лиш виділ і надзорчу раду. Ми мусимо всі твердо держати разом. —

— Ми цього вам ніколи не забудемо, пане учителю, — кликнув Наум Орелецкий.

А Захарій Шлемко живо заявив : — Хто против Каси, тому поломю кости на прах. — Він був чоловік палкий і тому обстоював за Касою так завзято.

При кінці зборів Скорейко піддав гадку, з якою довго носив ся. Межи Гортотами а Зарінком був іменно пустий спад, що обнимав кілька моргів. Тут рідко росла квасна трава, але білиця була добра під овочеві дерева. Скорейко радив, купити спад за касові гроші, платні в ратах, і засадити щепами.

— Це за велике діло, — махнув рукою Шлемко.

— І зиск буде аж по роках, — додав иньший.

— Саме як Каса. І она як деревина. Ми садимо єї, ходимо коло неї і трудимо ся, а зиск з неї будуть мати аж наші потомки. —

Скорейко дуже горячо договорював людям до заложеня саду. Вперед купити землю, відтак дички, які він з молодими членами Каси нащепить. Доки треба буде їх пересаджувати, час викопати на них всі ями.

Таким чином не обтяжать Касу. Она буде мати в будучности певний дохід, єї капітал принесе значні відсотки. Також піднесе ся в околици садівництво. Одним словом, сільське господарство на тім лиш зискає.

— Та це правда, але... — Всім здавало ся, що се понад їх сили.

Оден Орелецький сидів в задумі. Наконєць сказав: — Я гадаю, що це діло добре, ми повинні були єго давно почати. Нас людий доста. Каса буде лїпше доржети си, ек буде шос мати. Сад був би гейби корінний фонд. Ну, не покивуйте головами. Я за цим. —

Слово Наума помогло. Всі заявили ся за садом. Одна була жура, чи громадска рада продасть їм спад. В тім сказав Шлемко: — Два радні, Сруль і Фрациян, а також начальник, може будут і крутити; але най паметают, що вже около нового року новий вибір і тогди ми покрутимо гойса, так що їм в ухах за-дзвенит. —





Десь у вересні переїзжав через Ізвір Фока Передерко, везучи тяжку марфу до Гортопів. В дорозі здивав рудого Мортка. На его привитане ледви кивнув головою. Відколи став касиром товариства, пізнав він добре шкідливість лихви і ненавидів всіх лихварів.

Мортко вишкіряв зуби і удавав дуже солоденького, лиш аби зачепити розмову. Зачав за вереме: — Єк думаеш, Фоко, буде дощик? —

— Не знаю, — відрубав Передерко.

— Ну, звідкелі їдеш? —

— З Ізвору. —

— Ну, панит тобі касірстве новомодне? —

— Аек. —

— Чуло сми, шо маеш багато гризота. Учитель, оповідают, дуже скоре і сукрите і ганьбит, ек стрілиш дурница. —

— Заткай си, Мортку. —

— Озва, шо дзявкотиш? Шо мені за пан, не можна казати правда? Дивував сми си завше, шо ти мучиш си за другі, і шо з того? Плати ніякої. Дивно мені з тебе, бо ти розумне чоловік. —

— Правда, вашеці для людей дурно і пальцем не кенеш. —

— Чому ні? Ваша Каса не дає дешевше, ек я і наші люди; ци ми не продавали міх грісу о 25 грейцарі дешевше, а сотнар муки о 30 грейцарі? —

— Знаємо вас добре. Ви хочете людей відорвати від Каси. Чому ви так кажите си, ек до нас прибуде вагон грісу або томасівки? А відтак літаете, аби зниженов цінов темних відстрашити. А чому передом все було дороге? —

— Овва, Каса ваша ек завтра піде на цурес. —

Фока обернув пужівно. Мортко відскочив, а відтак закричав: — Ти бурмило. Овва, бурмило, бурмило. —

Передерко засьміяв ся: — Шо так перебираеш? Біжиш гортопским людям на храм муку уткнути? Вже за пізно. В мене єї цілий віз і ще два йдут. —

Мортко здоймив до неба руки і пищав: — Ти е прокляте бурмило. —

— Ха-ха ха, — була відповідь.

Сей сьміх дуже вколов лихваря. Він пізнав, як змінили ся часи. Вперед не посмів був мужик косо на него подивити ся і він уходив за такого, що належить до Гортопів і має слово свое сказати. Тепер відносять ся до него байдужно і зневажливо. Єго гендель збіжем і пашою підунав цілковито, ще лиш худоба єго тримала.

У Гортопах бігав Мортко від хати до хати за муку на храм, але замовлень було так мало, що не варта було за нею їхати.

Наконець зайшов він ще до Салабана і сказав: — Скажи мені, Івоне, чо ти передав мені 110 леви? Іх сми не жадало, речинец аж на Богородица. Маеш назад гроші. —

— Тримай гроші а дай квіт, ек сми переказував. —

— На шо квіт? Єкес нове мода. —

— Так ми урадили в Касі. —

— Ти зійшов з глузди, Івоне. Жичиш в Касі і платиш дорогі проценти, а в мене стояло без процент. —

— Мортку, настороч вуха: Ми постановили з Каси виганяти тих, шо в лихваря жичат. Жичене то ваш зиск, а наша заглада. Ану подиви си, кільки то ми мотузків вже перетели, котрими ви неодного вели, ек згінник безрогу. Ти не береш процент? А на весні, ек сми гроший не мав, ци не взев ти в мене дійну коровку, а то не процент? —

Як опарений забрав ся Мортку, йдучи просто до Сруля. Тут сидів одним-оден чоловік. Запилі очи, розчіхраний: се був Яким Луній.

— Гей, Мортку, відки дорога? Седь оттут, най те погладю. —

Мортку сів трошки і лукаво запитав ся: — Ну, Якиме, ек маеш си? Шо робит Татяне? —

За се обірвав добру ганьбу: — Ой, файно с мене зрядив, кудлатий. Молодица чортом підбита. Ліпше би сте були звезали мене з чортовов мамов, ек з цев огидов. Скупа, мой, ек відьма. Нічо не зварит, лиш пісний борш та борш. Огидне жите. Ек би чоловік не заперчив біду сивухою, не було би диханя. Гроші псяюха замкнула, а тато также не дают. Позич, сно-видо, десетку, бідний сми ек руда миш. —

— На, маеш, Якиме, дам і двацїть, дам і тисячка. —

Лихвар при тім солодко всіхнув ся. Найшов собі нову дійну корову.





Оден з п'яків, Талалей, здивував ціле село. Десь від зелених свят почав працювати. Робив день в день. З якої причини змінив ся він? Нема такого чоловіка, аби не було в нім хоть зеренця доброго. А сим зеренцем була его любов до своєї небоги Кіци.

Се була робітниця на ціле село і своїми руками отримувала пятеро дітей і чоловіка-неробу. Але від коли впала в пропасницю, стала як павутина і ледви двигала ся.

— Ех, круто воно, — думав Талалей. — Кулеші вже нема, а діти плачут. —

Він скочив до Сруця, та сей нічого не хотів жити: — Хто знає, ци Кіце здвигне си, а від тебе

шо озму? — Аж по довгій тяганині дістав дві мірці муки.

В пустій хатчині, каганчиком освітленій, лежала на постели, ледви дихаючи, жінка, що годувала цілу родину і его, сильного хлопца. Талалеєви стало соромно. В ночі не міг заснути. Він мучився гадками і постановив взятися до роботи.

Вставши досвіта, пішов на Слобідку до пегольнї на роботу. Другі робітники кепкували: — Ой, цес і три дні тут не витримає. — Талалей закусив зуби і погадав собі: — Підождїт, я вам вже покажу. — Але гірко було ему, гірко.

Коли ж в суботу вертав до дому, несучи житнього хліба й сира для дїтий і хорої жінки, було ему так весело, що аж підскакував. Его збирала ще часом кортячка, зайти до коршми, та він поборював наліг всіма силами. Чим довше витривав у працьовитости і тверезости, тим щасливішим почував себе

Трафило ся раз, що він ловив рої в учителя, умів бо коло них ходити. Учитель сказав до него: — Скажіть менї, Талалею, чому не держите собі овечку? Маєте дїти, і вашій небозї треба би молока. —

— Це правда, пане учителю, роздумував сми вже над цим. Маю навіть левадку, але за шо купю овечку? —

Учитель подумав трошки а відтак сказав: — Може Каса вам поможе. Я буду питати ся. Але ви потрібуете доброї поруки. —

— Е, то не буде з цего нічо. За мене ніхто не поручит ся. —

— Ну, то я поручу ся. Вірю вам, що ви віддасте. —

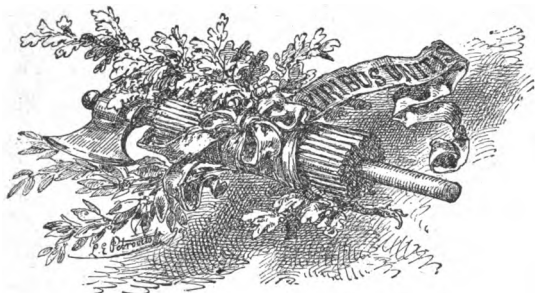
Талалей, коли йшов до дому, чув себе таким щасливим, гейби закупив ціле село.

Учитель сказав у Касї за Талалея так: — Ви видите, шо він від зелених сьвят ходить добрими

дорогами. Хто навернув его на ту дорогу? Ми ні. Це зробив сам Господь Бог. Як ми тепер ему не поможемо, то спинимо діло боже. Для нас людей нема нічо красшого, як бути співробітниками божими, аби скріпити чоловіка в добрім. —

Тогда то приймили Талалея в члени і дали ему позичку з радної душі. Видїлові порозуміли тепер, що значить та точка в статутах, яка говорить о тім, що товариство має старати ся о моральне піднесенє своїх членів.





Надходи-
ли нові ви-
бори. Кіль-
ка тижнів
передом
люди тих-

цем зговорювали ся, відтак отверто агітували і перечили ся і нараз повстали два стороництва: коршемне і касове. Коршемне стороництво заступало ся за давним ладом, касове заходило ся около того, щоби викинути з громадської ради Гаврила Лушія, Костя Фраціяна і Сруля.

Оба стороництва мали однакі сили. Коршемне стороництво уживало в борбі всіх способів, але ему бракувало внутрішньої злуки. Тут було багато таких, що не конче розбивали ся за Лупієм. Не могли забути ему, що враз з Мортком знищив свого свояка Харину. При тім сам Гаврило не багато трудив ся около свого вибору. Він був знеохочений своїм Якимом, що легкодушно розкидав добро, яке Гаврило ціле жите свое складав. Яким пересиджував в коршмі і занедбував господарство. І Текля гризла ся таким житем сына, але все складала на чортову невістку.

Душею коршемного стороництва був Сруль. Вигадував на Касу, що міг, а коли прийнято до неї Талалея, то се ніби був знак, що Каса упадає.

На такі поголоски обвістила Каса, що кожного, хто буде виговорювати на ню, заскаржить до суду. Се мало такі наслідки, що коршемне стороництво перестало чорнити товариство.

Касове стороництво поступало розважно, мудро і оглядно. Его провідниками були Орелецький, Передерко і Шлемко. Они то зробили спис тих виборців,

на котрих могли спустити ся. З ними обрадили ся над особами нових виділових і всі обовязали ся, наклонити певне число виборців до голосованя на їх лісту.

Наступив день вибору. Майже ціле село злягло коло громадскої канцелярії. Вибір випав цілковито в користь касового сторонництва. Комісар погратулював учителяви і запитав ся, кілька людей належить до Каси. Скорейко відповів, що більша половина села пристала до неї, але ще багато часу мусить уплинути, нїм справа стоваришень загніздить ся в голові і серци народу.

— „Я тої гадки, — відповів комісар, — що сільські стоваришеня аж тогди розвинуть ся відповідно і принесуть пожаданий пожиток, коли сю справу самé мужицтво перейме в свої руки. Тогди люди не будуть їм опирати ся і собі самим шкодити. —

— Мені здає ся, наві комісарю, що ще багато води уплине, нїм справа стоваришень закорінить ся в руских селах і кождий селянин пізнасть, що він найліпше за себе дбає, коли дбає про загал. Доти мусимо ми, інтелігенция, вірно народови служити. —

В тиждень опісля вибрано начальником найревнійшого члена Каси, Наума Орелюцкого.

Перший, що почув руку нового начальника, був Сруль. Вперед не знав він, що то „поліційна година“, і корша була отворена чи то в ночи чи в неділю. Тепер обставини змінили ся і Сруль, хоть був як огонь лютий на Наума, мусів держати ся порядку, аби не втратити концессию.

Прийшла черга і на піяків. Коли Срулеви урвало ся, перестав він і боргувати, так що Мафтей перестав пити сам від себе. На Пентелея знов, що сидів роками за дурно у громадській хатчині, рада громадска наложила чинш. Тогди то зібрав він свою родину і покинув Гортони, пішов до міста на жебри.

Оглядаючи ту опущену хатчину, подумав начальник: — Отгуг мір би осісти Трохим з Єряною. —

Коли Трохим прибув в неділю до Гортопів, оглянув він з начальником хатчину. Складала ся з сьвітлиці, комірки і притўли. Була дуже нехарна і облупана.

Трохим запитав ся, кїлько би за ню заплатити.

— Півтора сотки левів, — відповів начальник, — Але ми спорядимо єї, побїлимо і полагодимо плїт навкруг левадки. —

Трохим пристав. Відтак оглянув невелику обору і левадку за хатою. — Де би тут умістила си сто-дола? —

— Отгут з цього боку, — відповів начальник. — Але чи стати тебе на такі видатки? —

Тогда Трохим так оповів за свої добутки: — Єрина склала з давнїйшої і теперїшної служби до двїста левів. Такі самі гроші заощадив і я з спадщини по татови і з плати в тартаку, які уміщені в Касї на Полянї. Так могли би ми за хату зараз заплатити, покласти стодолу з колешеньков і купити собі коровку. Довгів не хотїв би я робити. —

Орелецкий поплескав его по плечах: — Ти чемний чоловік, саме ек твої покойні пеню; ти з їх недолі взяв собі добру науку. —

— Бадїчку, — сказав Трохим, — завтра до-світа треба менї вертати на Поляну. Зробїт так, аби я мїг по Великодни перебрати хату. —

Начальник приобїцав.





о Великодни, таки Томиної неділі, оголошено в церкві перші заповіді для Трохима Харини і Ірини Кричунової. Трохим, повертаючи в радістних думках із церкви, минав вже попри послідні хаті Слобідки. Нараз почув з одної обори жіночий голос: — Господи, Трохимку, це ти? —



Трохим веселовсміхнувся, пізнавши стареньку Макрину. Приступив до неї і пита-

ням, відповідям, плачам і стонам, не було кінця. Наконець оповів він їй о своїм положеню і о весілю.

Макрина слухала уважно, відтак сказала здержаним голосом: — Я хочу тобі шось сказати. Я тут сиджу в далеких свояків, але мені не подобає си. Вони вивідали, що маю кілька левів в Касі ізвірській і не дають мені спокою. Знаєш що, Трохимку, я піду до вас і за то дам вам мої двіста левів. Мені коло вас буде добре. —

У несказаній радості прийшов Трохим до Гортопів.

— Бадічку, — кликнув він перед начальником, — я таки озму петь фалеч на політок і купю ще десять овечок! —

— Шо такого стало си? — запитав ся Наум. Тогди Трохим оновів ему за Макрину.

— Є ще на небі Господь милостивий, — сказав зворушений начальник.

Хатку вихарено і вибілено, плоти направлено. Трохим поклав прекрасну стодолу з притулами і колошню.

Одна притула належала Касі. Сюди перенесено єї марфу, якою від тепер завідував Трохим, що став ревним членом товариства.

Ему подарували в тартаці на відході драниць а товариші, що мали тягло, клакою звезли дерево. Також пчоли, які передержав Трохим в одного знакомого, переніс до себе і уклав з другого боку під хатою.

Вже четвертої неділі по Великодни відбуло ся весіле. Ціле село радувало ся, що сї покинені молодята не запропастили ся десь в сьвітї, а зійшли ся до купи в своїм ріднім селі.

На весілю було багато гостей, що прийшли обдарувати молоде господарство.

Старенький душпастир, споминаючи за вірність Йова, пригадали, як то Господь Бог поміг і Трехимови і Іринї вірністю дійти до добра і людского пошанованя.

Пан учитель Скорейко сказав: — І я радую ся, що ви не запропастили ся в сьвітї, а стали господарями в ріднім селі. Тати ваші, царство їм небесне, були также люди щирі, а прото зійшли зо сьвіта в недоли. А се чому? Бо нарід наш ішов самонас, оден за другого не обставав і не журился. Тепер в нас инакше. Люди з'єднали ся і поступають разом. Дай Боже, аби єдність наша крішала на добро руского народу! —

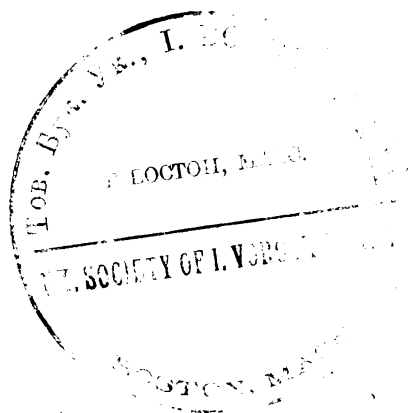
Не втерпів і начальник, щоби не докинути і свого слова: — Дивіт си онде на Талалея, ци не був він на краю пропасти? Єк би ми були лишили его на руки Сруля і Мортка, де би він був сьогодні? Але ми его приголубили, бо то наша кров, і він, хоть не маєтний, прикладно трудит си на свою і нашу користь і честь. Таке саме і з Трохимом. Ви добре видите, шо лихварі наші гет змалїли, бо ми ростемо. А ростемо, бо тримаємо одну руку. За едність ми не знади давнїше, нас того ніхто не научав. Аж дав нам Бог світглих наших людий, котрі показали нам дорогу до добра. Роди, Боже, таких приятелїв і на камени! —

До живого зворушенїя, сказав і Трохим своє слово: — Це вірна правда, шо ми були би запропастили си. Але нас тягнуло до рідного села, де живут щирі люди, шо нас не відцурали си. По собі вижу, шо то значит едність. Доки буду жити, буду вірно еї держети си. —



ТВОРИ ВАСИЛЯ ЧАЙЧЕНКА.

ТОМ II.



ТВОРИ ВАСИЛЯ ЧАЙЧЕНКА.

ТОМ II.

СОНЯШНИЙ ПРОМІНЬ.

ПОВІСТЬ.

ВИДАННЄ ВАСИЛЯ ЛУКИЧА.

 КОШТОМ ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА. 

У ЛЬВОВІ, 1892.

З друкарні Товариства імени Шевченка.
під зрядом К. Беднарського.

I.

Сонце стояло посеред неба і пекло добре, — як тільки може воно пекти в наших степах в травні місяці. Навкруги не було ні деревця — рівний голий степ. Ще непокошена трава степовая та буйнії жита та пшениці блищали ясними хварбами під золотим соняшним дощем, брали очі. Але той, хто їхав оце тепер добре второваним шляхом, не міг нічого того бачити. Густа хмара сірого доїдливого пилу закривала од його все, лізла йому у вічі, у ніс, у вуха. Не вважаючи на те, що верх у фастоні піднято — а може й саме через це — подорожний ледві міг дихати.

— Чи скоро доїдемо? — спитавсь він нарешті у візника.

— А ось уже скоро! — одмовив кучер і махнув батогом на коней.

Коні побігли швидче, а подорожний почав дождати ся того „скоро“. Він уже кинув обтрушувати свою одержу, а силкувавсь тільки, схилившись у куточок, хоч мало-небагато зберегти од пилу очі та ніс. А сам думав тим часом:

— Ну, марою приїду до панів!

Пани, до котрих він їхав, се були Городинські, багаті пани, що мали тисяч до десяти десятин землі, жили здебільшого на селі і тільки взимку, місяців на три приїздили до губерніяльного міста, з котрого оце їхав наш подорожний, студент останнього курсу історично-філософського факультету, Марко Кравченко. Він цього року кінчав університет, і тільки деякі екзамени одсунено було на осінь. Старий пан Городинський надрукував у часописи оповістку, що бажає мати вчителя для сина, гімназіяста, що не здав екзамену і в осени жусів здавати його вдруге. Марко Кравченко приніс йому добрі рекомендації і пан покликав його до себе на літо. Маркови однак треба було на літо кудись їхати, бо він з того тільки й жив і себе в університеті держав, що заробляв, учачи недотепних гімназіястів. Се була важка робота. Встань уранці,

біжи в університет, а вийшовши з його поспішайсь верстви за три до одного хлопця з третьої класи реальної школи. Хлопець нерозумний, до того лїнвивий, — вчити його — лишенько; але що-ж робити? — се давало Кравченкови десять рублів на місяць, а деякі його товариші робили теж саме й за п'ять. Та і в його був ще другий учень — геть-геть аж на тому краї міста — і той вже за п'ять рублів. Цими п'ятнадцятьма рублями на місяць він і жив усю останню зиму, поки скінчило ся вчиття. Звісно, їх не дуже ставало на життя, часто й густо доводилось не обідати, а жити ся самим часом, але Марко Кравченко до цього вже звик. Чи таки-ж йому, синові мійського чоботаря, лякати ся того? Батько тягсь з останньої копійки, щоб вивчити сина, послав його до початкової школи, тоді віддав до повітової. Там побачили, що в Марка є голова і порадили батькови віддати його до гімназії. Довго чухавсь батько (матері не було — вже давно вмерла застудившись на річці, де прала білизну, бо була прачка), довго думав, а далі сказав:

— Він-же в мене один! Може колись подякує.

І він віддав свого Марка до гімназії. П'ять років ще робив він з усієї сили, віддаючи увесь свій заробіток на сина. Ні, не увесь заробіток, бо хоч і не часто, а був і в його грїх: він іноді пив. Оце не п'є місяць, два, три, півроку, а там дивись випив де в знайомого чарку-другу і почав з того часу п'ячити. Він пив день, два, три, іноді тиждень, часом і до дому на той час не приходячи. Але коли він і приходив, то тільки ще більшого жалю завдавав своєму Маркови. Завсїгди ласкавий до сина він робивсь тепер зовсім неможливим: він плакав, лїз обіймати та цілувати сина, узивав себе падлом, п'яницею та іншими такими-ж назвищами. І так тягло ся доти, поки він падав знесилений до долу та й засипав на те, щоб завтра встати, піти похмеляти ся та й знову почати тієї-ж.

Поки жива була Маркова мати, цього не було. Її смерть була першим великим Марковим горем. Тоді було йому вісім років. Він zostавсь сам без ласкавого матиного пестування. Батько був добрий, але батько був не мати. І це була перша хмара, що лягла на хлопцеву душу. Другою хмарою було те, що батько почав пити. Горілку він пив і спершу, але не впивавсь, а тепер почав робити це. Се робило дуже важкий вплив на Марка. Йому страшенно жаль було батька, але він бачив,

що запобігти тому лихови він нічим не міг. І він мучивсь, дивлячись на батька і це зробило хлопця дуже рано серйозним, замисленим. З тринадцяти років почав уже він думати про таке, що інший про його не дума і в двадцять. Він почав замислюватись над тим, чого батько п'є. Довго він шукав одмови і не міг нічого знайти, поки сам батько не натякнув йому на неї. Повернувшись одного разу п'яний, він, своїм звичаєм, почав обнімати та цілувати сина, приказуючи:

— Падло я!... стерво!... п'яниця!... А ти, мій синочку!... Хиба тобі такого батька? А-ні-же! А-ні-же! Не такого!... І ти гляди!... Я тебе віддав — навчу!... Гляди!... Батько дурний, невчений, а ти гляди, щоб а-ні-же! а ні краплини!...

Довго ще балакав батько на сю тему, і його балакання вразило Марка. Він зрозумів у йому те — і зовсім з цим згодився, — що батько п'є тільки тим, що він невчений, неосвічений. І з цього часу вчиття здалося йому зовсім іншим. Досі це було просто вчиття, а тепер це вже освіта, котра не дає людині робити ся такою, як його батько. Досі Марко любив у вчиттю тільки те, що його зацікавлювало, а тепер почав любити його все — і цікаве й не цікаве тим, що воно веде до кращого життя. Не одразу з'явився в його такий погляд. Його дитяча голова довго мучилась та думала, поки що змогла надумати, але як це сталося, — Марко закохався в освіті, почав бачити в їй усю мету свого життя. Він не тільки вчивсь того, чого вчили в гімназії, але читав багато, добуваючи книжки де тільки міг. Читання було безсистемне, але все-ж дещо давало хлопцеві, давало хоч невеличку загальну освіту, розвиток, котрого не мали його товариші-гімназіясти. І що далі він читав, то більш розсувалася перед ім завіса, що ховала од його деякі цікаві йому питання. Але тут трапилося несподіване лихо: п'яний батько впав на вулиці і не вернувся усю піч до дому. Вранці його знайдено замерзлого.

Страшний вплив зробило це на душу шіснадцятирішньому хлопцеві. Скільки він перемучився за чой час, поки це хоч трохи забулося, — він і тепер не може спокійно згадувати. Але одно зосталося і ніколи не забудеться: те, що він намислив, сидячи над батьковим труном. Він думав:

— У тяжкій роботі звікували свій вік мати й батько. Мати і вмерла з тієї роботи. Батько-ж робив ще, не покла-

даючи рук. Він робив свою важку нецікаву працю що-дня, і з чого він міг розважити ся? Не з цієї, запевне, праці, — але й іншого нічого не було. Батько був неписьменний і навіть книжки не міг прочитати.

І Марко, здрігаючись з остраху, уявляв собі темне безпросьвітне батькове життя: праця, праця, праця — і більше нічого. На що-ж та праця? Яка її мета? Яка мета усього батькового життя? Батько усього не знав — і нема чого дивувати ся, що він пив: то душа шукала хоч якого виходу з того безпросьвітнього життя і — звісно — не могла знайти його у п'яцтві.

Марко згадував, що так живуть усі мійські робітники. Він не знав, як живуть селяне, але думав, що й там теж. І він починав лякатись. На що-ж таке життя? Його батько навіть про Христову науку дізнався тільки од сина, а то тільки знав одно: що був Христос... На що-ж таке життя? І до чого таке життя доведе? І Марко думав, що таке життя доведе до здичіння...

Як-же запобігти цьому? Де вихід? Марко знов бачив його тільки в одному — в освіті. Він ще мало думав тоді про соціальні та економічні обставини, а все складав на освіту. І з того часу він зробивсь борцем за неї. Він запрягавсь у душі віддати своє життя на служення просьвіті... Потім його погляд поширшав. Він побачив, що тут були ще й інші причини — соціальні та економічні. Він і їх почав мати на увазі, але-ж ні трохи не кинув бути прихильником просьвіти.

На сімнадцятому році він прочитав „Кобзаря“. Дивний вплив зробила на його та книга. Досі він читав тільки московські книжки і ту мову, котрою писано „Кобзаря“, уважав простацьким жаргоном, навіть прикметою неосьвіти. Але-ж погляди, що висловлював поет тією простацькою мовою, були часто й густо Маркові погляди, або — краще сказати — нагненне поетове слово робило такий вплив на впечатливу душу у молодого хлопця, що він мусів віддавати ся йому за того без бою. Щира любов до матері та до батька у Марка ще побільшилась любовью до їх, яко до нещасних затоптаних життям людей. Цю любов він переносив потім на усіх убогих та знесилених, працюючих та знатужених. Це був несвідомий поки йому самому демократизм. Не дивно-ж, що як до його душі доторкнула ся демократична течія в формі високого пое-

тичного слова — цей несвідомий демократизм мусів стати ся самосвідомим. Але як Марко прочитав :

І день іде, і ніч іде,
І, голову скопивши в руки,
Дивую ся, чому не йде
Апостол правди і науки, —

він забув, що це писано простацьким жаргоном. Декільки книжок з історії української доробили Шевченкове діло: Марко Кравченко зрозумів хто він і якої просьвіти мусить бажати тому темному народови, про котрий він думав...

Важко було жити Маркови після батькової смерти. У його зостала ся поганенька батькова халупка, в котрій вони з батьком жили, — та й тільки-ж. Тоді-то почав він жити приватними лекціями, та живе їми й досі. Того й тепер іде до пана Городинського. Пятнадцять рублів на місяць, квартира, харч — чи що-дня-ж трапляєть ся така річ? І Марко Кравченко був радий, що так добре склало ся. Він виїхав учора вранці, попрощавшись з своїм щирим другом, товаришом-студентом, Семеном Лісовським, з котрим він у місті й жив укупі, — і оце тепер незабаром вже й приїде до панства.

— Та чи скоро-ж ми доїдемо? — знов спитавсь він у візника, прокинувшись од своїх думок.

— А ось зараз! — одмовив йому візник і показав кудись батоном: — он!

Марко глянув і побачив поблизу вже слободу в балці. Похитуючись по скелястій поритій дорозі, фаетон з'їхав у ту балку і швидко пробіг невеличку слобідку, щό, як і всі степові села, була вбога на дерева та багата на глину та на камінь. На край слободи, у великому саду, вздрів Марко білий панський будинок. Коні швидко підбігли під рундук. Марко вискочив з фаетону і зараз-же побачив невисоку та огрядну постать у літній п'ялєвій одежі та в солом'яному брилі. Пан той стояв трохи на бік од рундука спиною до Марка і з кимсь балакав. Почувши гуркот од повозу він обернувся, і Марко пізнав самого пана Городинського. Його смутляв чепурне обличчя кінчалось двома довгими бакенбардами, чорними, аж блискучими, проміж котрими містило ся сите, чисто виголене підборіддя; карі очі були швидкі й блискучі — дарма, що панови було більш п'ятидесяти років; тільки чепурно сформована голова була трохи лиса. Він моторно пішов до Марка.

— Просимо! просимо! дуже радий! — промовив він до його, стискаючи руку. Просимо!

І він повів був його на рундук. Але глянувши на Маркове обличчя та й на всю одежу, зупинивсь.

— Одначе! ви одразу добре познайомились з нашим пиллом. Коли так, то думаю, що вам більш тепер хочеть ся піти в свою хату. — Григорий! — гукнув він на льокая, — проведи їх у флігель! — і додав Маркови: Як тільки прибереться, просимо до обіду!

Виголений льокай узяв з фастону легенький Марків чеподан, на котрий він глянув трохи скося, і повів Марка через двір у невеличкий старий будинок, що звався флігелем. В йому ніхто не жив, хіба гості іноді ночували, і оце там виготовано хатку Маркови.

Марко звісно попрохав умивати ся. Льокай сказав: — „Добре“ і вийшов геть. Через кілька хвилин хлопець уніс у хату вмивання. Марко, під товстим шаром пилу, справді скидав ся на Орапа і залюбки вимивсь і передягсь. Скоро скінчив те, почув, що коло будинку задзвонено в невеличкий дзвін.

— Що то? — спитавсь він у хлопця.

— Обід. Скликають усіх — може хто в саду або ще де.

Марко пішов до панського будинку і знов стрів у дворі пана Городинського.

— А що? причепурились? — згукнув той весело. — Ото добре! Ходить-же тепер обідати!

І він повів за собою Марка. Перейшовши рундук та передпокій, увійшли вони у велику салю, серед котрої стояв чималий стіл, готовий до обіду. В хаті була вже вся сімья Городинських. Пан зараз-же рекомендував Марка своїй жінці:

— Оце наш ментор! — весело скрикнув він. — Марко... вибачайте — забувсь!

— Марко Петрович Кравченко! — пособив панови Марко.

— Марко Петрович Кравченко! А се моя жінка — Марія Семенівна.

Марія Семенівна була висока й худа пані, одягнена, не вважаючи на те, що се було на селі, відповідно всім вимаганням етикету. Колись чепурне її обличчя, було тепер сухе й суворе; очі дивились неприхильно. Вона здавалась дуже старішою од свого чоловіка. На Марковé привітання вона злегка й згорда хотіла кивнути головою. Але Марко, звикши до сту-

дентського звичаю простяг їй руку. Вона мусіла зробити те-ж, що й він, і подала йому два пальці.

— Ну, цій добродійці я, здаєть ся, не дуже до вподоби, — подумав Марко, помітивши, як пані привитала ся.

— А се моя дочка — Катерина Дмитрівна. А се ваш учень!

Пан так швидко повертався, що Марко не встиг навіть і глянути добре на цих двох, як він згукнув:

— Ну, а тепер сідаймо обідати!

— Оце добре! — озвався хтось з кутка. — А мене й забули! — Голос був поважний, значний.

Марко глянув і побачив стрункого й чепурного папка, вишліхтуваного та чистенького, з гладенько зачісаним коротким волоссям, з підстриженою по французькому борідкою, що не без поваги виступав з кутка.

— А ти й сам швидкий! — пошуткував пан Городинський і додав: — Мій син!

— Іван Дмитрович Городинський! — домовив панок урочисто і подаючи Маркови руку.

— Ну, сідаймо, сідаймо, бо їсти хочеть ся! — скрикнув пан і сам перший сів, посадивши коло себе Марка.

— А нуте лишень перед обідом, щоб краще їло ся! — промовив пан, беручи пляшечку з горілкою. І він налив синові й собі: Марко не схотів.

— Отакий-же з вас і робітник буде! — пожартував пан і перекинув чарку в рот.

Пан Городинський, як і всі навкруг, балакав по московськи, але іноді, як і цього разу, вживав українські приказки, що очевидьки не зовсім подобало ся пані, котра що раз у таких випадках якось особливо морщила ніс.

Почали їсти і на деякий час усі змовкли — чути було саме сьорбання. Марко міг поки трохи роздивити ся. За столом сиділа вся сімья Городинських, лічучи сюди й маненьку дочку з пристарілою панією, котру Маркови за поспіхом не рекомендували і про котру Марко зрозумів, що це губернантка найменшої панської дочки, Французка, котра, як потім він дізнався, не вміла й слова по російському. Коло неї, просто Марка, сиділа старша дочка — Катерина. Біля Марка сів Іван Дмитрович, а за їм у білій гімназійальній сорочці худий, на погляд сонливий хлопець років чотирнадцяти — Марків учень.

Марко перебіг по йому очима, перебіг очима по дівчинці та губернантці і зупинивсь на Катерині Дмитрівні. Як і вся сім'я, вона була чепурна. Трохи довгеньке обличчя, тонкий рівний ніс, рівні чорні брови; обличчя більш худе, ніж повне; вираз — спокійний, трохи гордовитий; на гордовитість та енергію натякала й постанова голови — трохи назад; чорне волосся з рівним проділом додавало ще більш поважності цьому обличчю. Маркови вона не сподобала ся; тільки очі, погляд котрих він випадком піймав, були такі-ж карі, як у батька, але трохи горді.

— Панська врода! — подумав Марко і спустив очі.

— Ну, що-ж у вас нового в місті? — озвався пан, вівши добру тарілку юшки та втираючись розгорненою серветкою. — Мабуть пил, спека — таке, що й не продихнеш?

— Та воно і в нас того добра чимало, — промовила Катерина Дмитрівна.

— Правда! правда! — засьміявся пан. — Марко... вибачайте... Еге, Марко Петрович такий приїхав, що мабуть довго змивав з себе нашу стенову пилюгу. Ну, та се нічого, — за те в нас є скеля.

— Папа завсігди кожну нову людину найсамперед знайомить зо скелею, — знов промовила осьміхнувшись Катерина Дмитрівна.

— А що-ж? — скрикнув пан, — хіба не гарно? Ось побачите, Марку Петровичу, я вам покажу. — Так що-ж у вас нового в місті?

— Та мабуть нічого нема, опріч того, що ви й сами знаєте з газет, — одмовив Марко.

— Та кат його зна, що там ті газети пишуть! — сказав пан. — Ніколи їх читати — от хіба „Лучь“ іноді почи-таєш, посьмієш ся, як жидів там батьожать. А ти вже й сьмієш ся? — обернувся він до сина, помітивши в його на губах усміх. — Знаєте, Марку Петровичу, Іван з мене усе сьмієть ся — він там модний бюрократ, петербурський урядовець, — се він, бачите, до нас на літо одпочити приїхав, — так він сьмієть ся з мене, що я іноді „Лучь“ читаю. А міні подобаєть ся! Я як ще був офіцером... Ах, зараз! — скрикнув пан, зупинившись і почав брати печеню, котру вже давно держав біля його льокай. Набравши чимало, він заходивсь їсти і вже поки не балакав.

— А ви давно з Петербурга? — спитавсь Марко в сина, аби не сидіти мовчки.

— Та вже два тижні, — одмовив той. — Його очевидно шокірували батькові слова про його і він трохи зневажливо забалакав: — Нудно! Воно, звісно, гарно — це чисте повітря, сад... Я тут родивсь, хоча ріс у місті... Але-ж мов одрізаний од світу. Живучи в Петербурзі, роблючи своє діло, чуєш, що ти частина великого, могутнього механізму, котрий захоплює величезний район, знаєш, що не район той, а ти над їм пануєш. А тут!...

Панок зробив погордливий жест і вдався до печені.

— А тут що? — спитавсь Марко.

— Тут природа гнітить!

— Природа гнітить? — здивував ся Марко.

— Еге-ж! Цей степ нескінчений, ці скелі страшенні, котрі чогось залізли серед цього степу, примушують вас щогодини, що-хвилини розуміти, що ви маленькі, мізерні. І всюди природа гнітить і дошкуля: сонце не хоче гріти, а нестерпуче пече, або не гріє зовсім тоді, як треба; пил засипа глотку й ніс; дощ лє зовсім не тоді, як його бажають...

— Але-ж се незмінний лад! Де-ж ви інше знайдете? — спитавсь Марко.

Іван Дмитрович трохи помовчав. Він зручними рухами дорізає останній шматочок печені, не поспішаючись положив її в рот, розжував, проковтнув і тоді вже одмовив Маркови докторальним тоном:

— Людина має розум, щоб скоряти собі природу. І вона її скорила — у містах. Подивіть ся там. Я в своїй теплій квартирі, в своєму впокійному повозови, а найбільш в своїй робітні — в канцелярії — почуваю себе паном свого життя.

— Дуже оригінальний погляд на природу! — сказав усьміхаючись Марко.

— З котрим я ніяк не можу погодити ся! — додала Катерина Дмитрівна.

— Та ми знаємо, що ти ентузіястка природи! — трохи іронічно сказав брат.

— Зовсім не ентузіястка, — одмовила дівчина, — а тільки не можу ніяк погодити ся з таким поглядом на природу. То на твою думку машина краща од живої істоти?

— Здебільшого, — аби гарно була зроблена. Ти-ж зро-

зумій! Ось тобі паралеля. Їду я по степу. Сонце пече, заносить пил. Од сонця страшенно болить голова, пил не дає дихати. Втомлені коні ледві плентають ся. Коли це несподівано дощ! Пил змішавсь з водою і брудні патьoki течуть міні по обличчю, біжать за спину. Я трушусь, увесь мокрий з холоду, і не можу рушити з місця, бо потомлені коні не витягнуть з грязюки. Се твоя природа. І тепер зрівняй з цим мене в моїй канцелярії. Сидячи на мягкому кріслі, у помірно нагрітій чистій та чепурній хаті, рішаючи справи, котрі мають значіння для усієї Росії, я почувую себе паном, царем над цією природою, над людьми....

— Він дума, що з своєї канцелярії переробить природу, — забалакав пан. — Не погано було-б, як-би дощ ішов у нас тоді, як треба. Було-б дуже добре, як-би він слухавсь ваших офіційних наказів. Але-ж до цього ваші канцелярії ніколи не досягнуть...

— Дуже можливо! — перепинив Іван Дмитрович батька, — хоча... Єсть-же проекти робити штучний дощ. Держава може взяти се діло на себе і керувати їм на користь усім. Бо тільки уряд може робити таке велике діло. Та й що уряд не робить? Усе! Я дивую ся, як ви не бачите, що усе життя проняте його впливом, що усюди його видко.

— Та що з того? — озвався пан.

— Як що? — гаряче одказав син. — Як що? Уряд держить стрій громадський. Як-би не уряд, то стрій той мусів-би стати безладдям, будинок мусів-би розвалити ся.

— Міні здасть ся, — сказав Марко, — що ви дуже багато надаєте значіння урядови.

— Чому, коли ваша ласка?

— Та міні здасть ся, що уряд не може держати громадського строю. Він справді може підтримувати його, пособляти деякому ладу в тому строю, але держати — ні!

— А хто-ж його держить?

— Сила речі самої. Форми життєві виробляють ся взаємодіянням усіх життєвих сил і тим-же й держать ся, а не урядовими заходами.

— Стара історія! Це, коли хочете, анархізм. Бачили ми, що давало людям таке взаємодіяння життєвих сил! Де вже більшої волі їм, як у Франції було — а що вийшло з тої революції? Нічого, опріч терору та безладдя. І що вийшло те-

пер з Франції? Нічого, опріч безладдя, бо республіканський уряд — не уряд. Але я одбивсь на бік. Я хотів сказати, що справжнє освічена людина не може почувати ніяких сімпатій до природи, бо мусить звикнути до цивілізованих форм життя. Гляньте в історію людскости! Коли найближче людина до природи? Тоді, як вона живе дико, по зввірячому. Але де далі вона цивілізуєть ся, то більш одходить од природи і се зовсім натурально. Чоловік почина виробляти не ті форми життя, які накида йому природа, а ті, які вимагають здобутки цивілізації — таким побитом складаєть ся державний стрій. І що не кажіть, а твердий уряд, котрий усе держить на припоні, усе зна, до всього доглядаєть ся...

— Це правда, що за всім доглядаєть ся! — скрикнув веселий пан, котрому надокучила та розмова. Ось у нас репрезентант вашого уряду — урядник. Так той приїздить колись до мене, — зараа і доглядів ся: — „Гусочки, — каже, — у вас гарні! Хоч-би з парочку міні!...“ і старий пан зареготавсь.

— Ну, що там урядник? Що таке урядник? — невдоволено одказав Іван Дмитрович.

— Чому? — промовила Катерина Дмитрівна — і Маркови здалось, що в її голосі задзвеніла іронічна нотка. — Чому? Адже і він частина вашого всемогутнього механізму!

Іван Дмитрович нічого не міг одмовити, бо ту-ж мить почали вставати з-за столу.

— Ну, а тепер можна й одпочити! — промовив пан. — Ви, молоді люде, після обіду не спите, а міні не погано.

І він пішов одпочивати. Марко теж пішов у свою хату, але не вважаючи на безсонну ніч у вагоні, заснути не міг — під впливом нових вражінь.

Минуло декільки день, поки Марко обговтав ся та звик до нової обстанови, до нових людей. Сімя, в котру довелось потрапити Маркови, була багата панська сімя. Старий пан Гординський ще замолоду служив у війську. З третьої чи з четвертої класи гімназії пішов він до війська, і гулянки з товаришами та карти далеко більш сподобали ся паничеві, ніж скучні гімназіальні лекції. За веселу вдачу та за те, що щедро сипав грішми — улюблено його поміж товаришами. Батькова смерть примусила його покинути службу поручником та взяти ся до хазайства. Запакувавшись на селі, він дуже „зму-

жичився“, як казали про його його аристократичні знайомі, — се-б-то одбивсь од мійських завичок та смаків і навіть балакав трохи по простацькому. Це однак не навчило його добре хазяйнувати, і хоча окономія його вмiла добре витягати копійчину з усюди і мати в твердій руці мужиків з околиці, та се робив не сам пан, а управитель з Москалів, котрого він мав у себе. Пан-же мало до чого встрявав, бо любив солодко попоїсти, гарно попоспати та на дозвіллі пореготати ся за веселою розмовою. Був він затого неосвiчений, бо що вчив — забув, а читав хiба „Лучь“ та „Московскія Вѣдомости“ — та й над останніми дрiмав. А про те така-ж була більшість сiльських панів, а ще більш — панків, — то пан Городинський нічим і не одрiзняв ся од їх. Був-же чоловік не злий і мужики навіть хвалили його часом, хоча ніколи не хвалили його окономіі.

Його жінка була більша пані, ніж він. Вона була дочка дуже багаті панської сім'ї, ще й з рідні якомусь князеві чи графові. Тим-то сім'я її жила по аристократичньому. Марію Семенівну виховано в інституті і готовано заміж коли не за царенка чи князенка, то у всякому разі за генерала. Сама вона нижче генерала не спускала й очей. Воно може так-би й стало ся, та трапило ся несподiване лихо: в один чудовний день батько збанкрутував і вся сім'я мусіла виїхати з блискучого Петербурга на село, де zostавсь їй ще невеличкий клаптик землі, котрий був тепер єдине її багатство. Одміна була велика і ніхто з чималіої сім'ї (у Марії Семенівни було ще двоє братів та три сестри — усі менші од неї) не міг погодити ся з нею. А погодити ся було треба, бо іншого способу жити не було. Спершу Марія Семенівна все сподiвала ся, що ось-ось прилетить якийсь молодий герой — хоч не царенко, але у всякому разі такий, що колись буде генералом — і як той казновий принц розірве терня вбожества і своїм поцілунком покличе її до нового життя. Але час ішов, а молодий герой не приходив. Панна спустила навіть трохи нижче: вона вдовольнилась-би й просто офіцером, аби багатим. Але й той не приходив. Так досиділа вона до двадцяти трьох років. Життя, що здавало ся дочасним, мусіло зробити ся їй довизним. Минув ще рік і вона вже втратила надію. Як тут нагодивсь Городинський, що був сусідою їх на селі. Він закохавсь у двадцяти чотирьохлітню вродницю і посватав її. Подружжя Марії

Семенівні здавалося зовсім небажаним. Що за манери, розмова, яка грубість мужича — пхе! Чи могло-же це все подобатися їй, що зросла серед тонкої атмосфери московського інституту та петербурських балів? — Але-ж сей степовий ведмідь багатий! — казали їй родичі. — Мусиш йти, бо нічого не висидиш... Вона це й сама розуміла і пішла за молодчого од неї на два роки Городинського. Вона пішла, почувуючи, що приносить жертву; і ніколи не могла погодитися з своїм становищем. І досі вона поводилася так, мов-би вона голова аристократичної господині, а чоловік дещо інше... Не змігши знайти в йому задоволення своїм аристократичним бажанням, бо він одружившись і не подумав кинути господарство та везти свою жінку блищати на великанських балах, як то їй бажалося, — вона вдовольняла себе хоч тим, що свої панські погляди, свій аристократичний світогляд прищеплювала дітям. Вона досягла того, що сина віддано до одної з найаристократичніших педагогічних інституцій у Петербурзі, дільом котрої давав хлопцеві надію на добру бюрократичну кар'єру. І з сина вийшов чудовий бюрократ, на котрого не могла досить надивитися мати; кар'єра його була забезпечена, бо й тепер він уже мав чималу офіційну посаду. Але ще більший вплив мала пані Городинська на старшу дочку. Вона наговкла їй голову чудернацькими думками про вищість панської породи, про те, що вона, Катерина, призначена до блискучої долі і т. і. — сказати відразу — вона робила з дочкою те, що роблено замолоду з нею самою і мала великий вплив в цьому напрямку хоча Катерина, маючи чималий розум і самостайну натуру, не завсігди годилася, ні з материними поглядами, ні з материним, досить суворим режимом. Метою матірною було — виховати дочку у тому-ж інституті, де вона й сама вчилася. Але інститут був у Москві, а вони жили серед українських степів, і батькові зовсім не хотілося запроторювати так далеко дочку. Що ні робила Марія Семенівна, але завсігди плохий пан Городинський цього разу був надзвичайно упертий. Марія Семенівна згожувалася уже на який ближчий інститут; але пан Городинський безапеляційно сказав, що всі інститути нічого не варті і що він віддасть дочку до гімназії, як то всі роблять. Такою думкою про інститути він страшенно образив жінку, але не одмінив свого погляду: Катерина мусіла вчитися в гімназії. А про те Марія Семенівна трохи розважилася:

з одного боку вона дізналась, що у тій-же гімназії вчить ся її губернаторська дочка, а з другого — вона примудрувалась так обставити Катеринине життя в місті, що дівчина, маючи панські нахильности, відразу опинила ся в гімназії серед того невеличкого гуртка паннів, котрих подруги дражнють аристократками, паніями і т. і. Тому впливови, котрого так бояла ся од гімназії Марія Семенівна, Катерина затого не підпала і не „зопсувалась“ або „зопсувалась“ дуже мало.

Маркови пані Городинська зараз-же спершу не сподобалась. Завсїгди мовчазна та трохи сувора, вона поводиталась з їм якось особливо згорда хоча завсїгди дуже ввічливо. Марко та вона затого ніколи не балакали. Не дуже розбалакував Марко і з Іваном Дмитровичом. Сей молодий адміністратор, сумуючи по своїй пануючій над людьми й природою канцелярії, завсїгди мав вигляд маленького Зевеса і ніколи не балакав, а докторальним тоном навчав, мов офіціяльні накази видавав. Правда й він іноді не додержав того тону і прохоплювався якою горячішою одмовою, — найбільш як хто гудив його адміністративні теорії, — але-ж се робило ся тим, що він ще був досить молодий, щоб крізь ту Зевесикову шкуру не видно було звичайної людини. А про те можна було бути певним, що „статський совітник“ доробить те, чого поки бракувало. Балакати з їм Марко не мав ніякого бажання, але й Іван Дмитрович був не цікавіший до Марка, раз собі рiшивши, що це студент-ліберал.

Далеко більш зацікавлювала Марка Катерина Дмитрівна. З одного боку — врода її дуже дивувала Марка. Де далі він приглядав ся до неї, то все більш мусів дивувати ся надзвичайно артистично виробленим пружкам її обличчя. З другого боку — вона зацікавлювала його як натура. Вона балакала з їм мало, поводиталась трохи згорда, хоча й не давала сього помітити. Але в її очах сьвітивсь розум, а стісок губів та крутий лоб показували енергію. З усієї сім'ї вона була найцікавішою і Марко, дивлячись на неї, думав іноді:

— Яка пишна врода і яка шкода, що се — тільки панська цяцька. І невже цей розум, ця енергія підуть тільки на балі та на етикетні розмови?

І Маркови іноді стало шкода, що се так.

Життя Маркове склало ся впокійно. Пісьля вранішнього чаю він сїдав учити свого учня — забитого, запамороченого

гнітучою системою класицизму, що панує в російських гімназіях, хлопця. Маркови довелося багато попанькатися коло його, поки він хоч трохи його розбуркав і привчив розуміти те, що вчиш, а не виучувати слово до слова по книжці. У снідання, котре було в годину, вчиття перепиняло ся на дві години, а тоді знов ще трохи вчили ся — іноді до обіду. Так бажав батько. Обід, по панському, бував не раніш пяти годин або пізнійше і після того Марко був уже цілком вільний. Той час він вживав на свої роботи та на користування з сільського повітря й природи.

II.

Іхавши на село, Марко мав замір ближче придивити ся до селянського життя, до народу. Йому доводилось і перш бачити село, але більш на швидку руч, і він дуже цікавив ся глянути на його уважнійше. Тим-то проживши з тиждень на новому місці, він над вечір у неділю пішов на слободу. Він пішов просто вулицею, цікаво роздивляючись на все. На погляд село було не дуже привітне, як затіло всі степові села. Правда, вальковані або кам'яні хати були здебільшого чималі, але й тільки-ж того. Сірі або руді тини, кладені з каміння, часом на гнояці, котра стирчала з межі камінюк, були далеко сумнійші й нечепурнійші од веселих тинків, до котрих Марко звик у своєму краю. Але найбільш його вражало те, що затіло зовсім не було коло хат п'якого дерева: біліли, а іноді й руділи хати, руділи тини, сіріла вкрита пилом вулиця — і ці гілочки зеленої, котра закрасила-б, звеселила-б усе. Тільки далеко од хат, в кінці городів над річкою видко було трохи якогось дерева — мов садовина та кілька верб.

Не встиг Марко пройти й гони, як побачив, що назустріч йому йде юрма парубків. Парубки були в червоних кумачевих поясах; деякі накинули на плечі чумарки, а деякі, поверх сорочок, одягли „жакетки“ — се-б-то піджаки, некшталтно пошиті сільськими кравцями з черкасиною або якої іншої сільської тканини. На ногах були чоботи на високих підборах з довгими халявами, у деяких повимережуваними густо мідяними пістонами. На головах картузи, збиті на потилицю. Деякі були навіть погано повмивані після роботи в вугільній шахті, в котрої вони прийшли вчора у вечері до дому, але очевидьки

пишались своєю одежою. Парубки йшли швидко, махаючи руками. Один грав на гармонії, а другі сьпівали:

„Па вулиця маставой
„Шла дівця за вадой!“

Хлопці вигукували пісню, котра очевидно дуже їм подобала ся.

— Ось вона — сьогочасня народня поезія! — гірко подумав Марко і пішов далі. Під однією хатою сиділа кунка не дівчат, а ще піддівків — років 13—14, котрі теж сьпівали пісні, що навчили ся од своїх старших сестер. Марко всієї не чув — розібрав тільки початок:

Повій вітер-вітерочок
Іс трахтыря в погрібок:
Там бутылкы шевеляця,
А стаканы говорять,
У гуляньи пры каннаньи
Парінь дывушку обял...

— Боже мій! — що-ж це воно таке? Нехай би вже парубки, а то й дівчата не соромлють ся сьпівати такої пісні.

Він придивлявся до жіночої одежі — вона теж не була українська: затого у всіх дівчат поверх сорочок якісь некшталтні, нековирні „ситцеві“ кохти, котрі висіли на їх, як мішки. Деякі були без кохтів і в двох з їх Марко побачив не українську сорочку: повних рукавів нема: рукави коротенькі, косо зрізані і вся сорочка пошита на кшталт чоловічих блюз.

Трохи далі Марко вадрів під хатою трьох старих чоловіків та жінку, що сиділи на призьбі. Він підійшов до їх, поздоровкав ся, „з неділею“ сказав. Ті одмовили йому.

— Пустіть, коли ваша ласка, до себе сісти одпочити! — попрохав Марко.

— Сідайте!... — промовив один чоловік, мабуть господар тієї хати, під котрою люде сиділи, — ввічливо, — але якось дивуючись глянув на Марка. Він посунувся і Марко сів. Розмова, що досі була в людей, стихла.

— Що се у вас дівчата та парубки таких пісень сьпівують? — забалакав Марко.

— Яких? — нехота спитавсь господар — чоловік уже під лїтьми, з великою бородою.

— Та негарних! — сказав Марко.

— Хто й зна... Яких уміють.

— Де це вони таких навчили ся? — не покидав свого Марко. — Невже вони позабували старі гарні пісьні українські?

— Хто й зна... Ми не встряваємо до пісень...

Чоловік балакав неохоче, пускаючи слова крізь зуби. Марко помітив се і йому зробилось ніяково.

— А чого це у вас садків нема? — знов запитавсь він, щоб не сидіти мовчки.

— А де-ж ми їх насадимо?

— А он у тому краї, звідкіль я родом, — там багато садків.

— А ви-ж звідкіль?

Марко сказав.

— Гм... — пробубонів дехто, а господар, помовчавши, спитавсь:

— А сюди-ж ви як прибились?

— Та ось вчителем у вашого пана — хлопця вчу.

— А! — сказали чоловіки і змовкли. Забалакала жінка:

— То-ж то я дивлюсь, що ви міні по знаку, — думаю собі: де це я бачила? Аж воно я вас у дворі панському бачила, як носила туди кури продавати. Коли це було? У середу? — Ні — в четвер!...

Розмова знов увірвалась. Маркови зробилось зовсім ніяково. Він посидів ще трохи і не знаходив слів, бачучи, що люде поглядають на його скоса та дивуючись. Їх погляди, здавалось, казали:

— Якого він ката сюди приплентавсь?

Марко устав, попрощавсь і пішов далі. Трохи одійшовши, він почув за собою розмову:

— Що воно таке?

— Чуєш-же — панський вчитель.

— Чого-ж він приходив?

— А хто його зна... Може пан послав що випитать?...

Бач — про садки питавсь...

Далі вже Марко нічого не почув, бо далеко одійшов.

— Не вмію я балакати з народом! — думав він, ідучи вулицею. — Вони мов боять ся мене, чи гордують мною — не розбереш. Треба частійше ходити на слободу, добре зазнайомитись хоч з декількома селянами — тоді, може, й розбалакаємось.

Пройшовши трохи далі, Марко побачив коло одної хати купу людей. Люде стояли, сиділи, жваво про щось балакали, кричали. Чути було навіть якісь невиразні сьпіви. Підійшовши ближче, Марко побачив, що люде пили горілку сидячи на рундучку, або на землі, а то й просто стоячи. Це був шинк. Новий закон не дозволяв пити горілку в шинку, — ото-ж люде виходили з хати і пили коло шинку і цього їм ніхто не забороняв. Марко потім дізнався, що для шановніших шинкових гостей, таких, як сільське начальство чи крамарство, була в шинкаря особлива хата, де він приймав їх мов-би своїх гостей і де можна було пити скільки схочеш. Прості-ж люде впивались на дворі і впивались, як бачив Марко, добре. Дивніш од усього було Маркови те, що поруч із старими людьми сиділи й зовсім молоді і всі гуртом тягли горілочку. Гармонія й тут рипіла, але пісенья була вже зовсім неможлива — ще гірша од тієї, що чув Марко од парубків та дівчат. Дехто, похитуючись кудись ішов, дехто вже заорав носом і слухав чмелів. Один добродій перестрів Марка. Се був старенький уже дідок, низенький, сухенький. Він скинув шапку і низько вклонив ся Маркови і промовив:

— Здрастуйте, барин, ваше благороддя!

Марко odmовив на здоровкання і хотів обминути п'яного, але той перепинив його, роспірчивши руки.

— Ваше благороддя! — скрикнув він весело, але ледві повертаючи язиком. — Гуляємо! Уся громада гуля! Обчество! Падлець, такий син Семен Олексієвич — падлець: такі викрутив обчественну землю. За те погуляли!... Е!...

П'яний поточивсь і впав. Марко пішов швидче далі. Він зрозумів, що се була громадська гулянка, і зрозумів, що Семен Олексієвич — глитай тутешній, котрий видурив у мужиків за горілку громадську землю. В цьому селі була не одна громада, а аж три — тим-то гуляла тепер тільки та, що „пропила“ землю, а другі муєїли нити за свої гроші. Мабуть такого добродія, що пив за свої гроші, Марко стрів трохи одійшовши од шинку. Чоловік, п'яний, як земля, сидів долі. Біля його стояла жінка і тягла його, кричучи:

— Уставай, проклятий! уставай Іроде! п'яного!

Чоловік силкувався устати, але не міг. А жінка все тягла його і все кричала плачущим та злим голосом:

— Падло п'яне! Усе попропивав!... Одягти ся ніввіщо!

Їсти нічого! На що ти пшеницю одвіс у шинк? А жілетка де твоя?

— П... пропив!... Штурма Шимильов гуля! Бережись!...

П'яний простяг кулак і хотів ускочити з долу, але вправ зовсім і туж мить захріп.

Марко пішов швидче...

А тим часом уже вечоріло. Сонце сідало за високу скелю, що була по той бік річечки, проти слободи, і останнім промінням золотило слободу. Вечірня прохолода починала віяти навкруг. Марко пішов до дому.

Але йому не схотіло ся проходити знов тією-ж вулицею. Він повернув у провулок, а тоді пішов низом поза селянськими горобами. Він не поспішавсь до дому, а йшов тихо, думаючи про те, що довелось йому побачити. Несподівано почув він голоси і глянув у той бік, відкіль їх було чути: за тинном стояли два парубки і балакали. Вони не бачили Марка і тягли свою розмову далі:

— А давно ти до неї ходиш? — питавсь один.

— Та усю зиму.

— Чого-ж ти бросаш? Скверна ізделала ся?

— А ну її к чорту — ще дитину приведе!

— Боїш ся, щоб на тебе не сказали?

— Кат її бери — хай каже! Хіба міні що? Мало я їх перевів!... А так — уверилась!...

— А я ще до своєї поки походю... — одмовив перший. Парубки балакали ще й далі, але що саме, Марко вже не чув — він поминув їх.

Уже зовсім смеркло. На селі посьвітили ся. Парубки й дівчата дужче засьпівали. Деякі гурти сьпівали так близько, що Марко розібрав слова з пісень. З одного краю чуло ся:

Ой ты, Ваня, ты разсукин сын такой!

Де ты, Ваня, сюю ночку почувал?

Чи у карты, чи в игранти прогулял?

Чи у хаті на перынах пролежал?

А десь тоненькі дитячі голоси, трипдикаючи до танців, присьпівували:

Улюбыв ся — урззал ся,

Был-бы ножык — зарззал ся!

Давай ножык погастрей,

Зарезу ся паскарей!

Марко вернувся у свою хату похмурий та замислений. Все, що він бачив вразило його та ще й дуже погано. Важкі думи опанували йому голову. Йому було тяжко. Він почував потребу щиро з ким побалакати і сів писати лист до свого друга Семена Лісовського. Він йому писав про те, що побачив сьогодні на селі. Він списав йому всі сцени, а вкінці додавав:

„Я зовсім не того сподівався. Досі я уявляв собі простий народ так, що він заховав у собі наш національний скарб — нашу мову, звичаї, поезію. Але замість поезії я почув: „Іс трахтыря в погрібок“; замість щиро-народньої мови — ламану мішанину. Про звичаї не знаю, але все, що бачив, доводять, що й вони не вдержались. І цей шинк, і ця розмова парубків про дівчат, і ці дівчата, що сьпівають таких пісень... Сумно, Семене, сумно!... Може хоч у тебе є що відраднійше — розваж!...“

Другого дня, прийшовши до обіду, Марко побачив нову людину. Се був гість, з котрим Марка зараз-же познайомлено, — Яків Григорович Голубов. Голубов був син захожого на Україну Москаля. Його батько, покинувши торгувати та обдурювати своїх Москалів, прийшов на Україну і привіз стільки грошей, що міг купити більш тисячі десятин землі, тоді дуже дешевої. Господарювати він ніколи не думав; але в його була інша система здобування прибутків з землі. Він навчивсь її од своїх таки братчиків Москалів, що покупили на степовій Україні землі. Він віддавав мужикам, у котрих землі було обмаль, свою землю частками з якої частини врожаю і таким побитом, не господарюючи, міг за своє життя побільшити втрое свою землю. Син Яків, котрий у його один тільки й був, спершу призначений був пособляти батькови, навчившись трохи письменству у якогось дяка, чи салдата. Але-ж далі побачив старий Голубов, що освіта дає змогу ширше розсувати руки, тягнуци до себе в кишеню, і він віддав сина до гімназії, а далі, як той схотів, і до університету. Син вийшов відтіля „папом“ на всі боки і одержавши незабаром од померлого батька чималу маєтність, осівсь на селі та й почав хазяйнувати. А про те він не запакував себе на селі: він увесь вільний час жив у місті, любив бувати поміж людьми, любив веселе та освічене товариство, в котрому почував себе, як дома, бо й сам був людина освічена — читав багато, найбільш сьогочасніх фран-

цузьких натуралістів і хоча знаходив втіху і в Шекспірови, але в інтимному гуртку казав прищмокуючи про „Нану“: „Се книжечка — так-так!“; сьогочасної-ж російської белетристики та поезії, в котрій таку велику ролю відгравають нерви, не любив і не читав. Одягавсь завжди артистично і, маючи чимало діла, знаходив час дбати про свою чепурну, трохи сити, фізіономію. Він подобавсь жінкам і подекувано, що безрезультатно і навіть дуже, бо вмів провадити веселу салюнову розмову та танцювати так саме, як дуже докладно і не без критицизму балакати про літературу та штуку, про психологію та політику. І те й те він робив однаково залюбки і завжди і всюди був розумним, сьвічним та зручним паничем. Серед губерніяльного панства його приймано дуже радо і панство зовсім не зважало на те, що він мужичий син: освіта, розум та гаялнтність примушували забувати про се. Було ще інше дещо, що пособляло Голубову поміж панством. Прийнявши од батька та поліпшивши його систему хазайнування, він зумів так гарно господарювати, що вже купував нових тисячі три десятин землі; а його гроші часто й густо йшли на позички панам; зовсім зрозуміло, що чимало панів, котрих Голубов мав вексьями у руках, немало змоги не радіти, як він з'являвся серед їх. Городинський теж щось йому винен був і хоч пані Городинська часом і шулила якось особливо очи на Голубова, але се тільки тоді, як він не міг того бачити: дуже вже він потрібна людина був; а їх, хоч і чимала, маєтність була заставлена та й перезаставлена вже по банках.

Марко не міг одразу собі сказати, чи сподобав ся йому Яків Григорович, чи ні. Він був високий, огрядний чоловік, одягнений як найкраще, росчісаний теж, як найкраще і з чепурненькою русавою борідкою підстриженою теж, як найкраще. Його голубі очи були розумні, а ще більш хитрі та швидкі — з їх визирав московський крамарчук. Взагалі був він чепурний та сьвічний чоловік.

Посідали за стіл, почала ся загальна розмова. Тільки пан Городинський, завжди балакучий, тепер щось сунив ся. Він ходив по господарству і в його вийшла суперечка з людьми, котру він не міг ніяк забути і нарешті таки не втерпів і росповідав усім:

— Подумайте: пять десятин пайкращої пшениці виточили падлюки! Сььогодні волів заняв, — прибігли, говорять:

Оддайте! — І такі вже ласкаві та ввічливі. Ні, брешете, — заплатіть мені за п'ять десятин пшениці!

— Заплатять вони вам! — обізвався Голубов. — Хіба ви не знаєте цього хамства: вони раді-б інтелігентну людину з'їсти. Хіба для їх істніє власність! Вони тільки свою власність уміють поважати.

— А панської — ніколи! — перепинив Городинський. — Се правда. Ми і мужики — се два вороги. Мужик вишукує усякої змоги одурити, обікрасти, підвести під монастир папа.

— Невже так? — спитавсь Марко.

— А ви ще не знаєте? — повернувся до його старий Городинський. — Ви ще не знаєте цих мошенників! Та знаєте ви, що у мене, відколи я господарюю, ще не було з їми умови, котру-б вони цілком, так, як треба, додержали?

— То на що-ж ви з їми маєте діло? — спитавсь Марко.

— Як — на що маєте діло? — здивувався пан. — Треба-ж мені хазяйнувати, треба-ж з чогось жити!

— Виходить, що ви все-ж користь з зносин з їми маєте?

— Вже-ж маю! На що-ж би я тоді й звязувався з цими падлюками! Але коли зносини, то зносини чесні, а не щоденне одурювання.

— Вибачайте, — ви бували коли на селі? — спитавсь у Марка Голубов.

— Бував, але дуже на короткий час.

— Шкода, що ви не були довше та не господарювали самі, — тоді ви дізнали-б, що це за цяці. Їм нема ні законів, ні релігії — нічого сьвятого. Се не люде, а свині.

Кров спалахнула в Марка, як він почув цю образу, що кинув Москаль на його народ. Але він здержавсь, та ще до того тут пристав до розмови Іван Дмитрович.

— Я цілком згожуюсь з вами, — промовив він до Голубова і протяг далі в докторальному тоні: — Я давно вже думаю про се і дійшов, укупі з найкращими адміністративними розумами в Росії, до тої думки, що тут треба як найшвидче запобігти лихови...

— Та чим-же ти запобіжиш? — перехопив старий Городинський.

— Ось! — протяг далі спокійно та поважно син, — я зараз скажу. Мені здасть ся, що лихо в тому, що мужик живе не під законом, — його життя, його діяльність не реґляміно-

вані. А се повинно бути. Повинна бути така адміністративна система, котра не дозволяла-б мужицтву хитати ся туди й сюди і детально реґлямінувала-б масову роботу, щоб за погане хазяйнування, за піяцтво, за лайку, за мошенництво, за нехो-діння до церкви, за неповаання старших і за всякі інші мужичі провини була зараз кара і щоб караюча рука завсігди висіла над мужиком, не дозволяючи йому одхилати ся на бік.

— Справді? — спитавсь Марко. — І се тільки мужи-кови? А чому-ж, коли так, і не панови? Адже й пани вин-ні-ж в тому.

— Чому? — гаряче уступивсь Голубов. — Тому, що люде поділяють ся на два одділи — не „сословія“ — ні, бо ся річ тільки послідок тієї чи іншої державної системи, а я кажу про те, що єсть послідком соціально-економічних обста-вин, — поділяють ся на два одділи: осьвічених або паную-чих та неосьвічених або працюючих. Се закон життьєвий, ко-трого ніщо не зсує. І се закон цілком правдивий: на те, щоб процвіла культура, цивілізація, треба, щоб нерозвита маса да-вала свою мускульну працю. Але ми тепер бачимо, що ця маса манкірує своїми обовязками і тим шкодить культурі. Му-симо одже запобігти цьому лихови, присилувавши її.

— Я додам ще одно — почав знову Іван Дмитрович, — а саме те, що така система мала-б ще й інше значіння: вона виховувала-б масу в потрібному напрямку, робила-б з неї гар-ну дисципліновану робочу силу.

— Се-б то, — сказав Марко, — ви хочете виховувати народ так, як виховують волів чи коней?

— Чому ні? — зовсім спокійно одмовив Іван Дмитрович, — Дарвін довів, що закон для звірят і для людей один. Чому-ж нам систему виховання звірят не перенести на темну робочу масу, котра в посуванню наперед цивілізації відграє таку-ж ролю, як робоча товарица у нашому господарстві.

— Ні, — озвався нан Городницький, — може твоя сі-стема й добра, але всі ваші системи — бачили ми се добре за останні часи, — ні до чого не доводять. Коли вже так бала-кати, то волю обстати за старе кріпацьке право. То так сі-стема була! Система слухняности!

— Ах, папа, — ну хто-ж тепер може думати про крі-пацтво? Се тепер дико! Я вам кажу, що зовсім одкинувши ті застарілі форми, можна спорудити таку нову...

— Що вона буде гірша од старої? — перепинив Марко. — Я не розумію тільки одного: як може людина казати про людину, що її можна виховувати як коня або вола!

— Я теж цього не розумію! — розітнувсь зненацька Катеринин голос. — Я згожуюсь, що мужики не здатні до гаякого життя, як ми, освічені люде; але все-ж вони люде і чому-ж, коли так, не вести їх на заріз?

— Ah, mon Dieu! — на що так гаряче? — озвався сьміючись брат. — Заспокій ся — ніхто не буде мужиків різати, а кажуть тільки про те, щоб зробити їх здатними до роботи на освічену пануючу клясу.

— Та яке-ж право маєте ви се робити? — гаряче спитала ся Катерина і її блискучі очи стали ще блискучійші, а щоки так і запалили румянцем.

— Ого! — скрикнув Голубов — та Катерина Дмитрівна зовсім прихильниця Льва Толстого! Чи не піти нам груби становити або чоботи шити?

— Вибачайте, — я зовсім не про те кажу, — одмовила Катерина. — Я не піду мужичі чоботи шити, але тільки кажу, що й мужики люде.

— Такі-ж, як і так звана інтелігенція! — сказав Марко, — в цьому я зовсім згожуюсь з вами, Катерино Дмитрівно, і тільки міні здасть ся, що ви помиляєтесь, вважаючи народ нездатним до культури та просвіти...

— А я оступаюсь за Катерину Дмитрівну в тім, що тільки ми, інтелігентні люде, здатні до культурного життя і тим тільки ми маємо право на тонкі артистичні втіхи життя! — перехопив Маркове слово Голубов, зовсім забуваючи, хто такий був його батько.

— Я думаю, — знов почав Марко перехоплену мову, — що простий народ, а найбільш народ український, так саме здатний до вищої культури, як і пануюча кляса. Що цьому правда, тому багато доводів.

— Яких? — спитавсь Іван Дмитрович.

— Та хоч-би той довід, що народ дав багато талановитих і навіть геніяльних людей, — Шевченка наприклад.

— Я нічого не читала Шевченкового, — одмовила Катерина. — Я тільки чула, що єсть такий „хохлацький“ поет.

— Ви, одначе, українофіл! — скрикнув Голубов.

— Еге! — одмовив Марко, дивлячись йому у вічі. — То що!

— Та нічого! — одмовив той нахабно і додав погордливо :

— Тепер зрозуміло, чом ви так оступастесь за сей народ.

— Я оступаюсь за народ тим, що вважаю те, що я кажу за правду! — одмовив Марко, у котрого кров спалахнула од того тону. — А що я те, що ви звете українофілом, то се теж правда, в котрій я радіючи признаюсь.

— Що таке українофіл? — спитала ся Катерина.

— Вас, одначе, не дуже просьвіщають в гімназії, — сказав Іван Дмитрович. — А про те — се й добре, бо тільки нігілістки вчать усякі „науки“. — А що до українофілів, то се люде, котрі марють про „хохлацьке“ гетьманство і котрі хочуть одділити „Хохляндію“ од Росії та й заснувати свою мужицьку республіку.

— Ви трошки не так опреділили річ, — сказав Марко. — Марити про вкраїнське гетьманство українофіли не можуть просто вже тим, що вони добре знають, що історія не вертаєть ся назад. Але ми, українофіли, стоїмо за своє рідне наційне життя і робимо, щоб досягти своєї мети.

— У всякому разі, — ви сепаратисти і шкодите єдності Росії.

— Справді? Я досі думав, що в Росії, де навіть по атлясу Іліна лічено сорок вісім народів, з котрих кожен має свою наційну фізіономію, — не істніє тієї єдності зовсім.

— В Росії один народ „руській“! — озвався Голубов, мов кулаком по столу стукнув.

— Се-б то: ви бажали-б, щоб був один; але одна річ — бажати, а друга — мати. Я-ж насьмілююсь думати, що ви цього ніколи не матимете. Ви, Великороси, можете змоскалити собі яких там Зирян чи Чукців, котрі навіть азбуки не мають, але, щоб се ви могли зробити з культурними народами, то це вже через лад великі у вас заходи.

— А ви вважаєте себе культурним народом? — спитавсь Голубов.

— Насьмілююсь.

— Але-ж якою культурою ви культурні? Чисю розумовою силою стали ся ви культурними? Нашою, „руською“ силою, нашими Толстими, Достоевськими! Де-ж ваша культура? Де ваша мова? Хіба ви маєте мову? — усе це Голубов вигукував і його повне обличчя усе почервоніло, а губи аж тіпались.

— Ви так палко питаєтесь, — одмовив осьміхаючись Марко, що можна думати, що ви самі догадуєтесь про небажану вам одмову. Що в нас є мова, се доводить ся вже тим, що ми балакаємо і друкуємо книжки, маємо свого великого поета і декільки чималих прозаїків, котрих ви, Великороси, звісно не вважаєте за потрібне знати. А що-ж до культурности, то хто-ж каже, що ваша література не мала на нас впливу? Але ви краще-б згадали про те, хто на кого перший почав мати вплив і од кого потім мали ви батька сьогочасного вашого літературного реалізму. Та нарешті я вам скажу ось що: пишайте ся своєю мовою, літературою, культурою, скільки хочете. Ми-ж, котрі так багато вам на те все дали, зрікаємось тепер усього того — хай вам будуть ваші Толсті, Тургеневи, Достоевські — вони нам чужі, а ми хочемо свого.

— Та як-же ви можете жити без нас? — скрикнув Голубов.

— Не тільки сьвіта, що в вікні. Опріч вашої обскубленої цензурою літератури єсть величезна, вільна і од вас незалежна всьогосьвітня література. З неї можна брати, скільки хочеш, не сподіваючись, що за се силуватимуть платити власною наційною самостійністю.

— І ви думаєте досягти звого? — спитавсь Іван Дмитрович.

— Ми певні, що досягнемо свого! — одмовив Марко.

— Досить одного міністерського наказу, щоб од усіх цих надій не зостало ся й крихти! — погордливо промовив Іван Дмитрович.

— Мабуть воно так! Тільки трохи дивно міні, що стільки було деяких наказів і навіть дуже й дуже безапеляційних, а надії все не зникають! — одмовив Марко.

— Та що це у вас така скучна розмова зайшла? — скрикнув пан Городинський. — Давайте або вставати, або що, бо вже, здаєть ся, нам нічого не дадуть! Вибачайте!

Всі повставали і пішли в сад. Голубов підскочив до Катерини.

— Вашу руку!...

— Я не люблю ходити під руку, — одмовила та.

— Як вам подобаєть ся ваш студент? Справжній демагог, котрому не погано-б прикороччати язика.

— Я думаю, що кожен має право мати які схоче погляди.

— Ого! та се він і вас швидко поверне у свою віру!

— Я не люблю такого шуткування. Ви сьогодні злі.

— А ви дуже добрі, тільки не до мене.

— Про що ви сперечаєтесь? — спитавсь Іван Дмитрович, котрий укупі з Марком нагнав їх.

— Та ось, — промовив Голубов, — Катерина Дмитрівна виявляє симпатії до українофільства.

— Симпатій до українофільства я не виявляю, — промовила Катерина Дмитрівна почервонівши, — навпаки: я дуже бажала-б, щоб українофілів зовсім не було.

— Чому? — спитавсь брат.

— Тому, що я люблю Росію, а ти сам кажеш, що українофіли — сепаратисти. Я тільки сказала, що кожен може мати такі думки, які схоче.

— Опріч тих, що шкодять державі! — авторитетно промовив брат.

— Сподіваюсь, Іване Дмитровичу, що ви в цій справі не втілена непогрішність? — спитавсь сьміючись Марко. — І, як по правді казати, то я ніякої шкоди державі не бачу в тому, щоб українська народність розвивалась так, як сама хоче; навпаки...

— Що встає проти Москви, те встає проти держави! — зло сказав Голубов.

— А на підставі якого права виявля Москва сі претенсії?

— На підставі права дужого!

— А! то я не сперечаю ся поки. Я піджду того часу, коли ми зробимось дужі і тоді скажу вам те, що ви кажете міні тепер.

— Ніколи ви не будете дужі! — скрикнув Голубов.

— Се-б то: вам не хочеть ся, щоб се було. Ваші земляки так багато балакають про се і так силкують ся впевнити всіх, що се неможливо, щоб ми зробили ся дужими, що можна думати, що вони самі думають зовсім інакше.

Голубов аж посинів з пересердя. Катерина дивилась на його і він тепер їй страшенно не подобавсь. Звичайно він був ввічливий та галантний. Але тепер йому бракувало толеранції і він був навіть незвичайним. Його чепурне обличчя налило ся з пересердя кровью і зробило ся погане. Катерина неповолі рівняла його до спокійного, трохи блідого, довгообразого Маркового обличчя з темними позападалими очима, з високим лобом та рівним носом; неповолі сподобалась їй та спокійність

та впевненість, з котрою поведивсь Марко в спірці. І вона думала собі:

— Яка різниця! Запевне — цей студент зубожілого, але щиро панського роду. Які в його малі руки!

І зовсім не помічаючи того, що се буде трохи незвичайно, вона спитала ся:

— А де ваш папа служить, Марку Петровичу!

— Мій батько вже вмер, — одмовив Марко, — і ніде ніколи не служив: він був чоботар і поки живий був, держав мене в гімназії тим, що шив чоботи.

Катерина страшенно почервоніла, думаючи:

— От дурна! На що було питать ся! Добре ще, що мама не чула. Чоботарський син — добра аристократія! Але-ж яка різниця: і той мужичий син, і той, — а хіба-ж можна їх рівняти?

І вона знов подивилась на Марка та на Голубова і їй здало ся, що рівняти їх і справді зовсім не можна.

А Марко йшов та й собі думав:

— В тої дівчини, здаєть ся, гарне серце, але як її зопсувала панська сімья, панське виховання! Але за те яка врода!

І Марко несамохіть задивлявсь на ту вроду і згадував її навіть тоді, як не бачив. Сього вечора він, сідаючи у себе в хаті читати книгу, теж її згадав і знов подумав:

— Як-би до сієї вроди та... У неї такі очі, що зараз видко в їх міцну та чисту душу. Шкода, що нема кому зробити з неї людину. Боже мій, що за люде навкруги!

Він сів, розгорнув том всесвітньої історії і почав читати. Він читав про Картагену. Він читав довго і перед його очима проходили всі пригоди тієї землі: і її слава та пишність, і її війна та зненависна ворожа кормига над нею, і Катон і його „Смерть Картагенови“. Перед його наче живі виступали ці молоді сини республіки, найкращі квіти з усієї нації, котрих гнато у римську неволю. А далі героїчна оборона свого краю: ламають ся хати й палати, будують з їх кораблі; жінки ріжуть своє волосся і плетуть з його тетиви на луки. Яким нелюдським героїзмом диде од історії усієї тої борні, од цих жінок, що свою вроду кладуть на жертвник рідному краю. Таким-би духом натхнути нам серця!... Але де той дух? Де ті люде такі? Де тепер такі жінки? Ось те-

пер що роблять ці жінки -- вони зрікають ся власного краю, вони вклоняють ся чужому богови і навіть не знають, який страшний гріх роблять!

І він згадав, як Катерина казала, що вона бажала-б, щоб українофілів зовсім не було, і потім згадав її сяючі горді очі — і не міг погодити у своїй думці сю фізичну красу з некрасою моральною. Краса була така гарна, така приваблива, а те, що казали ті чепурні уста, було таке негарне. І Маркови боляче було за отсі невідповідности, в його в серці мов заворушило ся бажання іншого і під впливом цього бажання він починав думати:

— Се тільки дочасне, се тільки послідок тих обставин, серед котрих вона жила. Не може-ж краса так одурювати, бо краса повинна злучати ся з добром. В тих сяючих очах видко героїчною силу, а в словах... Ні, ні, се не може бути!

Він не хотів, щоб се було, він бажав дуже, щоб було зовсім навпаки, щоб краса моральна відповідала красі фізичній і се бажання було таке велике, що йому здавало ся, що воно неодмінно мусить справдити ся. Він піймав себе на цих думках і нахилив ся до книги. І знов перед його очима замигтіли далекі стародавні і тяжкі й журливі картини.

— Так! ось вони, руїни пишної республіки: сплюндроване місто, все залите огнем з пожежі, забризкані кровью римські легіони грабують все, що можуть і вона, та жінка Гасдрубалова, що проклинаючи боязкого чоловіка, вбиває своїх дітей і кидаєть ся в полум'я. Коли нема рідного краю, то нема й життя. Яка вона була, ця жінка Гасдрубалова? Чому не востав ся відбиток з її обличчя — на науку нам, дрібнодушним? Може, побачивши її, зрозуміли-б ми свою нікчемність; дивлячись на її очі зрозуміли-б яким сьвятим огнем вони палають.

І Маркови згадали ся другі очі — горді й сяючі — очі тієї панської дівчини, що тільки сьогодні з нею балакав. І несамохіть з'явила ся в його думка:

— Як-би в її серці горіли такі сьвяті почування, то змогла-би ця так зробити!

— Що се я? — всміхнув ся він, знову схиляючись над книгою. — Адже вона казала, що бажала-б, щоб українофілів зовсім не було...

І Марко згадав, як його вразили ті слова. Чого? Хиба йому не однаково? А ну лиш читати!

— А! ось і він, той звияжець, той руйновник чужої землі: Сціпіон. Трупи в його під ногами, пожежа навкруги, огонь знищує те, що не встигли ще сплюндрувати людські руки, знищує сполоскані кров'ю картагенські будинки, а він іде конем по вулицях, і його кінь настоптавши роздавлює голову дитячому трупови, що лежить коло материного, і він того не поміча і іде далі, і не шкода йому тієї зруйнованої слави, того знищеного щастя сотень і тисяч людей. Він тільки й дума про свій Рим та його славу, про славу того велетня-ненажери, що мов той спрут захоплював своїми ногами народи й краї і гнітив їх, знищував без жалю. Але замислився й цей жорстокий звияжець і несамохіть з'явилася у його думка про те, що буде з його Римом потім, і несамохіть промовив він словами з великого Грека:

Буде колись такий день, що загине великая Троя,
Згине Пріям войовник і народ войовничий Пріямів!...

— Згине! — подумав Марко, — згине це страшидло — Рим, і слава його та міць порохом за вітром розпорошить ся. Згине, повинен згинуть, бо не дає жити другим і тільки сам хоче жити. І не ти сам, о Риме!...

Погано спав сю ніч Марко. Йому все звижався то Рим, що „на ся“ розпадається та й завалюється, страшенно грюкочучи; а з під його повстають нові молоді народи і беруть прапор, на котрому написано: „воля та правда“ і йдуть туди, на схід, де засяла перша зірка тієї волі й правди, там, над Вифлеємом, засяла. То йому очі темні й глибокі гордо-суворі вбачалися... І вони мов дивилися на його і дивилися йому аж у саме серце і бачили найтаємніші його таємниці і він тоді шепотів у ві сні:

— Це вона! Картагенка!

А вона все дивилася до його в серце, а роздивившись всьміхалася так зло, так іронічно і казала:

— Я бажала-б, щоб зовсім не було...

І тоді все плуталося йому в голові, образи мішма йшли — і знову Рим, Картаген, полум'я та руїни і знов з межі цього хаосу очі, темні, горді очі...

Він тільки перед світом заснув важко, стомлений за довгу безсонну ніч.

III.

— Невже всі отак дивлять ся на народ, — всі ті інтелігенти, що живуть на селі? — думав Марко, згадуючи через кілька день розмову з панами. — Або: неville справді народ такий зопсований? Я не хочу тому няти віри! Я вірю, що до цих панів народ справді ворожий, а не до інтелігенції. Сьому істніють історичні причини: народ у цих панах бачить тих панів, що ще недавно сікли їх не жалуючи, — зрозуміло, що мужик з паном могли не поладнати. Але проміж народом та інтелігенцією нема нічого, і аби ся інтелігенція була національною, — народ піде за нею, народ злучить ся з нею на спільну роботу просьвіти та відродження рідного краю... — Але все-ж я мало знаю народ. Моя спроба забалакати з їм не довела ні до чого: зо мною не хотіли балакати. Чому? Адже я не пан і ніяких справ з мужиками не маю. Запевне тим, що свій погляд на панів народ переносить і на всю інтелігенцію. Але не непорушна-ж се перешкода, і як-би довше жити на селі та проняти ся сільським духом, то народ може й забалакав-би зо мною. Шкода, що се неможливо міні. Хоч-би од інтелігенції дізнаватись що про народ, але-ж та „інтелігенція“, що я досі бачив, тільки лаєть ся. А іншої нема. Стривай: є ще тут учитель! Він близько стоїть до народу і мусить його знати — треба з їм зазнайомити ся.

Тільки прийшла неділя, Марко, після чаю вранці, роспитавшись, де школа, пішов туди. Він пішов тією-ж вулицею, що йшов нею й перш, поминув знайомий йому шинк, біля котрого тепер не було громади, але декільки людей таки гостювало на піддашші; тоді завернув ліворуч у другу, головну сільську вулицю і зараз-же побачив на їй, проміждо простими мужичими хатками під соломяною покрівлею, будиночок під зеленим залізним дахом. З того боку, котрим виходив будиночок на вулицю, були зроблені двері з рундучком. Над дверима на чорній дошці білими нековирними літерами було написано: „Бакалена торговль С. А. Цупченка“. На рундучку стояв чоловік на зріст невисокий, але оградний, в штанах на випуск, в жилетці та в жакетці; на животі метлявсь товстий ланцюжок од годинника. Сите виголене обличчя з підстриженими вусами було червоне, очи злі: він сердив ся. Перед рундучком стояв, у поганенькій полатаній сорочці, скинувши шапку та

покірно схиливши голову, якийсь чоловік і слухав, що казатиме сердитий добродій у жакетці. А той, задерши голову назад та виставивши праву ногу наперед, велично стояв перед їм і казав сердито, навіть кричучи :

— Для п'яниць, для обманщиків у мене нєту помилюванія! Ти обов'язавсь приставити у таке то число гроші і пристав, хоч здохни, а пристав!

— Семене Олексієвичу, та хіба-ж я п'яниця? або хіба я коли вас обманював? Підждіть хоч з місяць, поки зароблю!

— Мовчать! Усе ви п'яниці та мошенники. Ви не чувстуйте благодєянїя, которе вам дїлають.

І Семен Олексієвич стромляв пальцем на мужика і спльовував з пересердя.

— Та, Семене Олексієвичу, — ви-ж знаєте, скільки я позичав у вас грошей: усього п'ять рублів, а тепер уже проценту набігло п'ятнадцять. Як-би п'ять, то я й зараз віддавав би вам.

- - Вон! Пристав усе, а то цїнують буду!

Ці слова образили мужика :

— Кого цїнують? Мене? А не дїждеш!

— Што-о-о!? — зарепетував Семен Олексієвич.

— А те, що ти вже забрав мою землю, мої воли, а тепер ще й до хати добираєш ся! Не дїждеш!

— А вот я тїбе покажу, што єсть на вас суд!

— Кат тебе бери з твоїм судом! Є й на тебе суд!

— На мене?! Протів тебе? Протів мужлая, протів мошенника?!!...

— Та й проти мене-ж! Ти думаєш, як ти багатий, так тобі все можна? Ти думаєш, як пів слободи занапастив, землю мошенницьким способом видурив, так тобі все можна? Не дїждеш ти, глитаю проклятий!

Мужик енергїчно махнув рукою, плюнув і пішов геть.

— Ах ти-ж!... — і Семен Олексієвич мав сказати щось дуже погане, але в цю хвилину побачив другого чоловіка, що підходив до його. — Чого ти? — мов чвиркнув, спитавсь він.

Чоловік скинув шапку і вклонив ся:

— До вашої милости, Семене Олексієвичу!

— За каким дєлом? говори!

— Не погнївайтесь, Семене Олексієвичу!... Така біда!

така біда!... За викуп досі не заплатив — правлять! Дайте шість рублів!

— Ба! як нужно мене, то „до вашої милости, Семене Олексієвичу“, — перекривив крамар чоловіка, — а як получе дінги, так годі вже чортом смотреть. Усе ви такі!

Чоловік мовчав, понуривши голову.

— Вам оказуєш благодєяніє, од голодної смерти вас, пняниць, спасаєш, а од вас нікаторої благодарности!

— Це звісно, за це спасибі вам, Семене Олексієвичу, що ви нас, дурних, не забуваєте! — казав ласкавим голосом чоловік, втупивши очі в землю.

Семен Олексієвич трохи подобрійшав од тих слів. Він почав балакати ласкавійше:

— Ви, мужики, не панімаєте нікаторого благородства! Вам добро ділаєть образований чєлавєк, а ви йому зло.

— Се тошно, — одмовив чоловік, — ми, звісно, люде темні, не знаємо, как і што, — не так, як образовані люде, — як ви, Семене Олексієвичу.

Семен Олексієвич усьміхнувсь на ті слова:

— А єжелі необразовані і не панімаєте, то довжні образованого чєлавєка слухать ся. По тому — образований чєлавєк повсегда зна, как і што.

Тєпер Семен Олексієвич став уже зовсім ласкавий. Він гравсь ланцюжком од свого годинника, а сам казав далі:

— Повсегда зна і повсегда вас, мужланов, научить можеть. А главное научєніє: ви довжні благодарить покорно, єжелі вам благодіянїє ділають...

— Та хїба я... Та я для вас, Семене Олексієвичу, — повсегда благодарим покорно і послухать ся радий, — казав далі чоловік. — Аби ваша милость хоч рублів шість...

Семен Олексієвич побачив Марка, що стояв неподалеці і дививсь на все це, і відразу увірвав розмову.

— Ступай у лавку! — промовив він до чоловіка. — Дам!

І він зник у крамницї, а за їм чоловік. Марко пішов далі вулицєю, в кінци котрої була школа. Школа була в невеличкій неохайній необмазаній будівлі, що стояла на тому-ж дворі, де й волость. Марко стрів у дворі сторожа і спитавсь:

— Дома ваш учитель?

— Дома! дома! пожалуйте, ваше благородіє! — заметушив ся сторож, думаючи мабуть, що се якєсь начальство

прибуло. Він увів Марка в сіни і одчинив перед їм двері про-сто у класу: — Пожалуйте!

— Та міні вчителя треба! — промовив Марко.

— А ось вони зараз прийдуть! — відмовив дідок та й побіг швиденько через сіни на другу половину будинку.

Марко zostавсь сам у класі і почав розглядати її. Не-фарбовані, погано поробляні парти, всі порізані та пописані школярськими руками; декільки заялзених малюнків з сюже-тами з сьв. Письма на стінах; шафа — от і вся школа; хата була невеличка, низька. Марко хотів був ще роздивляти ся, але ту-ж мить відчинили ся двері, і невеличкий на зріст, а ма-ленькою борідкою, з блідим обличчям, вчитель увійшов у кля-су, застібаючи стареньку піджачину.

— З ким маю честь?...

Марко порекомендував себе.

— Дуже радий! дуже радий! — промовив учитель, сти-скаючи Маркову руку, — прошу до моєї хати.

Знову перейшли сіни і увійшли у вчителеву хату. Се-була кімнатка, переділена на двоє параваном старим та обі-драним. В хатині було вбого, меблів мало, та й ті старі, але чисто. У кутку коло столу висіла поличка, а на її декільки книжок.

— Так оце ви, городяне, схотіли на нас, селян, поди-вись ся? — забалакав учитель, посадовивши гостя та й сам сівши. — Але-ж тільки цікавого нічого не знайдете.

— Чому? — спитавсь Марко. — Навпаки: ми, горо-дяне, дуже цікавимо ся вами, селянами, — се-б-то: народом і тими, хто близько біля його стоїть та з їм звязки має.

— Так... — промовив учитель якось несміливо.

— Ми, городяне, зовсім не знаємо народу, а знати його треба. Бо тоді тільки, як інтелігенція знатиме народ, тоді тільки вона може балакати про з'єднання з їм, про народню просвіту, нормально постановлену...

Марко зупинивсь, дожидаючи, чи не скаже чого вчитель. Але той мовчав.

— Міні здаєть ся, — почав він тоді знову, — що на-родні вчителі, яко люде, що живуть серед самого народу, ба-гато можуть пособити в справі з'єднання інтелігенції з наро-дом. Народній вчитель знає народ...

— Еге, се правда, що нам, вчителям, таки доводять ся

його взнати, — промовив учитель. — Але-ж я думаю, що дуже багато треба часу, щоб просьвіта прищепилась народови. Народ дивить ся на школу мало-мало, як не на ворога свого. Бачили ви, яка школа з окола? Гарчав усю весну, щоб помазали, так староста каже: „Я про те й думати забув“. А в зимку? Насидиш ся і без дров, і без усього! А неприємностей усяких з цим народом з powodu сієї школи — купа! Ні, як-би вони любили просьвіту, то любили-б і школу, а то вони її не люблять.

— Але-ж, — перепинив Марко, — вони посилають своїх дітей вчити ся.

— Чому не посилати, коли є школа? Але як-би земство школи не завело, то ви думаєте, що вони самі це зробили-б?

— Думаю. Я маю історичній приклад: ще як на Україні не було ніякого земства, ще за козаської старовини — усюди тоді повставали школи приватною ініціативою.

— Може... — одмовив учитель. — Я того не знаю, як у старовину було. Я кажу про те, як тепер. А тепер ні до школи, ні до вчителя ніякої шани. Ви кажете, що посилають дітей вчити ся; але-ж ви забуваєте, що вони не дають хлопцеві виходити у школу усю зиму, як треба, а раз-по-раз одривають його на свої роботи.

— Але що-ж ви зробите, коли економічні обставини їх такі?

— А!... Як-би вони знали, яково багато коштує вчителеві отой екзамен! Тільки-ж те й робиш, що бьєш ся, як риба об лід, щоб хоч так-сяк обтесати хлопців, щоб вони на екзамені не стовпцями стояли. А ви знаєте, що як мало школярів здає екзамен, — то се вже нашому братчикови хоч шукай іншої посади. А тепер ще до того такі часи повели ся, що на науку мало начальство зверта уваги, а здебільшого на те, щоб вимуштровані були, щоб по салдатському швидко одмовляли та начальників знали.

— Як то: начальників? — спитавсь Марко.

— Та є в нас гака табличка, що ми вчимо. В їй... Та ось вона — саме тут і нагодила ся!

І він подав Маркови аркуш друкованого паперу. На йому списано було всіх, хто так чи інакше був начальником школи: міністер нар. просьвіти, куратор, архієрей, генерал-губернатор, губернатор, директор, інспектор і таке інше — кожне з повним титулом, з повним імям та з прізвищем.

— Оце вчимо! Ви не думайте, що це так собі, дрібничка! Як-би ви побачили, як важко дітям оце вчити — аж шкода іноді їх стане. Ніяких тих титулів та рангів вони не знають, не розуміють і плутають страшенно. Вчимо тиждень, другий, а спитаєш ся, — воно тобі й каже: Єго високопревосходительство дѣйствительный статскій преосвященный, господинъ директоръ народныхъ просвѣщеній Иванъ Сидоровичъ Сидоровъ. А він до того ще й не Сидоров навіть, а Трьопкін.

І Марко і вчитель засміялись.

— Хто-ж оце вам присила такі листи? Земство?

— Де вам! — махнув рукою вчитель. Земству тепер не видно до шкіл встрявати — воно тільки гроші дає. Се все діреція та інспекція. — Отакими історіями, як що вивчимо, то й виходимо на екзамені і начальство нас хвалить. А не знаємо, то й на виступці попросить. Начальників, — скаже, — у вас не знають, не привчаєте поважать старших, — вольнодумність!...

Хтось затупотів у сінях, узявсь за двері, — вони одчинили ся.

— Мир дому сьому! — почувсь товстий бас, і на порозі виявилась висока кременна постать у попівській рясі. Се був тутешній піп, що вчив і закону божого в школі. Він поздоровкався з учителем та з Марком, з котрим уже стрівався у панів Городинських, і сів до гурту. Піп був не старий і на перший погляд подобавсь. Його нечепурне обличчя з поганенькою бородою здавало ся Маркови добрим.

— Про що так палко балакаєте? — спитавсь піп.

— А от — про школи! — одмовив учитель. — Дивують ся вони (він показав на Марка) нашим екзаменам.

— А що тут дивного? — згукнув піп. — Як члени велють, так і робиш! Хиба справді про тую програму дбаєш? Аніже! — аби догодити якими витребеньками членови.

— Добре-ж, як знаєш, який член буде, що більше полюбля!... — промовив сумно вчитель.

— Як-би то що-разу знати! — додав піп. — Та нічого: якось вилазимо. А по других школах бува так, що й не вилазять.

— Хиба бува? — спитавсь Марко.

— А вже-ж! У нас ще вчитель гарний, а ви-б подивились на інших вчителів.

— А що хіба?

— Та що! Он Крисянський вчитель виліз серед школьного двору на куфу, постановив круг себе школярів і скрипку взяв. Сам грає і на куфі танцює, і школярі за їм танцюють.

— Нема нічого дивного, — оступивсь учитель. — Сидить чоловік сам самотній на слободі — очортіє, ну й почне дуріти, — добре ще, як що не п'є.

— А оце ще як? — знову сказав піп. — Один учитель тут поблизу... Так йому очортіло все одно та одно вчити, що він почав своє вигадувати, та й ну мучити школярів усякими такими питаннями, що на їх ніхто не може одмовити. Наприклад з арифметики: а скільки, — питаєть ся, — бубликів містить ся у нашій землі?

Усі засьміяли ся, а Марко спитав ся:

— Та певне-ж таки можна так одуріти? Адже кругом люде! Читав-би!

— Не все-ж за книжкою! — одмовив піп.

— Та хоч-би й схотів, то книжок у нас нема, — додав учитель. — Хіба „Ниву“ та „Епархіальныя вѣдомости“ пре-нумерує батюшка. Так „Нива“-ж самої не начитаєш ся, а „Епархіальныхъ“ і сам батюшка не чита.

— А люде — де вони? — забалакав знову піп. — Не піде-ж учитель в гостину до мужика, а де-ж тут ще? Он пани Городинські, — такі ті дуже пишні. Там пані така, що як гляне!... Вибачайте! — схаменувсь піп, — а я й забув, що ви в їх живете!

— Нічого, — осьміхнувсь Марко, — я не скажу їм.

— Глядіть! — Ото-ж, — кажу, — тільки Семен Олексієвич і zostав ся, тільки до його й можна піти.

— А хто-ж-то — Семен Олексієвич? — спитавсь Марко.

— Та крамничку тут держить чоловік — Цупченко. Він таки з наших селян, — ну, росторгувавсь, поскупував наділи у мужиків, — от і живе добре.

— Я випадком сьогодні бачив його, — сказав Марко, — і чув, як він балакав з людьми і зрозумів з його розмови, що він глитає.

— Ет! з нашими мужиками інакше не можна. За те він

хоч невчений, а розуміє, як треба з освіченими людьми. А то всі мужицтво та й годі! — сказав піп.

— Що-ж се ви — духовний пастир — так свою паству понижаєте? — спитавсь Марко.

— Зовсім не понижаю, — одмовив піп, — а як доброго нічого не має, то й не скажеш нічого доброго про їх. Нашим мужикам одно — аби шинк! Як налигаєть ся горілки, так тоді він пан, а шинкар йому рідний батько. Тоді він іде проз батюшку — шапки не скине.

— Але-ж він п'яний!

— А тверезі вони які? І тверезі такі-ж! Ви думаєте, вони поважають вчителя, батюшку? Саме воно! З голоду здохнеш серед їх!

Марко згадав, як він чув у Городинських, що на цього батюшку навіть жаліли ся мужики, що він страшенно побільшує що року плату за відправи.

— А ви кажете — до їх у гостину йти! — казав далі піп. — Та вони гуртом усі мошенники або п'яниці! Хиба-хиба який чоловік іноді з їх вийметь ся, що не такий. Зробили їм школу! Але-ж чи поважають вони школьну науку?

— Я сам кілька разів чув, — сказав учитель, як батьки казали: на що нам ті витребеньки, що в школі вчать?... Нам аби навчивсь молить ся та трохи читати та писати.

— І міні здаєть ся, — промовив Марко, — що вони не помиляють ся. З того, що я сам знав перш про школу, з того, що я отут од вас почув, — я зрозумів, що школа не вдовольняє народнім бажанням. Вчать у школі такого, що його народови не треба. І потім — се найголовніше — школа повинна бути своєю, рідною, а вона нам чужа.

— Як то — чужа? — здивувались і піп, і вчитель.

— Ми живемо на Україні, — сказав Марко, — вчимо український народ, то й школа повинна бути українською. Треба, щоб з неї не вигонено рідної мови, щоб в її учено по українському.

— Цього не можна, — промовив учитель.

— Се-б-то: заборонено, — сказав Марко. — А я про те саме й кажу, що ся заборона — се кривда нашого народу. І міні здаєть ся, що всякий гарний учитель повинен обстати за мене уже просто з погляду педагогічного, бо вчитель добре мусить знати, як вчити дітей незнаймою мовою.

— Та це то правда, — одмовив учитель, — що діти зовсім не розуміють російської мови. Іноді, знаєте, кумедні історії бувають! Оце читаєш з їми книжку, питаєш ся, що те або те слово значить, — так таке часом одмовлять!... Я іноді записую, смію раду.

Вчитель витяг з кишені книжечку і почав читати:

— Ось: м е л ь¹⁾ — міль, щó мелють, мідь, ложечки срібні роблять; ê ж ь²⁾ — як хто їсть; кач е л ь³⁾ — як хто ткачує; а и с т ь⁴⁾ — як хто їсть, то й а їст; ш о р о х⁵⁾ — шахта; ж и л и щ е⁶⁾ — залізо; с о т ь⁷⁾ — ними орють; Л и з а⁸⁾ — як чешуть, то волосся лізе; б о б⁹⁾ — Бог; те, що рибу загаяють; собака, птиця; м о р к о в ь¹⁰⁾ — мясо жарене; з а в и с т ь¹¹⁾ — чоловіка так звуть....

— Ха-ха-ха! — зареготав ся піп, — от дурні!

— Нічого тут дивного нема, — сказав йому Марко. — Знов кажу: мова се хлопцеві чужа, невідома, — от він і каже або догадуєчись по однозгучности з яким своїм словом, або просто верзучи те, що в голову влізе.

— Ну так що-ж справді: по-мужичому, чи що, будемо вчити? — спитавсь піп. — Та й самі мужики цього не хотять.

— Найсамперед — одмовив Марко, — українська мова така-ж, як і всяка інша мова, і має таке саме право на місце в книзі, в школі, в церкві, в суді, як і всяка інша.

— Чому-ж се так?

— Тому, що се мова двадцятимільйонного українського народу, котрий має свою землю і свою історію і бажає жити і розвиватись по своєму. Се раз! А друге: З чого ви бачите, що мужики не хотять вчити ся по українському?

— А з того, що вони проміж себе балакають по своєму, а як з яким освіченим чоловіком стрінуть ся, то вже й закидають по російському. Вони самі не вважають тієї розмови, котрою балакають, за мову. Вони бачуть, що освічені люде балакають по російському, і тільки ту мову і вважають справді за мову і самі силкують ся нею балакати.

— Вони так і звуть, — додав учитель, — свою мову х о х л а ц ь к о ю, м у ж и ц ь к о ю, а російську — п а н с ь к о ю.

¹⁾ мілке місце, ²⁾ їжак, ³⁾ колиска, ⁴⁾ лелена, ⁵⁾ шелест, ⁶⁾ оселя, ⁷⁾ стільники, ⁸⁾ імя, ⁹⁾ біб, ¹⁰⁾ морква, ¹¹⁾ задрість.

— Що так вони звать, я сам чув, — одмовив Марко, — що мужики, адебільшого молодіж, з людьми, одягненими у сурдут, лама язика — се те-ж я знаю. Але у всякому разі я певний, що вони не цурають ся своєї мови, як ви кажете.

— Не цурають ся! — згукнув піп. — А чого-ж зтого всі школярі, що поздавали у школі екзамен, ідуть на другу роботу — писарську або крамарську, звичайно — і зараз-же кидають по своєму балакать та одягать ся.

— Того, що в нас школа така, що псує тих, хто в їй вчить ся. — одмовив Марко. — Та нарешті я вам скажу ось що! — і, не думавчи зовсім впевняти попа, а маючи на увазі вчителя, щó, зтого не балакаючи, дуже пильно слухав, Марко висловив теорію українського націоналізму і додав після довгої розмови:

— Як-би там не дивили ся на сю справу інтелігентні, чи мужицькі перевертні, але справжня українська інтелігенція, котра вже має самосьвідомі пересвідчення, бажає зостати ся на своєму національному ґрунті, бореть ся за се і — я певний -- здобуде свого!

— Гарно дуже буде! — сердито одказав піп. — І так з наших шкіл земських виходять безбожники, а тоді вже!...

— Та ви-ж у земській школі вчите релігії! — сказав Марко.

— Я! та хйба я маю стільки часу, щоб навчити! А от, як-би школа була церковно-парафіяльна, то тоді-б примусив учити по своїй програмі.

— У батюшки тільки й думки, щоб усі земські школи церковними поробити. Хочеть ся старшинувать над учителем! — засьміявсь учитель.

— І у вашій програмі тільки й були-б граматка та псалтир, — сказав Марко попови.

— І нічого більше й не треба мужикови, а то дуже вже розумний стає! — одмовив піп. — От-би добре було, як-би Лирський завів церковну школу!

— А хто се — Лирський? — спитавсь Марко.

— Та се один пан — живе поблизу. Так школу намагасть ся зробити. Хйба ви його ще не знаєте?

— Ні!

— То побачите — він іноді буває в Городинських... Тільки вже через лад який до мужиків.

— А вам хочеть ся, щоб був такий, як Голубов? — спитавсь учитель.

— А Голубов хіба який? — попитавсь Марко.

— О! се молодець! — одмовив піп. — Він мужиків має в руках добре! Вони в його всі в тенетах та ніколи й не виплутають ся!

— Ну, сей уже через лад обдира. Дере з живого й з мертвого! — сказав учитель.

Маркови вже треба було йти. Він запрохав до себе вчителя та батюшку і пішов до дому. Як він вийшов, батюшка сказав:

— Що воно за чоловік?

— А хто його зна... — одмовив учитель.

— Чудний! Такі думки... Бач, по мужицькому вчити! А за се і в рештарню! Там не дуже то вчитимеш!

Вчитель сидів замислений і нічого не одмовляв.

А Марко тимчасом ішов до дому та думав:

— Де-ж тут жива душа? Може той Лирський? Хоч-би побачити його!...

Марко не пішов слободою, а звернув на бік і пройшов аж під скелю. Слобода стояла у величезній степовій балці, по котрій протікала маненька степова річечка, виляючи то туди, то сюди. Один бік тієї балки був положистий, а другий зривав ся високою, у кільканадцять сажень, кручою. Нижня половина величезної скелі, припавши землею, поросла чагарями та невеликими деревами, але верхня знімалась високо та стрімко і, то руділа, то сіріла своїм величезним камінням. Унизу, аж над самісінькою річкою, поросли більші дерева, а поміж їх вила ся в холодку стежка; вона доводила аж до містка, що зроблено було через річку у панський сад. Марко пішов тією стежкою попід скелею, але не пішов у панський сад, а звернув до криниці.

Криниця була з під скелі, з під каміння. Тут нижня частина скелі не закривалась землею та зелом. Здавало ся, неначе якась величезна сила оце тільки зараз виперла з середини з землі страшенну камяну велич і поставила її навіть не рівною стіною, а так, що верхня частина вистромлювала ся наперед і нависала. Каміння, товсте й тонке, лежало шарами, мов-би його складала людська рука; шари ті лежали косо проти землі: вганяючись у скелю, вони йшли вниз і, здавало

ся, доходили аж до осередку землі. В одному місці скеля з гори аж до низу розколола ся і за тією розколюватиною позёмні шари з каміння ставали затого сторчовими. І все те важко й грізно нависало над землею, і здавало ся, що ось-ось воно грюконе все до долу і роздавить того необачного, що насьмілить ся тут бути; а воно нависало тут сторочча...

Ото-ж з під того величезного каміння десь узяла ся вода та й витікала чистою, погожою та холодною течією. Хтось змурував з каміння цямриння над тією криничкою, ще й накрив її зверху плескатими камінюками. Над криничкою вистромила ся з скелі одна камінюка; хтось поставив на тій каміннюці образ. Образ був давній і тепер на йому не було й знати малювання, а до того ще він розколов ся і друга половина десь поділа ся; але Марко знав, що не вважаючи на се, що року на зелені святки дівчата приходять вранці сюди квітчати сей образ і скелю над криничкою і тоді вже йдуть до церкви.

Марко любив тут сидіти. Од усього цього місця віяло дикою, могутною красою. Трохи одступивши од скелі, починав ся гайок і верховіття найвищих дерев було далеко нижче од скелі. Марко любив іноді здирати ся з боку на скелю і сидіти там довго, дивлячи ся, як над їм сяє ясне блакитне небо, а під ногами хвилюєть ся зелене верховіття дерев. Але тепер він не пішов туди, а зостав ся сидіти тут, коло криниці. З одного боку в його була кам'яна стіна, з другого — зелена стіна з дерев. Сіре, важке, непорушне каміння та зелений тремтячий та хисткий лист. Емблема довічності та незмінності з емблемою дочасності та мінливості.

Марко сидів і думав замислений довго, як зненацька почув коло себе ходу. Він озирнувся і стрів ся з Катериною.

— А! й ви любите скелю! — промовила вона, трохи почервонівши з несподіванки.

— Люблю, навіть дуже, — одмовив Марко.

— Як-би скелі тут не було, то наша Радьківка ні на що не здатна була-б, — сказала дівчина. — Я часто сиджу тут, роблю що.

— То оце я тепер вам на перешкодї стаю? — спитавсь Марко, лагодячись іти.

— Анї трохи! — одмовила дівчина. — Я завсїгди тут сиділа і сидітиму ще часто, а ви поїдете і не бачитимете біль-

ше скелі. То-ж я вам повинна була-б поступитись, а не ви міні. Але-ж, здасть ся, ми зможемо погодити ся і не вигнути один одного: місця багато.

Вона сіла на каміння і положила на коліна до себе ту книжку, що принесла була читати. Марко стояв трохи оддалік, спершись на скелю.

Зазевне, як-би пані Городинська почула і побачила це, то вона дуже злякалась-би — не якої небезпечности, а того, що її дочка може так поводити ся з паничем, на самоті балакати з ім. З погляду пані Городинської се було злочинство, але Маркови дуже подобалось, що Катерина, перенявши багато дечого од матері, не переняла цього і так саме просто й сміливо поводила ся з паничами, як і з паннами.

Деяку хвилину обоє мовчали. Нарешті Катерина забалакала:

— Це місце навива багато думок...

— Еге, — згодив ся Марко. — От наприклад недавнечко я рівняв оцю скелю до оцього листу...

— І?

— І міні здавало ся, що сіре непорушне каміння — то емблема довичности, незмінности; а се зелене, хистке, тремтяче листя — емблема дочасности та мінливости.

Дівчина глянула на скелю, глянула на листя й сказала:

— Я з цим згожуюсь... А ось іще я вам що скажу: я часто тут читаю і зауважила, що не кожну книжку могу я під цією скелею читати.

— Чому?

— Я могу читати тільки ті книжки, що вплив їх на мене гармонізує з впливом на мене сієї дикої краси, а інші — ні. Я колись читала тут „Страшну пімсту“ Гоголеву — ота гармонізує. А „Мертвих душ“ я не могла-б тут читати.

— Ви любите Гоголя?

— Чому ні? Я всю російську літературу люблю, опріч нових.

— А які у вас нові?

— А ті, де мужик описуєть ся — нічого цікавого нема.

— А скажіть, будьте ласкаві, ви читали Некрасова?

— Не подобаєть ся міні.

— А Дікенса читали?

— Дещо... не згадаю навіть — щось дрібненьке...

— Ось я радив-би вам прочитати з його хоч дещо.

— А хіба цікавий?

— Дікенс — славетний письменець — се одно; а друге — в йому ви знайдете багато цікавого та нового. Прочитайте спершу його „Давида Копперфілда“, а тоді „Новорічні дзвони“.

— Добре! прочитаю. Завтра брат іде на день до міста, — я приручу йому здобути те, що ви кажете.

— Залевне ви добре читаєте по французькому?

Катерина кивнула головою.

— Прочитайте Віктора Гіґо.

— Ми в гімназії вчили якись вірші з Віктора Гіґо — вони міні не сподобались.

— А ви прочитайте „Les misérables“, „Дев'яносто третій рік“, „Останні дні присудженого до смерти“, „Кльод Ге“, „Історію одного злочинства“, „Les chatiments“, — тоді може він вам і сподобаєть ся.

— Добре, послухаюсь! і це приручу братови, — сказала Катерина і потім осміхаючись додала: — Але що-ж се ви радите міні читати Англичан та Французів і не радите свого Шевченка?

— Шевченка я не раджу тим, що думаю, що ви й самі колись його прочитаєте, — одказав поважно Марко. — А він і не мій тільки, а так саме й ваш, — тільки ви цураєтесь його.

— Не знаю, чи прочитаю я коли Шевченка... Мабуть ні! — сказала Катерина, глянувши на Марка весело своїми темними блискучими очима. — Бо мужицькою мовою не може бути літератури.

Марка мов хто вилаяв, як він почув ті слова. Катерина помітила невдоволення на його обличчю.

— Вибачайте! — промовила вона і покійно, і лукаво, — я не хотіла сказати поганого ні про віщо гарне вам. Ой, Боже мій! а що-ж це?

Марко та Катерина так забалакались, що й не помітили, як насунула хмара. Уже перші важкі краплі дощу впали до долу. Одна з їх потрапила Катерині на руку і примусила дівчину скрикнути. Обоє глянули на небо. Там чорна хмара залягла усе, що було видно їм з-за скелі та з-за лісу.

— Треба до дому бігти! — промовила Катерина.

Але ту-ж мить дощ зашумів згори і заляпав по листю

по камінню. Бігти до дому, до котрого було далеченько, було неможливо.

— Сюди! сюди! — скрикнула Катерина і побігла під величезну камінюку, що, висунувши ся з скелі, повисла над землею. Під нею було сухо. Дівчина прибігла і стала там.

— Ходіть-же сюди!

— Там мало місця на двох, — одмовив сьміючись Марко, — я й тут перебуду.

— Вигадки! Як-би мене не було, то ви самі тут стали-б. Я зовсім не хочу, щоб ви через мене мокли. Ідіть, а то я сама зараз вийду на дощ!

Марко мусів послухати ся і пішов під камінюку. Там було тісненько: вони з Катериною черкались одно об одного плечем. А дощ відразу счинивсь такий, як з відра. Через пять хвилин вода почала стікати з скелі згори вниз. Спершу вона текла нарівними струмками, але де-далі тих струмків усе більшало та більшало, поки нарешті всі вони не злучили ся в одну водяну завісу, що швидким водоспадом зливалася з скелі. Через те, що верхня частина скелі висувалась наперед, то й водоспад падав так, що Катерина та Марко стояли між водяною завісою та скекою; вода спадала за півтора ступня од їх, обризкувала їх іноді, але не сягала до їх.

— Оце так! — скрикнула дівчина. — Яка я рада!

— Чого?

— Та ви-ж подивіть ся, як се гарно! Я ніколи не була тут у дощ.

Грюкнув страшений грім, аж скеля затрусилась.

— Ой! а нас скеля не задавить? — трохи алякавшись, спитала ся дівчина.

— Не бійтесь — грім її не завалить.

На скелі води ще побільшало і нова течія пробилася саме там, де стояла Катерина. Вона мусіла поступити ся так, що зовсім притулила ся до Марка. Згори линув цілий водоспад, далеко в хмарах грюкотів грім, а Марко чув біля себе тепле Катеринине дихання, до його торкала ся її зручна, чепурна, повна життя постать. Тая близькість електризувала хлопця. Він глянув дівчині просто в обличчя, хотів зазирнути в вічі, але її очи були спущені до долу, голова похилена. Маркови стало сором за його бажання і йому відразу зробило ся нія-

ково. Йому здалося, що він образив цим її, Катерину. І йому зробилося гірко, що він се зробив тій, котра була йому... така...

— Дощ перестав, — сказала Катерина.

Справді, вода з скелі лилася вже тільки стружками; але се зливалася остання вода, бо дощу вже не було: він так саме швидко перестав, як і почався.

— До дому! треба до дому! — промовила якась нервово дівчина і, не вважаючи на холодний струмок води, вибігла з під каміння. Марко тихо пішов за нею. Але вона пішла швидко, швидко...

Марко вийшов з під скелі, з гайка. Ясне сяюче сонце глянуло з-за хмари; заблищало, мов поліроване, листя, зайнялися всякими колірами росяні краплі. Маркови не хотіло ся йти в душну хату, але не хотіло ся вертати ся й до суворої похмурої скелі. Він повернув на стежку, що збігала вгору, і зліз, увесь умазавшись у грязюку, на скелю. Над їм сяло чисте, спокійне небо; під ним шелестів зелений гай, радісно тремтючи блискучим листям. Декільки пташок висвистювало в йому. Марко бачив се не один раз і міг до цього звикнути. Але сьогодні все це здалося йому таким гарним, як ще ніколи досі. Йому здавалося, що сонце і небо, похмура скеля і ліс ряснолистий зелений, і сі голоси, ще несміливі якось, пташок невеличких — усе це, здавалось, пройнялось одним чимсь, одним — чим саме — не знав іще Марко. Але він знав, що воно є, він чув його в кожному згукови, бачив у кожному проміні, в кожному порухови тієї природи, що обнімала його звідусіль своїми могутними обіймами, і те, що він чув і бачив, робило його щасливим, піднімало йому душу вгору. І йому хотіло ся співати, але він не зміг зробити цього, бо зараз же почув, що згук його голосу не матиме сили гармонізувати з тією піснею, що співало це небо і ця земля і що чув він у своїх грудях. І він не заспівав, а стояв мовчки, стояв і дождався...

І відразу він зрозумів. І сонце, і небо, і скеля похмура, і ліс ряснолистий зелений укупі з пташками малими — усе це співало одно: він кохає!

Кохає! кохає! кохає!

Він почував се одно і більш нічого...

IV.

Лігши Катерина того вечора спати, багато дечого передумала. Вона почувала в собі щось нове, невідоме, і те нове примушувало її думати, турбувало.

Досі вона жила впокійно, без турбот, аж змалечку. Все робило її щасливою та веселою. Багаті батько та мати нічого не жаліли дочці-єдиначці: що забажа, те й мусить бути. Сукні, намиста, серги та інші прибори, книжки, цяцьки — все те сипалося на неї повними жменями, аби тільки її вдовольнити. До цього матеріяльного вдовольнення додавалося й моральне. Ще була вона малою дівчиною, а вже всі казали:

— Яка вродниця!

І вона згожувалася з цим і була щаслива та весела.

Вона ніколи не вередувала. Вона прохала багато, але завсігди такого, що могли його батько з матір'ю дати їй. І всі казали:

— Яка слухняна та звичайна дівчина!

І вона згожувалася з цим і знов була щаслива та весела.

Вона мала цікавий і гострий розум, котрий ще змалечку часто виявляла в розмовах і з дітьми, й з великими, і примушувала казати:

— Яка розумниця!

І вона й з цим згожувалась так саме, як іще багато де з чим гарним, що казано його про неї, і була весела та щаслива.

Вона була весела та щаслива тим, що певна була, що вона дуже гарна дівчина: і чепурна, і слухняна, і розумна, і інша там ще яка. Вона ні трохи не вагалась думати, що вона така. Та річ, що батько та мати вдовольняли всі її бажання, тільки все дужче впевняла її в цьому.

— Справді я гарна, коли батько та мати так упадають коло мене!

Вона не думала цього в такій виразній формі, але свідомість такої думки жила в її малій голові. І вона виростала горда собою, незвикла до ніякої залежності, смілива і тим завсігди правдива та незакритна. Перша турбота, перше горе, котре зуснило вона, було їй зовсім несподіваною річю. Се було так.

Одного разу вона бігала та бавилась по саду і залігла

аж у самісіньку гушавину. Гушавина ся тягла ся аж до муру, котрим обгорожено було сад. Катерина продерла ся туди і стала коло сірого кам'яного тину. Вона була ще мала, і тин був од неї вищий: вона нічого не могла бачити, що робить ся за їм. Вона силкувалась злізти на його, але не могла нічого поробити і вже думала йти назад, як зненацька почувла, що хтось сьпіва. Слів Катерина не могла розібрати; хоч як прислухалась, а почувла тільки одно:

„Ой матусю моя, ой ріднесенька!...“

Цей вираз часто повторювався у піснї і його тільки й розібрала Катерина. Але голос тієї піснї і голос того, хто сьпівав, дуже її вразили. Сьпівала дівчина тонким високим голосом, щиро виводючи, де треба; але дівчина була мала, і голосом її давнів не дуже. За те голос у піснї був жалібний, в йому чуть було плач. Катерина не любила, як хто плаче, але в цій піснї чуть було такий жаль, що її зацікавила піснєня і замануло ся подивити ся на сьпівачку. Дівчина почала ходити коло тину, шукаючи де такого місця, щоб можна було злізти. Вона й справді знайшла таке місце, де з тину висунула ся камінюка. Обідравши собі руки та роздерши сукню, вилізла вона на тин і глянула.

Зараз за панським садом починався громадський вигін. На йому пасли ся телята. Дуже близько до тину сиділа дівчинка — років мабуть таких, як і Катерина — десяти. Положивши до неї голову на коліна, спав маленький хлопчик. Дівчина була худа, бліда, у драній одежі, але чепуренька. Сонце ясно сьвітило з неба, і проміння, падаючи їй на голову робило русяве волосся золотим, і се надзвичайно сподобало ся Катеринї.

Дівчина сьпівала, склавши руки на колінах і трохи похитуючись у лад за своєю піснею. Катерина довго дивила ся на неї та слухала, а далі тихо пройшла по тину і стала саме проти дівчинки. Та зараз побачила Катерину і кинула сьпівати. Обидві дівчини почали дивитись одна на одну і обидві мовчали. Але обидві були зацікавлені одна однією і дивились одна на одну не змигаючи. Нарешті сьмилівїйша Катерина забалакала:

— Чом-же ти не сьпіваш?

— Не хочу... — сказала дівчина, а сама все дивить ся на Катерину.

— Се я тобі не дала сьпівати? — спиталась Катерина.

— Ні-ї-ї...

— А відкіля ти?

— А ти відкіля? — спитала ся дівчинка.

— Хіба ти не знаєш, відкіля я? — одказала Катерина. —

Усі знають, відкіля я?

— Мабуть ти з панського дому?

— Еге! А ти?

— А я з слободи.

— Що-ж ти робиш?

— Телят пасу.

— Хто тебе післав?

— Батько.

— А то хто з тобою?

— Брат.

— Тобі-ж тут весело?

— Чому-ні?

— А що-ж ти робиш?

— Телят пасу... Вінок сплела... — І вона взяла коло себе вінок з простих польових квіток і показала його Катерині.

— У тебе весело? — знов спиталась Катерина.

— Чому-ні! — знов так саме одмовила їй дівчина.

— Я до тебе прийду! — сказала панночка.

— Іди!

Катерина злізла з тину, ще раз обідралась і пішла до дівчини, котра її дуже зацікавлювала. Дома вона зросла одинок, тільки з старшим братом, котрого не дуже любила.

— А як тебе звуть? — спиталась Катерина.

— А тебе як? — перепиталась та й досі сидючи.

— Катериною.

— У мене тітка є Катерина, — сказала дівчинка.

— Хто-ж вона така?

— Катерина? Тітка моя! Вона вже дівка і як іде на вулицю, то в неї такі стрічки гарні, як у тебе на платті.

— Та як-же тебе звуть? — нетерпляче спитала ся Катерина.

— Мене — Доскію. Ти будеш зо мною гуляти ся?

— Буду.

І дівчата почали гуляти ся. Посьлідком сього було те, що нянька, кинувшись шукати Катерину, знайшла її, пісьля дов-

гої шуканини, на вигоні, де панночка вкупі з мужичкою за-вертала телят. Нічого їй казати, як злякалась панська нянька з такої несподіванки і як поспішила ся вона повести Катерину до дому. Тій не хотіло ся йти, але вже наближавсь вечір, Докія теж мусила йти. Дівчата розійшли ся, але на прощання Катерина подарувала Докії разок якогось коштовного намиста і попрохала, щоб і та їй що дала. Та зняла з пальця мідяний перстїнь, що виміняла в ганчурника за ганчірку, і віддала його Катерині. Нянька, о скільки змогла, змагала ся проти цього, але Катерина сказала: — Я так хочу! — і цього було досить, щоб воно так і стало ся. Але тільки прийшли до дому, нянька зараз-же сказала про все пані Городинській. Та була до Катерини, але Катерина не то що не узнала себе винною, що втратила коштовне намисто, але навіть зважливо сказала, що вона бажає, щоб Докія була з нею. Хоч як з'учила Катерина всіх вдовольняти її бажання, але з „мужичкою“ мати зводити її не хотіла — і не дозволила. Тоді Катерина зробилась такою, як ще ніколи не була. Вона спершу кричала, плакала увесь вечір. Мати умовляла, але се не пособило. Дивнійш од усього було те, що вона, котру мати виховала панянкою і котра розуміла, що се пани, а то мужики, зовсім не надавала тепер ніякої ваги тому, що Докія — мужичка. Як мати їй казала про те, що паняньці сором подругувати з мужичкою, то вона тільки уперто одмовляла:

— Так що! А я хочу!

Другого дня вранці вона не встала з ліжка і не виїшла до чаю. Няньці, що спитала ся, чого се так, вона одмовила:

— Як що мама не дасть міні Докії, то я нічого не їстиму.

Невідомо, чи дотерпіла-б вона до обід; але діло скінчило ся ранійше. Батько їй мати перелякали ся і мусила обіцяти ся, що зараз-же пошлють по Докію. Катерина скочила з ліжка весела та рада, кинулась цілувати батька та матір, швиденько одягла ся і почала дожидати ся тієї втіхи, в котрій була тепер певна.

Але-ж тут з'явила ся перешкода, що її вона зовсім не сподівала ся. Докіїни батько та мати ніяк не хотіли пустити дочки. Пани давали чималу ціну, наймаючи Докію у панській покої. Але її батько був упертий чоловік, котрий за щось гриз ся з панською окономією. Він затявсь на своєму і не поступивсь, — ще їй намисто, що подарувала Докії панянка, оді-

слав назад. Дізнавшись про це і впевнившись, що цьому правда, Катерина спершу страшенно розсердила ся на Докієного батька, матір, і на саму Докію. Вона з пересердя вкинула в ставок той перстін, що їй дала його Докія.

Але вона не забула цього випадку. Навпаки — він зробив на неї надзвичайно великий вплив. Заспокоївшись після першого пересердя, вона зараз-же зрозуміла одно: є таке, чого вона не може досягти, не вважаючи на те, що вона така гарна, що батько та мати мусять вдовольняти всі її бажання. Вона думала, що се не по правді, уявляла собі тих „мужиків“, що не пустили до неї Докії, надзвичайно злими — навіть обличчя у їх уявляла якісь зьвірячі. Але вкупі з тим вона не могла не почувти якогось надзвичайного здивовання перед цими мужиками, що не слухались ні її, ні батька та матері. Похитнулася віра в те, що вона, Катерина, дуже гарна і через те їй усе можна, і похитнули ті „мужики“. І, сама не помічаючи того, Катерина схилилась перед їми в думці, і золотоволоса дівчинка ніколи не могла їй забути ся, хоча Катерина потім не бачила її і навіть не балакала про неї.

Гімназія, до котрої її віддано, мало одмінила її. Дівчина жила дома в панській обстанові, в гімназію завсїгди їздила, на вбогих подруг дивила ся згорда, подругувала тільки з „аристократками“, як звано в гімназії дуже пановитих гімназіясток. Вчила ся вона добре, бо була горда і не знесла-б, як-би їй хто з учителїв докоряв за погане вчиття, але наука їй була зовсім не цікава. Вона завсїгди знала все, що вимагало ся од неї на екзаменах, але далі не сягала. Поривання до саморозвитку, читання безлічі усяких книжок, вчиття дома самотужки — все це, що вело ся поміж другими гімназіястками, обминуло Катерину, як і других „аристократок“. Мало того: вона, знаючи про се з чужих слів, гордувала тим усім, вважаючи все те за щось зовсім непотрібне для неї, вихованої по панському і котрій сама ся панськість давала вже право на вище місце.

Вона вийшла з гімназії панянкою, панянкою прожила рік дома. Жила вона впокійно, без турбот. Все їй здавало ся так просто і так зрозуміло. Про своє призначіння яко людини, жінки вона ні трохи не думала. Вона знала, що колись піде заміж, що колись життя одмінить ся, але тепер вона не мала

ще ніякого бажання про се думати. За те вона в зимку випивала ся в місті балаями...

Але на при кінци сього року, що вона жила дома, у неї з'явило ся нове бажання: їй схотіло ся читати. Вона почала читати російську та французьку белетристику. Вона прочитала романи Толстого з аристократичного життя і вони їй сподобали ся; прочитала Тургенева, котрий сподобав ся їй не так; потім залюбки читала дошкульні на нерви романи Достоевського. З французької белетристики вона прочитала декільки романів Золя, але вони їй не сподобали ся.

В цей час вона стріла ся з Марком.

Марко відразу зробив на неї чималий вплив. Всі його розмови були зовсім не такі, які їй доводило ся досі чути навкруги: в гімназії од своїх „аристократок“, од батька та матері, од гостей. Досі вона чула розмови тільки про туалетну або про господарство, або про які новини і дуже зрідка про яку книжку. В Маркових-же розмовах вона вперше почувала про ідеал, про принципи моральности. Не можна сказати, щоб і про се вона не чула зовсім досі; але-ж ідеал завсїгди їй уявляв ся як щось таке, про що тільки в книжках пишуть; в розмовній-же щоденній мові тих панночок, проміж котрими їй доводило ся пробувати, слово „ідеал“ зазначало просто молодого, багатого, вродливого генерала, князя, офіцера, чи ще кого, що має прийти і взяти її з батькової господи заміж; що-ж до моральних принципів, то се, як вона собі уявляла, була річ, про котру балакано в казанях з церковної катедри та писано в релігійних книжках, а до справжнього життя ся річ мала дуже мало стосунків, бо в справжньому житті, як то їй змалку торочено, треба поводити ся на підставі правил „порядности“ та „комільфотности“, вироблених у тому панському гурті, серед котрого вона жила. До системи тої порядности та комільфотности увіходили однаково і правила туалети, і правило „не укради“. Про останнє казали, що робити се — гріх; але так саме звали гріхом — їсти скоромне в піст, а вся сімья (опріч тільки матері) їла. І слово гріх не надавало ніякої сили заповіді „не укради“ — так саме, як і іншим деяким моральним заповідям, що до тої-ж системи належали, — а надавало їй силу тільки те, що вона належала до системи порядности та комільфотности. Катерина знала ще, що істиніє зло й добро, але одрзняла вона одно од одного (так що вище

згадана система нічого не казала) просто серцем. Дякуючи тому, що вона мала хоч і горде, але добре серце, вона помиляла ся в таких справах не так часто, як можна було-б думати. Була ще релігія, але... Її мати суворо содержувала всі пости і навіть була забобонна. І на пости, і на забобонність Катерина звикла в гімназії дивити ся або глузуючи або неприхильно і мати не могла навчити її релігії. Батько дививсь на пости та забобони так, як і дочка, і вся його релігійність виявляла ся в тому, що він їздив іноді до церкви та служив часом молебні, як того бажала жінка; що-ж до брата, то хоча він у своїх укоханих розмовах про адміністративну діяльність казав і про принцип „православія“, але Катерина з того часу, як він став дорослим, не бачила, щоб він коли й лоб перехрестив, і була певна, що він нічому не вірить. Таким побитом дома ніхто не мав на неї релігійного впливу. Не мала його й гімназія. В гімназії примушувано ходити до церкви та вчити „Закон Божий“, але-ж на перше всі дивили ся, як на примус, а друге не мало в їх очах ніякої поваги тим, що підзаконовчитель, — як то здебільшого буває по середних російських школах, — не мав ніякого впливу на школярок і трохи чи не був посьмівищем усїй гімназії. І ось, під впливом таких обставин, в неї склали ся такі відносини до релігії, що вона вірила в Бога, їздила до церкви, содержувала релігійний обряд, але робила се тим, що так годить ся робити, так усї порядні люде роблять, а зовсім не тим, що в неї була душевна потреба так робити. І через це релігія не мала для неї ніякого морального значіння, і стояла зовсім нарізно од її морального життя. І Катерині се ні трохи не здавало ся дивним: як-же могло бути інакше, коли всі, кого вона круг себе бачила, робили так саме, як і вона.

І ось — од Марка почула вона, що ідеали існують не тільки в романах і не тільки в постаті „жениха“, а що їми живе людськість, і що кожен мусить, як що хоче бути людиною, силкувати ся досягати їх; в принципах-ж людина повинна поводити ся так, мов-би то була річ, без котрої й руки здійснити не можна. Сей погляд був о стільки їй новий, о стільки одрізнявсь од усїх тих поглядів, котрими, як вона думала, керувало ся її життя, що він спершу здав ся їй просто нісенітницею. Але те, про що вона думала, що його нема, та іскра Божа, що живе в душі у кожної людини, ожила, як до неї до-

торкнуло ся те нове слово. І вона ожила о стільки, що Катерина почала її чути в своїй душі. Вона не знала поки, що це, але почувала, що воно таке, що йде навпроти усього її життя. Вона не знала, що се ця іскра Божа, розгоряючись усе дужче та дужче, примушує її так уважно прислухати ся до того, що хотіла-б вона й тепер назвати нісенітницею, але вже не могла...

Вона почала читати те, що порадив Марко, і се читання ще більш направляло її думки на новий шлях. Найбільш їй сподобав ся Віктор Гіґо. Його реторика дуже припала до смаку їй, що читала досі безладно, що трапилось — і Льва Толстого і Габорію — і не виробила собі ніякого літературного смаку. Але-ж в творах у великого поета була не сама реторика, і хоч і мало до того приготована була Катерина, але мусіла помітити за сією позверховною формою, що так їй подобалась, і дещо інше, а саме: велику любов до людскости та поривання до вищих ідеалів. Вона прочитала далі дещо з трьох великих німецьких поетів, прочитала, зацікавившись з Шілерового „Das Siegefest“, Гомера і її світогляд поширив дуже, а літературний розвиток став на певний шлях...

Не диво одже, що Марко, розбуркавши розум у молодій дівчині, привабив до себе її почування. Еге, він подобав ся їй, — вона знала це, хоч ніколи не хотіла про се думати. Їй подобалась його щирість, правдивість, благородність його поглядів, подобавсь його голос, подобалось те, як він балакав, його блискучі очи, лоб... Але ловлячи себе на останньому, Катерина мусіла червоніти і не хотіла думати про се.

Одно тільки їй не подобало ся у Марка: велика прихильність до мужицтва. Вона не вважала мужиків за товар і навіть обороняла їх з цього погляду од брата та од Голубова, але-ж люде ділили ся в неї на мужиків та осьвічених і міждо сими й тими не було нічого спільного. Читання не зробило її демократичнійшою. Марко сподівався, що прочитавши Дікенса, вона почує любов до принижених та працюючих. І вона справді, читаючи „Давида Коперфільда“ влюбила собі і обох Петотті, і Хама, хоча вони були й мужики; але вона ні єдиної хвилини не думала, щоб се могли бути такі-ж мужики, як і ті, що вона бачила круг себе що-дня. Ні, се — так їй уявляло ся — були мужики англійські, особливі, ідеальні мужики, котрі з звичайними мужиками нічого спільного

не мають. Одного разу тільки здалось їй, що мабуть Маркові батько та мати були такі шляхетні мужики, бо не дурно-ж Марко такий, — але й тільки-ж: більш вона ніяких виводів з свого читання до власного життя не прикладала. Вона виховувалась на московській мові, на московській історії, — то й не диво-ж, що вона своїми поглядами та сімпатіями була тепер московською панянкою і не могла погодитись з демократичним українським прямунням. — Досі вона про се прямуння нічого не чула, але тут відразу довелось їй взнати, що істніє народ, а не самі мужики; що істніє Україна, а не сама Москва. Але як се? — замість гарної панської літератури мусимо читати якогось там Шевченка? і балакати, як мужики: лыхо, лыпа (вона умисно твердо вимовляла и)? Замість великої Росії, котра всіх побива, котра найбільша в світі, котра всіх може шапками закидати — якась „Хохляндія“, як каже брат? Правда, досі Катерині й до Росії було байдуже, але тепер, як вона почула, що проти тієї Росії щось кажуть, вона почала думати чомусь, що дуже любить Росію (усі паничі й панянки, котрих вона досі бачила, повинні були любити — так вона думала — Росію), і те, що казав Марко, здавалось їй таким неможливим, таким нелюдським, що вона навіть серйозного значіння тому не давала, а думала, що се Марко так собі балака... Але-ж те, що їй не подобалось, було не таке велике, щоб сам Марко міг їй здати ся поганійшим. Се була дрібничка, про котру не варто було думати.

Вперше серйозно подумати про свої відносини до Марка довелось їй у той день, як вона прийшла з під скелі, де вкупі з їм ховалась од дощу. Вона йшла під скелею спокійна, весела; вона стріла ся з Марком, балакала з їм просто й спокійно. Але щось за той час, поки вона була там, з нею стало ся. Що саме — вона до пуття не знала; але, вернувшись до дому, чула, що якийсь невпокій її обгортає, чула, що їй чогось наче не стає; згадувала, що вона під скелею була на деяку хвилину не така, як звичайно...

— Що це? — питалась вона сама себе, почувавши якесь нове почування, цілком їй досі невідоме, — і не одмовила...

Марко, вернувшись з під скелі після перших хвилин щастя, не міг не зупинити ся на деяких питаннях, не міг не аналізувати свого становища.

— Еге, він любить її!... Але чи може він її любити?

Він довго мучивсь коло цього питання, і одмова була завсїгди однакова: поки вона так дивить ся на рідний край, — не може. Але Марко зараз-же лякавсь сїєї одмови, зараз-же починав упевняти себе, що він помиляєть ся, дивлячись серіозно на дівчинини погляди на се; що сї погляди зараз-же зникнуть, як її розвиток побільша, сьвітогляд поширша, а сила кохання візьме своє. І він сподївавсь...

Але за цими душевними турботами Марко не забував і іншого того, що він хотїв зробити на селї: познайомити ся з народом. Досї йому не щастило ніяк в цїй справі, але одного разу нарештї щастя повернуло якомсь трохи й на його бік.

Марко любив іноді блукать по степу. Блукаючи одного разу в недїлю коло невеликого гайка, що притуливсь серед степу у балочцї, він побачив пару волів, котрих пас якийсь хлопець. Воли пасли ся, а пастух, лїгши на живіт, чогось уважливо дививсь у землю. Чого саме — Марко не міг розібрати, бо таки далеченько було. Марко підійшов ближче. Річ, на котру так уважно дививсь пастух, була книжка. Побачивши Марка він устав. Се був хлопець років шіснадцяти, одягнений у звичайне празникове селянське убрання: в білу сорочку вишивану (мабуть убогий, що червоної нема, — подумав Марко), в жилетку; чумарчину розіслав він на землі і ото лежав на їй. Тепер він устав і, держучи в руках книжку, питаючим поглядом дививсь на Марка. Першу хвилину обидва роздивляли ся один на одного, і Марко побачив худе хлопяче обличчя з русявою головою, але надзвичайно чорними бровами, під котрими блищали цікаві голубі очи. Нарештї Марко сказав:

— Здоров, хлопче!

— Здоров й ви! — одмовив хлопець і знов дививсь на Марка, не знаючи, чого треба од його цьому панови.

— А що ти тут робиш? — спитавсь Марко.

— Волів пасу.

— А то-ж що читаєш?

Хлопець почервонїв.

— Та се... це я... азбучка...

— На що-ж ти її читаєш?

— Та я... не читаю, а тільки вчу ся читати.

— А хто-ж тебе вчить?

— Ніхто, я сам...

— Сам? То тобі дуже хочеть ся навчитись читати?

— Ой хочеть ся! — аж скрикнув хлопець і знову почервонів.

— Чом-же ти не ходиш до школи?

— Та... нікому дома... Батько в мене самі, я один у батька... А я й так вивчу ся...

Марко сів з хлопцем, і вони розбалакали ся.

— Де-ж ти книжку взяв? — спитавсь Марко, роздивляючись на зайлозену та почеркану (щиро читану) граматку.

— Купив на ярмарку.

— Коли-ж ти вчиш ся?

— А от у неділю, як воли пасу... Або так у празник... Або у вечері іноді. Тільки у вечері батько не дають.

— Чому?

— Кажуть: сьвітло переводиш, а грошей на його нема.

— Давно-ж ти почав учити ся?

— Оце другий тиждень.

— Що-ж ти вивчив?

— Та міні один школяр букви показав — так я їх вивчив, — і він зараз-же проказав на ряду усю азбуку.

— Добре! — похвалив Марко. — А далі-ж що знаєш?

— Далі... Далі тут склади, — він показав у книжку, — та я їх ніяк не розберу. Уже і так, і сяк біля їх — не розберу.

Марка вразила ся любов до просьвіти, а хлопець йому подобавсь. Він покликав хлопця до себе — вчити ся письменства. Хлопець спершу довго думав, довго вагавсь, не хотів ніяк вірити, що Марко його не одурює, але нарешті згодивсь і встановили, що Корній — так хлопця звали — що-дня у вечері ходитиме до Марка. А поки — Марко зараз-же почав його вчити, то й була їх перша лекція, котра вже зовсім впевняла Корнія, що Марко не шуткує, — на степену.

Другого вже дня Корній був у вечері в Марка, і вони почали вчити ся. Хлопець так і ловив вухами Маркові слова, силкувавсь не проминути й трішки, і Марко бачив, що йому не буде великої праці — навчити свого школяра читати. Корній з того часу почав ходити до Марка що-дня.

Одного дня Марко одержав лист од Лісовського.

„Дорогий друже, — писав той, — маю сказати новину, що буде тобі і цікавою, і гарною. Був оце я з тиждень назад у Овсієнка, — ходив балакати до старого діда. Не так і до його,

як сподівався побачити там декого з добрих людей. І справді побачив. Ото сиділи, гомоніли та й збалакались, що нема зовсім чого народови читати. Я таки добре вилаявся, що ось досі, за сто років, що істніє нова українська література, не складено й ста добрих книжок для народнього читання (як бачиш, — я скористувався з твоїх думок; побачиш, що я й далі так робив). Дехто обороняв земляків, звертав, звісно, на цензуру. Але я довів, що не сама цензура тут винна, і взяв, між іншими прикладами, й тебе, як ти ніяк не міг знайти видавця на свою популярно-наукову брошуру, хоча земляки й хвалили твоє писання, але дозволили термінови цензурному минути, — а потім уже й зовсім цензура не стала пускати наукового. З цим всі мусіли згодити ся, а я (знов таки користуючись з того, що ми колись у-двох урадили) кажу:

— Добре було-б скинути ся грішми та заснувати хоч невеличкий фонд на видання книжок для народнього читання.

Дехто огинаєть ся, каже:

— Де-ж у нас такі багатирі, щоб дали на те гроші?

— Багатирів, — кажу, — не треба, а треба зробити так, як ми в-двох з Кравченком зробили.

— Як?

— Ми, — кажу, — постановили що місяця давати десяту частину своїх грошей і на те, що збереть ся, друкувати книжки.

— І багато-ж ви зібрали? — Тапчанський сьмієть ся.

— Не багато, — кажу, — але стільки, що могли вже видати Кравченкову книжку та й ще є рублив з тридцять. Не сьмійте ся: з малого велике буває.

Старий Овсієнко каже:

— Та воно що правда, то не брехня: з малого велике буває і як скинутись грішми, то щось буде. Але добре скидатись, як є що видавати? А то що-ж ми будемо видавати? Хто писатиме? Та й чи пустить цензура?

Я сказав, що знаю декільки готових річей у тебе та в других; а що до цензури, то — втік-не-втік, а побігти можна, — ще-ж до того ми будемо саму белетристику видавати. Проти сього вже нічого не мали сказати. Коли це почав Овсієнко доводити, що Кулішівка занапастила нашу літературу та що треба книжки друкувати етимольогічним правописом. Але-ж як йому довели, то мусів згодити ся,

що етимольогічний правопис хоч-би там і який гарний був, але в Росії, поруч з російським та ще народови — зовсім неадатний. Так-сяк добалакали ся таки до того, що постановили: кожен даватиме що-місяцьову вкладку по карбованцю і на ті гроші видавати книжки і все, що од видання матимем, повертати на цей фонд знов. Нас було дев'ятеро, але я заздалегідь сказав, що ти будеш десятий. Я додав уже до їх ті тридцять рублів, що zostали ся після видання з наших грошей, бо був певний, що ти нічого проти цього не матимеш.

Так ось тобі новина і повинна — сподіваю ся — гарна. Дай, Боже, щоб швидче набрало ся грошей, щоб можна було видавати. А ще більш дай, Боже, щоб наші земляки звикли до солідарности, до гуртової роботи — цього нам треба, дуже треба. А поки — посилає свої рукописи до цензури!

Що-ж тобі ще сказати? Здаєть ся, нема нічого нового. Старий Овсієнко і досі лає Старицького та Левіцького і взагалі всіх Кіян, що псують мову, бо він яку чув мову ще змалку в тій слободі, де народивсь, то й досі тільки ту мову й признає і письменників тільки тих признає, що писали тоді, як він молодий був, — і не хоче няти віри, що він мови не зна. А проте — він щирий дідусь, і я його дуже люблю.

Тапчанський знайшов собі посаду тут; він і досі такий задерика, як і був. Кричить, верещить та все іронізувати силкуєть ся. Як я почав у Овсієнка балакати про гурт, він каже:

— Се Лісовський хоче заснувати товариство, щоб у йому головою бути.

Ну й язик!

Одначе, я вже, здаєть ся, тобі багато дечого наплів. Буде вже про себе! Як ти там живеш? Що нового взнав? Може твої уваги про народ не будуть тепер такі сумні, як того разу. Пиши!“

Сеї лист підняв Марків дух угору. Марко почув приплив нової сили.

— Дяка Богови! Початок є!

І він нервово ходив по хаті, і в його в голові думки не могли потовпити ся за думками. Він давно вже жарив про якийсь гурток, котрий заходивсь-би коло видання книжок для народнього читання. Він бачив у таких книжках велику потребу. Народ читає московські книжки, а українські й читав-би, та нема. Тим народ звикає дивити ся на свою мову як не на

мову, а на якусь мужичу прикмету, котру треба кинути, як що хочеш бути осьвіченою людиною. І Маркови в його мріях уявляло ся вже, як се діло ширшає, росте, як книжка видаєть ся за книжкою — та все дешеві гарні книжки — і вони йдуть у народ, і народ їх чита, і національне самопізнання починає прокидатись... Не можучи здержати припливу енергії, Марко кинувсь до столу, ухопив нескінчену роботу і почав нервово, швидко писати. Слово за словом, думка за думкою поспішаючись лягали на папір, і в кожному слові, в кожній думці горіло бажання зворухнути темну народню масу, засьвітити їй у душі сьвітло самопізнання, сьвітло любови до рідного краю, любови, що робить дива, що може зробити все!...

Він на хвилину кинув писати, бо перед їм на мить уявила ся така ясна, така без міри радісна картина діяльності осьвіченого вкраїнського народу, що в його руки затремтіли, і він не міг вдержати пера. Але се тільки на хвилину, а далі воно знов швидко забігало по паперу, знов почали перегортати ся картки. Марко писав годину, другу, і не помічав, як линув час... Він писав-би хто й зна й поки, як-би двері не відчинились і на порозі не став Корній. Треба було кидати роботу....

.....Як скінчило ся вчиття, Корній налагодивсь іти, але не йшов і щось усе мавсь на одному місци. Марко помітив це і спитавсь :

— Тобі мабуть чогось треба?

— Еге-ж...

— То кажи!

— Боюсь бо!

— Чого?

— Та воно таке...

— Та яке-ж там?

— Та... прохали батько й мати і я прошу, щоб ви прийшли до нас у неділю в гості.

— Спасибі! Прийду!

— Йо?

— Чого-ж йо? Прийду та й годі.

Зрадів хлопець дуже:

— Глядїть-же! А то батько та мати кажуть: ти хоч-би покликав свого вчителя в гості! А я кажу: хіба вони підуть до нас?

— А чом-же ти думав, що я не піду? — спитавсь Марко.

— Так ви-ж пан, а ми мужики! — простодушно відмовив Корній.

— А чим-же я пан? — знов запитавсь Марко.

— Аже ви в панській одежі... і з панами живете... і по панському вчені.

— А я тобі ось що скажу, Корнію, — почав поважно Марко і почав вияснювати Корнієви те, що нема тепер ні панів, ні мужиків. — Отже хоч я по твоєму й пан, — казав він далі, — а я така-ж людина, як і ти, і твій батько, — то чому-ж міні не прийти до вас? Та й не панського роду я, коли хочеш, бо мій батько був простий швець, а мати прачка, — обоє своїми руками заробляли собі хліб. І я робив з батьком вкупі і тепер вмію чоботи пошити.

— Йо — пошиєте? — спитавсь дивуючись Корній.

— Пошию. Як я був малий, то батько шив міні чоботи; а як батька не стало, а я підріс, то грошей часом не було, щоб заплатити шевцеві, то я й шив сам собі чоботи.

— І вчились у отій великій школі — ув у-ні-вер-сі-те-ті, і шили чоботи? — скрикнув ще більш дивуючись Корній і широко розплющив очи.

— Чого ти так дивуєш ся? — засьміявсь Марко. — Хіба ти думаєш, що хто вивчить ся, то вже повинен одрізняти ся од простих людей та цурати ся простої роботи?

— Ні... я... Оце скажу батькови, — скрикнув одразу Корній, — ну, що вони тоді скажуть. Та ви-ж прийдете? Глядїть! Ми коло церкви живемо. Ви йдїть до церкви завтра, а відтїль вас до нас заведу.

— Добре!

V.

Другого дня у недїлю Марко пішов до церкви. Маленька церква повно натовпана була людьми, як Марко увійшов туди. Спереду стояли чоловіки, а позаду жінки та дівчата. Але декільки з жіноцтва стояло попереду ще од чоловіків. Тільки се були особи не прості, а повбирані по міщанському. Дві дівчини були навіть у міських пальто з великими блискучими гудзиками. Марко спершу подумав, що це якісь панни, дочки сусідних панків; але великі прості платки, котрими вони були повязані, доводили, що він помиляєть ся.

Марко вистояв службу і пішов з народом з церкви. По-між натовпом Корній ухопив його за руку:

— Здрастуйте! З неділею! Ходіть!

Вони пішли, і Корній зараз-же почав розповідати, як він дома казав, що Марко не пан.

— Я їм кажу: вони такий саме простий чоловік, як і ви, тату. А батько кажуть: не можна сьому повірити, бо він з панами живе. А я кажу: у їх батько швець був, і вони самі чоботи шити вміють. А батько тоді: йо? А я кажу: а вже-ж! — А ось і наша хата!

Хата Корнієва була невеличка, але чистенька. Двір обгорожено по степовому — камінням. У дворі стрів їх батько Корній і повів у хату.

Уся сім'я була дома: батько — високий чоловік з такими очима, як і в Корнія, з підстриженою темною бородою, з довгообразим українським обличчям; мати — моторна, ще не стара молодиця, та дві сестри. Одній сестрі було років десять, вона злякалась Марка, втекла на піл і стала біля печі. Друга сестра — дівка — вразила Марка своїм блідим обличчям.

— Сідайте, будьте ласкаві! просимо! — заметушилась мати, вхопила ганчірку і зтерла лаву там, де сідати Маркови. — От спасибі, що зайшли. Старий усе казав, що ні, не заїде! А я кажу: як-би він був гордий, то не вчив-би нашого сина.

— Та сідайте-ж бо! — промовив батько, — щоб старости сідали! — додав він шуткуючи.

Марко глянув на дівчину, — вона сиділа на полу, склавши руки на колінах така-ж бліда, як і перш, і великі темні материні очі навіть не змигнули.

— Давай нам, стара, обідати, щоб веселійше було! — сказав батько.

— У вас хата й так весела! — промовив Марко.

Хата й справді була весела та чистенька. Піч гарно підводжувана, стіл застеляний білою скатертиною з хлібом на йому; рушники на кілках і коло богів, за богами васильки; на стінах декільки простолюдних малюнків релігійного змісту та царські портрети.

— Дай, Боже, щоб не була сумна! — одмовив господар.

— Дочко! поможи міні! — озвалась мати од печі до старшої дочки.

Та мовчки устала, — все така-ж бліда та така-ж мовчазна, — і пішла пособляти матері.

Посідали за стіл. Господар узяв пляшку й чарку, налив горілки і простяг до Марка. Той попрохав господаря. Господар почав приказувати над чаркою :

— Спасибі-ж вам, що ви вчите вашого сина! Дай вам, Боже, здоровячка, а йому — щоб науку розумів.

— Дай, Боже! — одмовив Марко.

— Господар випив, дав Маркови і всім, хто був у хаті. Корній з сестрами не пили.

Почали обідати. Обід був убогий, але Марко виголодав ся, а тут ще чарка горілки пособила, і він їв борщ та кашу так, що аж за ушима лящало. Господарям це сподобалось.

— Іжте-бо, іжте-бо! — припрохувала мати.

— Та я й то їм.

— Та спасибі вам, що ви не гребуєте нашою простою стравною?

— А чого-ж вони гребуватимуть, коли й вони прості? ... озвався Корній.

— А скажіть, будьте ласкаві, чому ви не оддали Корній до школи? — спитавсь Марко.

— Та бачите, — я сам, помочи нема, наділ у нас один, — треба в пана землю брати, а за землю одробити, а одробітки не малі — хіба поснішиш ся сам? Міні по весні або в осени треба сіяти чи орати, а йому в школу йти — хто-ж буде в мене погоничем? А треба-ж і скотинку комусь пасти — в мене другого пастуха нема.

— Се правда, — сказав Марко, — але-ж він міг-би походити зиму, поки навчив ся-б читати. Адже йому зимою нема чого робити.

— Та воно не дуже то й нема!... — сказав батько. — Я зимою часом іду на шахти, або під вугіль іду — є у мене волики, — а дома-ж хоч корова яка, — то треба-ж йому доглянути, бо і в жінок своя робота. Ото й дає він зимою корові, теляті, вівцям, ганя їх напувати. Та ще й те: не сподобалась міні ся школа!

— Чому? Хіба погано вчать?

— Ні, гарно... Ще й дуже вивчають... З нашої школи вже чоловіка десять є таких, що писарювали або по воло-

стях, або по економіях, або прикащикували. Та тільки все не до ладу.

— Чому?

— Та тому, що оце поживе воно там год та другий, поки мале, і вже зовсім од простого звичаю одкинуть ся. Тоді вже він удіг жакетку й чоботи такі, що п'ятнадцять рублів за їх, і гармонія в його за п'ять, і треба йому тютюну і вина, і того-сього — усього хочеть ся, щоб по панському, а грошей óбмаль. Тоді воно — що робить? — треба красти! То й потягне що в економії, або там у лавці. То його зараз і проженуть. Тоді вже на що він здався? Ні до Бога, ні до людей! Он поблизу тут двоє таких, два брати. Один у економії клюшником був, а другий у городі у купця прикащикував. І обох вигнали. Тепер ходять з вудками рибу ловити. Батько та мати йдуть у поле косить та вязать, а сини під вербою з вудкою спать.

— Та не всі-ж так! — сказав Марко.

— Та не всі! — одмовив господар. — Хто так собі, не дуже вивчивсь, екзамену не здавав, — той більш дома сидить; а хто здав екзамен, та ще й добре, то того вже, — дивись, — і нема дома, — аж поки не вернет ся... вудкою рибу ловить. А вже що носа задира школяр, то й батькови нема місця в хаті. От у мого сусіди син-школяр говорить батькови: Ти, тату, чорт-зна по якому балакаєш, — у нас у школі не так!

— Але на що-ж батьки до школи віддають, коли так! — спитавсь Марко.

— Ото-ж і я кажу! Я думаю так, що батьки тут найдужче винні. У нас тепер так повелось, що кожне хоче свого сина вивчити, щоб на лекшу роботу пішов. І не вбогії так тільки, — тим-би й Бог простив, бо справді — що-ж йому їсти, як на одному наділі п'ятеро або шестеро дітей — треба кудись отдавать. Так-же не вбогії, а багаті більше так роблять. От у нас є один чоловік: землі свої купив десятии двадцять (ще батько грошовитий був) — один син у його, а вивчив — отдав.

— Та буде вам балакати — їжте-бо! — припрохувала господиня, становлячи на стіл варене курча.

Розмова перепинила ся, — всі почали їсти. А про те — їли всі, окріч старшої дочки. Вона увесь обід мовчала і хоч носила іноді ложку до рота, але якомось так байдуже, немов їй

було однаково, чи їсти, чи не їсти. Марко навіть чув, як мати кілька разів пошипки казала дочці:

— Чому не їсти, Насте? Їж, дочко!

Але Настя їла так саме, як і перш.

По обіді посідали господар з Марком знов і знов зняли перешинену розмову.

— Може бачили в церкві, — промовив господар, — попереду всіх вилізли дві захвѣйдачки в пальтах. Ото-ж школярки! Ми, — каже, — вивчилися: тепер нам треба по благородньому. На вулицю вже не ходять, з простими дівчатами та парубками не знають ся, а тільки все батьків подирають, щоб їм пальта та плаття справляли, — добре, що хоч батьки придбали, так буде що переводити на плаття.

— Та хто-ж у їх батьки?

— Та хто-ж там? Такі-ж мужики, як і ми, — так думка, бач, така, що поблагороднійшають через благородних дочок! — Так ото я їй подумав: син у мене один, — як повернеть ся він на отаку погань, то що тоді буде? Та їй не віддав до школи! А що оце ви вчите, то за це вам велике спасибі, — не знаю, як і дякувать. Бо як-би нам читаку в хату, то ми і Бо' зна які радї були-б.

— А вже що старий любить читання, — забалакала господариня, — то їй Господи! Усю ніч сидів-би та слухав. Є тут у нас один чоловік — уміє читать; то оце іноді насходить ся до його мужиків, а він їм і чита. І вже як піде старий, то поки не вичита той усе, то не вернеть ся.

— А що-ж він чита? — спитавсь Марко.

— Усякі книжки чита, — одмовив господар. — Читав „Хвабійолу“... ще читав, як янгол з неба сходив та в сапожника жив... про Бову королевича читав — ну, та то така, казка, аби що; а ті гарні.

— А розборні-ж вони вам? — спитавсь Марко.

— Та не дуже. Що розбереш, а що їй ні. Погано таки чита.

— А то ще їй те, — сказав Марко, — не по нашому, по простому писані, а по московському, — тим їй і не розбереш.

— А хіба є книжки їй не по панському писані? — спитавсь господар цікаво.

— А б.

— От, як-би ви нам прочитали, — може-б ми дуже розібрали.

— Та я й прочитав-би, та тут нема в мене книжки.

— А ви у неділю візьміть та й прийдіть до нас, то й прочитаєте.

— На що в неділю? — озвався Корній. — Адже у вівторок празник.

— І справді — празник! — сказав батько. — Приходьте до нас, почитаєте.

— Добре! — одмовив Марко, — дуже радий буду.

Марко просидів у Корнія години з три і вийшов відтіл надзвичайно радий. Як сумно йому було, як він вертався, у перше пішовши на село, і як весело тепер! Яка різниця проміж тим, що він тоді бачив і тим, що тепер! Ця вбога, але очевидьки працьовита, чепурна, ввічлива та розумна сімья приворожила до себе Марка.

— Ні, брешуть, сто разів брешуть ті, хто каже, що народ зовсім вопсувався! — казав сам собі Марко, ідучи до дому. Дома його дожидався гість — вчитель.

— А я дожидався — дожидався, та думав уже йти од вас, — промовив він здоровкаючись.

— Дуже жалкував-би, Петре Олександровичу, як-би ви пішли, — одмовив Марко, і справді радий, що вчитель до його зайшов, — йому подобався він, не вважаючи на те, що не подобались його погляди.

Посідали і почали балакати то про те, то про се, як то звичайно буває з людьми, що не напали ще на ту тему, котра їх зацікавить. Вчитель побачив у Марка на столі розгорненого „Кобзаря“.

— А знаєте, — сказав він, показуючи на книжку, я його ніколи не читав.

— Жалкую за вас! Хочете взяти почитати?

— Дуже дякував-би, як що тільки можна.

— А вже-ж можна.

— Еге, дуже міні цікаво, — балакав далі вчитель, трохи занікуючись з незвички балакати, — дуже міні цікаво прочитати його... Я, знаєте, багато думав про те, що ви казали про школу.

— І що-ж? — спитався Марко.

— Думаю, що з педагогічного боку воно так... тільки-ж... Тільки воно якось дуже... дуже нове! — сказав учитель.

— Що саме — нове? Те, щоб вчити по українському і вважати українську мову за мову, а не за покидьок?

— Еге!

— Ви не дурно назвали його новим. Тим воно й дивує так, що нове. Тільки йому давно не треба дуже бути новим. Ви чули щось про Галичину?

— Ні, — одмовив учитель.

— Це нам цікавий край, — сказав Марко і розповідав учителеві про Галичину, про її національний рух, про українську гімназію, про українські виклади в університеті.

— Так таки по українському і в університеті? — питавсь дивуючись учитель.

— Так!

— Добре-ж, що там можна! А в нас — ні...

— Не до віку-ж його не можна буде — одмінить ся.

— Як?

— Державні та громадські форми недовічні.

Вчитель не зрозумів сього, і Марко мусів йому вяснити ширше. Він побалакав з їм години зо дві, і вчитель пішов од його з „Кобзарем“ та ще деякими українськими книжками, дуже зацікавлений усім тим, що чув, та пообіцявшись прийти знов.

— А може з його люде будуть? — подумав Марко, зачинаючи за їм двері. — За панським обідом Марко, проміж іншими гостями, стрів Голубова та ще одного невеличкого на зріст панка у простенькому піджачкові, років тридцяти, але з обличчям зістареним ще років на десять.

— Хведір Карпович Лирський! — сказали Маркови, знайомлючи його з панком.

— А! — подумав Марко, — дуже цікаво! Здається, се чоловік не тієї породи, що всі ці. — Марко чув, що Лирський їздив за кордон, слухав лекції у якомусь чужоземному університеті, а піп з учителем казали, що він засновує школу.

Голубов, як звичайно, тупцявся усе коло Катерини, що звертала на його уваги о стільки, о скільки того вимагала проста звичайність. Але, не вважаючи на те, він, з суро-московською нахабою, ліз таки у вічі. Як посідали за стіл, Мар-

кови трапило ся сісти проти Лирського, і він зараз-же почав промову :

— Я чув, що ви маєте завести в себе в слободі школу? — запитавсь Марко.

— Ет! мав, та не маю! — одмовив той.

— Чому? — спитавсь Марко, але пан Городинський перепинив Лирського з одмовою.

— І краще! На чорта мужикови та школа? На що розвивати в йому такі інстинкти, як і в осьвіченої людини?

— Цілком так! — безапеляційно сказав Іван Дмитрович. — Хоча я нічого не маю проти школи взагалі, але наша земська школа плодить соціалістів. Школа не повинна йти далі часословця та псалтиря.

— Навіть без євангелії? — спитавсь Марко.

— Євангелія... — протяг Іван Дмитрович. — Бачите: євангелія річ така, що можуть бути „превратныя толкованія“, а се річ небеспечна... От псалтир... Не знаю, чи так сказано: „начало премудрости—страх“, але оце й є найважнійше, щоб мужики звикали слухати ся та боятись. Ні, ні! без ваших натуральних історій та іншого, — се проказа!

— Се міні трохи нагадує вашого маршалка, — сказав Марко. — Я чув, що в одній школі „попечителька“ почепила на стіну географічні мапи. Так він каже: Чорт зна що! лібералізм якийсь — мапи на стінах висять!

— І правда! і лібералізм! — скрикнув старий пан Городинський, але Марко вже не слухав його і знов удавсь з своїм питанням до Лирського.

— Чому? Тому, що з цими мужиками нічого не зробиш! — одмовив той. — Але міні, бачите, хотілось, щоб зтягти до цього діла й громаду — хоч чим небудь, хоч п'ятидесятьма рублями. Ну, ото я й пішов у громаду і сказав їм промову і, здаєть ся міні, промову таку, котрою впевнив їх. Я почав з того, що ось вони багато гублять у своєму господарстві та й в інших своїх справах, а тим і вбогі. А се ти робить ся, — кажу, — що ви, — кажу, — дурні. А щоб порозумнійшати, то треба вам повчити ся і на те школу треба завести. Ну, ото і впевнив їх, так міні здавало ся, і вони наче-б то й згожувались дати п'ятьдесят рублів на школу. А далі, як уже дійшло до діла, вони й одкинулись. Ну, як це вам подобаєть ся? Дурні, зовсім дурні! Се якась особлива

нижча раса, котра не може навіть своєї власної користи зрозуміти.

— А найголовніше, — озвався Голубов, — їм шкода було тих п'ятидесятьох рублів, що ви з їх хотіли взяти; та не так і їх, як бояли ся вони, що їм доведеть ся ще платити на ту школу.

— Але-ж я їм вияснив, що їм ні копійки не доведеть ся більш заплатити.

— Хиба вони тому поймуть віри? — скрикнув старий Городинський. — „Хоч-би пан зійшов з неба, то вірити йому не треба“ — оце їх приказка, і в її увесь їх погляд на панів. Вони сто разів поймуть віри своєму п'яному писареві або дурному дякови, що дуплять з їх хабарі, ніж міні або вам.

— Народня приказка, — сказав Марко, — доводить, що народ справді не йме віри панам, — та я це й сам помічав. І що вбогий мужик боїть ся великих трат на школу, то се зовсім зрозуміло і, міні здаєть ся, обвинувачувати його за се не можна. Але-ж я ніяк не можу згодитись з вами, Хведоре Карповичу, — вдаєсь Марко до Лирського, — що мужики такі дурні. Навпаки, — міні здаєть ся, що наш народ дуже розумний. Оце тільки сьогодні я балакав з одним чоловіком з цього народу, котрий, як на мою думку, зовсім добре вияснив, чому мужики холодні до школи.

— Ану-ну, що сказав ваш філософ у свиті? — іронічно промовив Голубов.

— Мій філософ у свиті сказав дещо таке, що не погано було-б знати його й філософам у сурдутах. А саме сказав він, що школа однімає школяра в сім'ї, кида його на другу роботу і робить з його нечесну людину. Мусите згодити ся з тим, що це правда. Наша школа справді одбива школяра од рідної сім'ї, навчає його згорда, зневажливо позирати на ту масу, що з неї він вийшов.

— Та чого-ж се так? — спитавсь Лирський.

— Того, що наша школа московська, а не вкраїнська. Се і не педагогічно, і не льогічно. Московською мовою, та ще такою специфічно-московською, якою пишуть ся в Росії школьні книжки, вчити Українців не можна, бо вони її не розуміють...

— Я не думаю, щоб се було важливо, — перепинив Лирський. — Вони розуміють і російську мову.

— Знаю з других прикладів і чув од тутешнього вчителя, як вони її розуміють.

— Хоч-би й зовсім не розуміли, а мусять вивчити, — озвався Голубов, — бо ніякої „хохлацької“ мови нема, а тільки російська.

— Російська мова — державна мова; інших мов у Росії держава не признає; а чого держава не признає, те не істніє і повинно зникнути, — надзвичайно авторітетно сказав Іван Дмитрович.

— Міні доводить ся відмовляти відразу двом, — сказав Марко. — Відмовлю спершу Якову Григоровичу. Яків Григорович каже, що хоч і не розуміють діти московської мови, а мусять вивчити, бо ніякої „хохлацької“ мови нема. Коли вони не розуміють московської мови, то значить, балакають іншою і значить „хохлацька“ мова істніє. Що-ж до того, що російська мова державна, то ніхто в неї цього й не однімає. Я кажу не про права російської, а про права української мови. А що держава не признає других мов, а чого вона не признає, те мусять зникнути, то насмілююсь думати, що се тільки гарячі бажання та й годі. Живе життя дужче од усяких загородок.

— Але-ж се націоналізм! вузкий націоналізм! — скрикнув Лирський. — Я не прихильний до репресалій, але-ж я думаю, що націоналізм шкодлива річ, бо се вузка, цвіла теорія.

— А ви стоїте за космополітизм?

— Цілком!

— А міні здасть ся, що тільки та робота користна, що робить ся на національному ґрунті. Без національного ґрунту неможлива культура. Кажуть, що література дзеркало життя. Покажіть міні хоч один який великий літературний твір, що не був-би національним!

— Може... може... Я проти цього нічого не скажу, але-ж... Але-ж література одно, а соціальні питання друге...

— Ми балакали про питання просвітні! — одказав Марко.

Повстала загальна спірка, котру припинив кінець обіду. Після обіду, як то звичайно бувало в Городинських, пішли у сад. Марко зараз-же пішов поруч з Катериною і спитавсь:

— А ви, Катерино Дмитрівно, як думаєте про се?

— Я? — одмовила вона, — я не згожуюсь з вами.

Марко почав доводити Катерині своє. Розмовляючи, пройшли вони раз і вдруге довгу алею, що перерізувала сад, не помічаючи, що Голубов не балака з другими, а все йде за їми, і його обличчя все то блідне, то червоніє. Він давно вже мав заміри на Катерину, і йому не подобалась та близькість, котру він добачав проміж Катериною та Марком. Він завсігди сердивсь, бачучи, як Катерина звертає увагу на Марка. І Катерина, і Марко, помічали се іноді, але не звертали на се жадної уваги. Сьогодні-ж йому особливо було досадно: він не знайшов, що сказати Маркови на його доводи і хотів хоч після обіду виявити себе перед Катериною кращим, балакаючи з нею в-двох, а цей студент не дає йому й ступнути. Він ішов, кусаючи вуси, і чув, як злість запалюєть ся в його в грудях.

Як Марко та Катерина вже в-третє хотіли, укупі з усім гуртом, іти по стежці, підбіг Марків учень Микола і сказав Катерині:

— Мати тебе на хвилинку кличе в хату.

Пані Городинська була сьогодні хвора і не пішла в сад.

— Вибачайте, — промовила Катерина, — я зараз вернусь, і тоді ми добалакаємо.

І вона побігла через квітник і збігла по широких східцях в будинок — легка й прудка, як молодий сайгак.

Увесь гурток повернув тоді на крокетний пляцик, бо Іван Дмитрович з Голубовим були завзяті крокетисти. Марко теж пішов за їми, але грати в крокет не став, а сівши на садовий стілець, дививсь мовчки на гулянку, сподіваючись, що прийде Катерина. Голубов гуляв, але гуляв цього разу дуже погано і все сердивсь. Нарешті він кинув молоток і сказав:

— Ні, не хочу!

За його став другий з гостей, а він підождав, поки грачі загулялись, — і тоді підійшов до Марка:

— Вибачайте, що потурбую вас, — почав він кризь зуби, — але я маю дещо вам сказати — без свідків...

Марко дивуючись глянув на Голубова. Той стояв трохи блідий стиснувши губи. Видко було, що він мав на бачности розмову не дуже приємну. А проте Марко й не міг сподівати ся од його іншої: він знав, що Голубов його не любить, так саме, як і він Голубова. Голубов уже здавна не міг спокійно балакати з Марком і завсігди його зачіпав.

— До послуг вам, — промовив Марко встаючи, — і вони пішли по стежці геть од крокетного пляцику. Ся стежка прямувала до невеличкого ставка в саду, а на край її, над ставком, стояла альтанка. Туди йшли Голубов з Марком. Голубов мовчав, дожидаючись, поки одійдуть стільки, щоб їх розмови було не чути. Як-же-ж одійшли чимало, він, не повертаючи до Марка обличчя, промовив одразу:

— Я хотів предложити вам виїхати з цього дому.

— Я маю те-ж саме предложити вам! — відмовив Марко.

— Годі шуткувать! — адержуючи голос, сказав Голубов, — я не на те почав розмову.

— Ви зробили-б далеко краще, як-би її й не починали.

— Чому?

— Тому, що нічого гарного з неї ви не матимете, — одмовив Марко.

Вони доходили до альтанки.

— Ні, матиму! — одказав Голубов. — Бо я почав розмову на те, щоб сказати вам, що я не бажаю, щоб ви залицались до Катерини Дмитрівни.

Марко спалахнув, але адержавсь і одмовив зважливим, але спокійним голосом:

— А я вам скажу, що як що ви ще пасьмілітесь зроби миші таку пересторогу, то я примушу вас змовкнути.

— Побачимо! — скрикнув Голубов і зупинивсь. Марко зупинивсь і собі. Вони стояли над ставком саме біля альтанки. Марко — спиною до неї, а Голубов до його обличчям, заступивши йому дорогу.

— Побачимо! — знов сказав Голубов. — Я маю свої заміри на Катерину Дмитрівну і кажу вам: або ви зараз-же дайте миші слово, що завтра виїдете відціль геть, або я отут поламаю вам ребра! — і він стиснув свої здорові кулаки і стояв як роздратований віл перед Марком, що на погляд був і не такий кремезний, і не такий дужий як він.

— Геть з стежки! — сказав Марко і стушнув наперед. Але Голубов не пускав його і взяв за руку. Ту-ж мить Марко захопив його обома руками за глотку й за груди, підняв од землі і боком скинув у ставок. Голубов шубовстьнув униз головою, інстинктивно роспятавши руки, мов-би хотів удержати ся за воду. Вода високо хлопнула, покриваючи його, а Марко не озирнувшись, не поспішаючись пішов геть стежкою.

Ні Марко, ні Голубов не знали, що всю цю сцену бачила Катерина. Збігавши до матері, вона вернулась у сад і не стріла на квітнику нікого, а тільки почула, як стукають молотки на крокеті. Їй не схотілось туди йти і вона пішла од великої алеї на бік. Стежка, по котрій вона йшла, перерізувала ту стежку, по котрій пішли Марко та Голубов, і Катерина, перш ніж вони, зійшла на ту стежку і пішла до альтанки. Двері в альтанку були на пів одчинені. Катерина увійшла в неї, але в їй було уже темно і вона, постоявши трохи, хотіла вже вернути ся, як зненацька почула розмову і через декільки хвилин крізь на пів одчинені двері побачила Марка та Голубова. Вона хотіла вийти, але те, що сказав Голубов — він саме тоді сказав, що має заміри на неї — зробило неможливим вихід. Вона мусіла зістати ся в альтанці і почула і побачила все, що сталось. Побачивши, як Голубов шубовістьпув у воду, вона вже не дивилась і, вдержуючи сьміх, чула тільки, як хлюпавсь він у воді, як вилазив з грязюки, лаючись найпоганішою московською лайкою. Потім вона почула, як Голубов подрав ся крізь куці, щоб не йти стежкою. Вона підождала трохи, поки його стало не чуть, і пішла до крокету. Там гості гуляли в крокет, а Марко сидів на стільци. Вона не могла не дивуватись тому спокоеви, з котрим він, посадовивши її на стільци, протяг далі ту розмову, що перепинила ся, як дівчина пішла. Вона дивилась на його енергічне обличчя і думала собі:

— Сей не дасть себе скривдити і здолає оборонити і себе й кого іншого.

Трохи згодом, як усіх покликано до вечірнього чаю, Катерина та Марко взнали, що Голубов „зненацька занедужав і поїхав до дому“.

— Заяць! — подумала погордливо Катерина. — Ні, нахаба, що ховаєть ся, побачивши більшу силу.

У вівторок, після обіду, Марко з Корнієм пішли до Корнії. Як прийшли вони туди, то в хаті, опріч своєї сім'ї, було ще двоє людей: високий чоловік з темним волоссям та бородою, з глибоко-позападалими гострими очима і парубок.

— Се наші сусіди, — сказав Корнійв батько, — ми їм сказали, що ви будете читати, а вони й прийшли послухати.

Марко був сьому радий і почав з їми здоровкать ся.

— Бач, — промовив високий чоловік, — ви не по панському з нами поведите ся — руку нам дасте.

— Бо й я не пан, — одмовив Марко.

— Вони, дядьку Хведоре, з простих, з таких, як і ми, тільки що вчені, — сказав Корній.

Дядько Хведір подививсь пильно на Марка і сказав:

— Хіба...

— А ви знаєте, Марку Петровичу, що дядько Хведір дуже люблять читати: як сядуть увечері над книгою, як почнуть читати та аж до півночі, — то тітка Домаха й сердять ся, що світло переводять, — торохтів Корній.

— А де-ж ви навчили ся читати? — спитавсь Марко у дядька Хведора.

— Та в мене й дід був письменний і батько. Од їх і я навчивсь. От дід у мене був, — так той ще в Запорозцях був, знав про старовину усе чисто, та як почне було розказувати! — Тепер, — каже, — не так повелось, — ка'зна по якому тепер, а тоді була роскіш — воля. Тоді Україна страшна була і Ляхам, і Татарам.

Марко вперше стрівав на селі людину, котра памятає старовину. Він звик до того, що народ старовину забув.

— А що-ж ви нам принесли читати? — запитавсь Корній батько.

— А ось — книжка зветь ся „Дві московки“, написав Іван Левіцький, — сказав Марко, показуючи книжку.

— То се про Москалів? — спитавсь дядько Хведір.

Тут вживано слова салдат, а не москаль і Марко мусів вияснити заголовок.

— А! — озвався дядько Хведір, — се правда, що як оддавали в старовину у салдати, то се вже в Москалі оддаєш, бо помоскалить ся.

— Гарні вони й тепер! — сказав Корній батько.

Одчинили ся двері і в хату увійшло ще троє-двоє молодчих і дядько не дуже старий з кудлатою нечесаною бородою з надзвичайно ясними дитячими очима.

— А! Остап! — промовив господар до його.

— А що-ж, Іване, — і я прийшов послухать, що розумні люде читають. Бо розумні люде все розумне читають.

— Просимо сідати! — промовив Іван, Корній батько.

Остап одначе не сів, а став коло дверей. За те двоє

молодчих сіло. На молодчих були червоні сорочки з цяцькованими московськими поясами, а поверх — жакетки. Один з їх — виголений, з вусами — зараз-же сьміливо забалакав:

— Вот і ми пасліхали, што в дядька Івана читать будуть, да й сібе прійшлі. Потому — когда я іщо бив на службі, то очінь — дуже любіл читання.

— „Про вовка помовка, а вовк у хату“, — подумав Марко, згадавши Іванові слова про салдатів, -- і спитавсь:

— А давно ви з служби?

— Да вот — год! Не хателось, знаєть, вертать ся, потому — я тепер челавек при абразованію, в полковой школе вчілсь, і даже сам палковнік хваліл, — моґ-би сібе всякоє место в городе іметь... Ну, знаєть, — дома атец, челавек не-абразований — ступай дамој! — говорить.

— Хіба тебе батько тяг до дому? — спитавсь дядько Хведір.

— Не тяг, ну, а всьо...

— Тим прійшов, що таких вас там багато! — сказав знов дядько Хведір, котрий доводивсь цьому салдатови рідним дядьком. — Ти-б уже хоч не величавсь та не забував того, що чи давно ти прошив свій мундір у шинку!

Усі засьміяли ся, а салдат почервонів і одмовив сердито:

— Напівать міне на мундер! У міне їх двадцять будьот, а не то што!...

— Саме й буде, як що ти так робитимеш та до шинку ходитимеш! — не покидав свого дядько Хведір.

— А што — я за ваші деньгі пью?

— Ще-б я дав тобі грошей, щоб ти на їх пив! Не діждеш! Тобі й копійки ніхто не повірять, бо давно взяв рубля з Панаса — казав дівчині черевики пошю — грошей не оддав і черевиків не пошив!

— Што-бо ви, дядьку, так нападаєтьсь на челавека, не дайоте йому й здохнуть! — озвавсь зненацька парубок, що прійшов з салдатом.

— А ти де „образованія“ набравсь, що так балакаєш? — спитавсь дядько Хведір. — На шахтах образувавсь?

Парубок почервонів і змовк. А Марко сумно подумав, що він не вперше помічає, що молодіж на селі, стріваючись в людиною у сурдугі, силкуєть ся балакати „по панському“.

— Та давайте вже читати! — сказав Остап і сів на край лави, аж коло мисника. — А то дурно тільки час гаїмо.

Марко сів за стіл, розгорнув повість Левіцького і почав читати. Проста українська мова одразу здивувала слухачів, що ніколи не чули української книжки. Але всі слухали дуже уважно, окрім салдата та парубка в жакетці, що все щось шипотіли і нарешті пішли з хати: їм не подобалась мужицька книжка. На їх місце прийшло двоє жінок і ще один не старий чоловік.

— Ой, Боже! вже читають, а ми й не чули! — озвалась одна з жінок.

— А не ходіть пізно! — сказав дядько Хведір і почав розповідати про що читали і дуже мальовничо розказав зміст прочитаних декількох боків.

Почало ся читання знов. Всі слухали, як Василь вернув ся до дому і важко вітхали, чуючи його оповідь про салдацьке життя. Потім сьміяли ся з дівчат, як вони на хлопців зазирають і навіть почали цілу розмову, перепинивши читання, бо од дівчат та парубків у книзі слухачі перейшли до своїх дівчат та парубків.

— Які тепер дівчата та парубки? — казала палко та жінка, що жалкувала, що спізналась. — Тепер такі: чи добробила, чи не добробила свого діла дома, а як той час прийшов, то киди й печене й варене та на вулицю.

— Порозгонити-б ті вулиці! — сказав хтось з чоловіків.

— Та воно вулиці нічого, — озвався дядько Хведір, — а оті складки та вечорниці! Отам вони горілку навчають ся пити, отам дівчата п'яні лежать такі, що хоч за ноги повиволікай. А вже звісно — яка вона чесна вийде, коли таке!

Маркови дивно і важко було се чути.

— Не вже цьому правда? — спитавсь він.

— Правда! — одмовлено йому. — Не так тепер стало, як уперед було. Тепер парубок не хоче дома робить, а все на шахту. На шахті він, бач, заробить гроші та всі й покладе на себе — чоботи собі купить за п'ятнадцять рублів, сорочку червону, то що, — а батькови — бува й нічого! Я, каже, робив, я й витратив! А прийде до дому — знай п'є та дівчат піддурює.

Марко почав читати далі і чув, як шепотіли слухачі, переказуючи одно одному свої уваги про книжку та радіючи

Ганниному та Василевому щастю. Зненацька голозне, недержане ридання розітнулось на всю хату. Всі озвинулись до полу. Старша Корнієва сестра гірко ридала, прихилившись головою до печі (вона сиділа на полу) та затуливши обличчя руками.

— Дочко! що ти? чого ти? — заметушилась коло неї мати, однімаючи її руки од обличчя.

Але та ридала все дужче й дужче і високі виводи плачу глушили всіх у маленькій хаті.

— Чого це вона? — зашепотів дехто.

— Хіба не знаєш? — почала одмовляти жінка, що сиділа близько коло Марка і він міг чути, як вона пошипки почала казати другій: — За своїм Грицьком. Його-ж у салдати взяли, а вона з того часу й вяне, вяне — не їсть, і не п'є кажуть і ні за кого не хоче йти.

— А Грицько-ж письмо прислав?

— Прислав багато за два годи і її кланяєть ся у кожному.

Тимчасом мати вивела ридаючу дочку з хати. Батько — теж зрушений — не хотів того показувати і попрохав Марка читати далі. Марко прочитав, як набігла чорна хмара — узято Василя в москалі знов; прочитав про важке Ганнинне життя самотне, про те, як сина у неї взято, — і побачив, як у чоловіків-слухачів мигтіли на очах сльози, а жінки й зовсім плакали. А як приїхав той син, то зараз у йому пізнали своїх салдатів.

— Оце й він! Отакі й наші! Жалко, що втік, а то-б послухав про себе! — казали слухачі, згадуючи того салдата, що пішов з хати, не схотівши слухати мужицької книжки.

— Чи не про оцього нашого кажуть — мабуть воно й правда, — почав кудлатий Остап, втупивши очи в землю, — що побув тільки шість місяців у службі та й вернувся до дому. От він прийшов та й ходить по слободі — не знайде, бачите, своєї хати. А мати побачила з вікна та: — „Синочку! синочку! Чого ти там ходиш?“ А він тоді: „Да чорт вас знаєть, ігде ви живієте!“

Усі засміяли ся, а дядько Хведір додав:

— Та й правда-ж! Як приїде, то такий благородний! А вже що горілку п'є та лаєть ся та бреше!... Я, — каже, — на кавказьких горах бував і відтіль каже видав, як земля на черепасі лежить.

— А може-ж і справді видко? — сказала одна жінка.

— А то-ж!

— А на чому-ж хіба земля? — спитавсь Корній.

Марко вяснив на швидку руч, як з'умів.

— Історія! — промовили слухачі, а дядько Хведір помовчав, а далі сказав:

— А я не так думаю... Ось я читав про Індійців... Гарна книжка! Так отам так написано, що можна тому повірити.

— А як-же там написано? — спитавсь Марко.

— Так, що земля була яйце, а тоді шкаралуца розкололась і піднялось угору дві половинки — ото й небо. А земля висить на залізоному цепу.

— Але-ж, — сказав Марко, — у книзі написано, що сьому Індійці вірили, а не написано, що се правда.

— То що, що не написано. Так сьому можна вірити, бо воно до діла приходить ся.

Марко почав доводити, що дядько Хведір помиляєть ся, але той не поступавсь і доводив своє, знаходячи, іноді швидко, іноді трохи подумавши, хитрі та доладні доводи. Але спірці не дали скінчити ся жінки, котрих книжка зацікавлювала більш, ніж земля. Вони попрохали читати і Марко знову удавсь до книжки. Він читав про те, як Ганнине горе все більшало та більшало, і деякі жінки-слухачки проривались риданням, чуючи, як ховано Ганну... Далі пішло про Маринину долю. Спершу слухачі Марину гудили, але тепер почали жаліти, а почувши про її смерть, сказали:

— Бідна! Без сьвятого причастя так і вмерла!

— Та й книжка-ж гарна! — озвавсь Корній батько.

— Гарна! гарна! — сказали другі слухачі.

— Отак знущали ся з людей! — промовив дядько Хведір, згадуючи Кантоністів. — Дитину рідну одняли! І все то пани повигадували, як-би мужика дужче дошкулить.

— Дошкуляли воно його добре, — промовив Корній батько, — та вже минуло ся.

— Минуло ся! — сказав Остап, крутнувши головою. — Не дуже то й минуло ся! Хіба й досі не робимо на панів? Кому одробляємо за землю? — Панам! Кому одробляємо на десятинах? — Панам!

— Нічого не поробиш! — сказав один з чоловіків. — У їх сила!

— То-ж то й є, що в їх сила! А чого се так, що в їх сила? — казав Остап.

— Того, що вони багаті!

— А чого-ж так, що один багатий, а другий убогий? Чого в Городинського скільки тисяч десятин землі, а в мене чотири десятині? Чи він більш Богови преподобив ся, а я в Бога теля з'їв? — допитувався Остап.

— Мабуть із'їли, дядьку! — сказав парубок.

— Отже ні, не їв, їй Богу не їв! А Городинський угоднійший! І чому-б цареві не зробити так, щоб усі були рівні, щоб не було ні багатих, ні вбогих?

— Та як-же його так зробиш? — спитався дядько Хведір.

— А так: поділити землю на всіх! — сказав зважливо Остап.

Ніхто нічого не сказав, і всі замовкли. Марко зрозумів, що вони ще боять ся його. Тільки Остап нікого не боявся і казав:

— А то що се: не вступиш з одного одробітку вилізти, улазиш у другий, і ніколи за тими одробітками тобі просвітку нема.

— Але-ж ви позичаєте, то мусите-ж одробити! — сказав Марко.

— А вже-ж — одробити... — сказав хтось якось непевно.

— Бач! — додав з комічним жалем Остап, — чому-ж не пани нам одробляють, а ми панам?

Усі засьміяли ся.

— Бач, чого схотів! Ну, сього не діждеш!

— От! не діждеш!... Може й до сього доживемо!...

— Ні вже, мабуть! — промовив зітхнувши дядько Хведір і вдавсь до Марка: — От, як-би ви що-празника ходили до нас читати отакі гарні книжки — от-би добре було!

— Аби слухали, а то я радий буду читати, — сказав Марко.

— Та слухати будемо!... А чи нема у вас часом ще якої книжечки дати міні прочитати? Чи нема у вас книжки про Будду — отсе мудрий чоловік був!

— А ви де взнали про його? — спитався дивуючись Марко.

— Та книжку-ж про Індійців читав, так там і про його, —

одмовив дядько Хведір. — Тільки там про його мало, а хотілось-би до краю довідатись про його.

— Ні, нема! — сказав Марко і подумав: коли то така книжка буде по нашому, по українському?

— І про Юлія Цезара нема? То, кажуть, вояка добрий був — от-би про його прочитати!

Марко тільки дивувався, слухаючи дядька Хведора — так його вражали ті речі у мужичих устах; а дядько Хведір, трохи подумавши, несміливо додав:

— А про Запорожців пишуть що по книжках? От-би прочитати!...

— Пишуть! пишуть! — зрадів Марко, що дядько Хведір напав на таке, чим він його може вдовольнити. — Я вам дам прочитати і тут прочитаю.

Ще довго балакав Марко з селянами і міг помітити багато дечого нового йому. Але що найбільше його здивувало, так се те, що слухачі назвали мову, котрою писано книжку, полтавською.

— Це, — кажуть, — по полтавському писано.

Спершу Марко не міг зрозуміти сього, але потроху виявилось, що дрібні одніи в мові, такі, як ходіть, замість ходити, що замість що, лучче замість краще, котрі вживано в цій місцевості, примусили слухачів назвати Левіцького мову полтавською. Навіть дядько Хведір, що знав хоч трохи про українську старовину, і той теж казав. Це трохи отруїло Маркову втіху, що почував він, вперше так близько ставши до народу, котрого він не знав, але хотів знати. І він сумно думав:

— Як страшно все забуто, коли степовик не вважа за свого полтавця! Ой роботи, роботи, роботи тут безліч! Багато щирих та дужих сил треба, щоб прокинути зо сну цей народ! І як його прокинеш? Освіта, тільки освіта могла-б тут що зробити! Але-ж руки нам звязано.... Нехай! хоч і звязано, а поки є хоч маленька змога, — мусимо робити!

І Марко згадав, що він уже третій день не брався за роботу — писання популярної книжки — і почервонів. Він того дня декільки годин уряд не одривався од роботи.

З того часу Марко що-неділі та що-свята ходив у Корнієву хату читати книжки. Він прочитав Квітчину Марусю, Гоголевого Тараса Бульбу в українському перекладі, дещо

з Шевченка, з Левіцького, і бачив, як залюбки слухають його селяне, як вони зовсім звикли до „полтавської“ мови; як цікаво й сумно й радісно за одним заходом слухали вони про свою старовину. Захожувавсь Марко читати й популярні брошури про господарство, але на їх люде спали, або іронізували: вони не могли собі уявити, щоб пан, що пише книжки, знав про господарство більш, ніж вони, одвічні господарі. Марко помітив також, що поки він балакав з людьми про рідну історію, про науку — всі його слухали цікаво і няли йому віри; але якось він забалакав про застарілі способи селянського господарства і його не слухали, або — як Остап — дуже тонко іронізували з його. За те-ж на ґрунті суто просвітному Марко знаходив таких цікавих та прихильних слухачів, що в його в душі прокидалось могутнє бажання — віддати себе всього тій діяльності, діяльності провідника культури у народ. Йому уявляли ся десятки, сотні людей, що віддають себе тій справі, пишуть книжки для народу, проводять їх на село або й самі живуть серед народу, знайомлють його з літературою, з театром... Роспалена фантазія не мала впину і малювала йому високу народню культуру, таку високу, як колись була у Греків... І він обіцявсь віддати себе цій діяльності.

А потім інше починало уявляти ся йому. Починало згадувати ся те, що він побачив тепер у народі. Він побачив виразно, що народ та інтелігенція — два ворожі табори в його ріднім краю. Пан так довго панував над мужиком, так довго силкувавсь одрізнити ся од його усякими способами, що як те панування минуло ся, як не стало папа й мужика, а стали інтелігенція та народ, то сей народ не кинув бачити в інтелігенції пана, ворога. І той погляд, що мав народ на обмоскаленого довгим рядом історичних обставин очортілого мужикови пана, переносив він і на всякого інтелігента, хоча-б він, як Марко, і не одрізвивсь од народу мовою.

Еге, на Україні було два ворожі табори — мужик та пан. Вони воювались. А воюючись вони, звісно, ніколи не няли віри один одному. Пани Городицькі казали:

— Мужик спить і дивить ся, як-би пана одурити.

Мужики з свого боку говорили:

— Пана — аби жити з нашої праці.

І те, й те була помилка; але і в тому, і в тому була частина правди. Мужик зовсім не дививсь і сплючи, як-би оду-

рити пана. Але він звик дивити ся на пана, як на ворога, і не вважав за гріх, як що трапляла ся змога й потреба, скористувати ся з панської недбалости або невміння хазайнувати або ймовірности, котру вважав за необачність панську. Що-ж до потреби, то мусіла вона з'являтися часто, бо хоча пан і не мав думки жити все з мужичої праці, але-ж так користувався з своєї заможности, з тисяч десятин землі, котрі мав він і не мав мужик, що мужикови доводилось часто й густо скрутно. Пан, — до котрого народ лічив не тільки усіх справжніх панів, а також і новонароджених, звичайно дуже лютих до народу, — спокійно побільшував плату за землю, що наймали в його селяне, за товар, котрий вони пасли на його пастівниках, не маючи власних, і не хотів розуміти, що зробивши плату такою, що мужик не міг її виплатити, він саме тим примушував мужика знаходити усякі виходи з такого скрутного становища. Вихід був завжди один — одурити пана і, віддавши більш, ніж треба, за пастівник, пасти ту частину товару, що, з-за побільшеної плати, не сила була віддати її до пана, — в ночи на панському хлібови або на сіножати і т. і. І так тягла ся борня, і вороги не були чесні один до одного і були роздратовані навзаєм тією нечесністю. І коли мужика можна було обвинувачувати за те, що він у кожному, навіть найприхильнішому, панському вчинкови бачив схований ворожий замір, та й пан так саме був не зовсім правий, вважаючи мужика свинею, нижчою расою, або що. І коли мужика можна було обвинувачувати за те, що проміж його вироблювались люде, що неначе становили своєю спеціальною метою користувати ся з панського добра, то й про пана так саме можна було сказати, що він часом був жорстокий до мужика... Була борня, давня борня, початок котрої ховав ся ще в прастарих часах, і ся борня впливала дуже погано на обох ворогів.

Та хоч і вороги були пан та мужик, але-ж мужик мав ще один погляд на пана. Пан панував — у старовину своїм правом, а тепер багатством, освітою. Мужик се розумів і розумів, що панувати краще, ніж бути під пануванням — і мужик силкувався лізти в пани. Хоч не сам ліз, так привайміні, вивчивши свого сина в школі, віддавав його в які писарчата або крамарчуки в місто, маючи надію, що той син вилізе „в пани“. Приклади мужик бачив і мав надію. Далі: хоч і ворог був пан, але мужик бачив, що пан розумніший, освіче-

нійший од його. І він звикав уважати мову, котрою балакають пани, та одіжу, що вони носють, за вищі, кращі мову та одіжу і переймав їх. Ось відкіля йшли ті „кохти ситцеві“ на жінках та дівчатах, ті „жакетки“ та „пальта“ на парубках; ось відкіль те називання своєї мови мужичою, а московської, що нею балакають пани, панською. Звісно, усе це переймало ся здебільшого не в самих панів, бо з самими панями близької знайомости мужик не мав, а в тих, хто стояв поміждо мужиком та паном. Се були льокаї, покоївки, куховарки, окономічні прикачки і ті, нарешті, з свого брата, що вже хоч трохи „напанілись“ — крамарі, шинкарі та глитаї. Можна зрозуміти, яке гарне було все те позичене. „Панська“ одіжа, що пошили її селянські кравці, була просто неможлива — така нечепурна, що аж гидка; „панська“ мова була ще гірша...

І вкупі з мовою, з одіжею падало й інше. Занехаювались старі звичаї, ламала ся стара мораль, відносини поміждо дівчатами та парубками зробили ся погані...

Марко згадував це все і багато дечого іншого, про що він за останній час по часті дізнавсь, по часті догадавсь, і його веселчані уяви, його мрії мусіли зникати в темряві од сієї негарної сумної дійсности. Але тоді він згадував і дещо інше. Йому уявляла ся Корнієва сестра, що (він дізнавсь од Корнія) сохла за своїм парубком; згадувавсь парубок, котрому батько не дозволив оженити ся з ким він хотів і котрий, умираючи через рік з чахітки, казав, що він умирає тим, що його розлучено, — і він мусів згожувати ся, що поруч з тими сумними з'явищами істніли й інші — такі-ж дужі, хоч і не так часто вони стрівались, як ті. Потім він згадував Корнієву сімью, дядька Хведора, Остапа, згадував їх поривання до просьвіти, їх розмови і починав розуміти, що під тією позверховною корою, котрою вкрита, на перший погляд, маса мужицтва, іде свій культурний процес, до котрого не придивилась та й не хоче придивляти ся інтелігенція. Бороти ся з темрявою, пособляти сьому культурному процесови та направляти його на користь рідному краю — ото був обовязок інтелігенції, важкий обовязок, котрий щоб додержати, треба було жертви, і жертви великої — усім своїм життям. І боячись питавсь він себе: чи стане в його сили на таку жертву?

— Але її мусить стати! — казав він сам собі зважливо,

Але на його шляху стояло ще одно, про що він перш якось ніколи не думав, чого не мав зовсім на бачности. Се нове, несподіване — була дівчина, що стрілась йому на його життєвій дорозі, стрілась та й причарувала його своїми очима, огню повними, своїм розумом, своєю гордою вдачею, з-за котрої він добачав щиру ласкаву душу. Причарувала вона його, та й не знав він, що має тепер чинити.

— Чи маю я право на власне щастя? — думав він, і йому здавало ся, що він не має сього права. Але далі інший голос інше починав йому казати:

— Чом-же ні? Я не віддамсь увесь власному щастю, власному життю. Я робитиму з усієї сили; але на те, щоб я міг робити, мушу я мати хоч трохи щастя — інакше людина не здолає робити. Ні, я маю право на власне щастя!

— Але-ж ти казав про жертву!... — знов доводив той таки неблаганий суворий голос, і Марко не знав, що на се сказати. Жертва і власне щастя — се дві речі, котрі, як йому здавало ся, не могла одна з однією погодити ся. Де жертва, там нема власного щастя, а коли так...

А коли так, то він мусить облишити усї оті мрії, забути, як блищать ті очи... Але тільки здумував він про се, як зараз-же ті очи ще яснійше зоріли йому просто в серце, а Марко виразно чув, що йому не сила їх забути.

— Але що-ж робити? що робити? — питавсь він сам себе, і одмови не було.

VI.

Теплого вечора в неділю вертавсь Марко до дому з читання у Корнієвій хаті. Читання вийшло сьгодні особливо гарне, Марко почув багато цікавого і багато такого, що надало його душі впокій та тиху впевненість, що його ідея переважить. Потім він був у учителя. Той прочитав книжки, що брав у Марка, і надзвичайно зацікавлений палко роспитувавсь про український національний рух. Марко бачив, що з його буде щирий патріот і це друге щасливе вражіння побільшувало втіху од першого. І він ішов, широко вдихуючи в себе сьвіже вечірнє повітря, почувуючись на дуже невтомлену силу. Він пройшов поміж деревами поїд скелею, перейшов через місток і уступив у панський сад. Місяць уже підбивсь угору і обливав срібним сьвітом посипану білим піском стежку, вер-

хвія дерев та краї віт. Марко почув розмову в панському саду і догадався, що се пани пішли у прохідку. Йому не схотіло ся стрівати ся з їми, і він, обминувши квітник, од которого чулись голоси, перейшов просто на побічний ганок, на котрому звичайно пили увечері чай. Тепер там нікого не було, і широкі, складені з великого білого каміння східці ясно блищали проти місяця. Марко не поспішаючись зійшов по їх і зовсім несподівано побачив Катерину. Вона сиділа на поручатах, вся осяяна місяшним сявом. Ясна її постать виразно визначалась у рамцях темної, тільки зверху сріблястої, купи листя дикої виноградини, що звивалась вгору по обох боках її. Вона сиділа замислена, склавши руки і трохи нахиливши облпччя. Марко виразно бачив її рівний ніс, тонкі губи та чорні брови, під котрими сховалось два темних ока. Катерина сиділа, повернувши обличчям на той бік, відкіля йшов Марко, але вона була така задумана, що не чула, як він підійшов, і не бачила його. Марко зупинивсь...

І відразу він почув, яку велику силу має над їм ся дівчина. Все, що він думав досі, мов повилось у голові якимсь туманом, одійшло кудись далеко-далеко, а найсамперед стало одно: бажання бачити її, бажання бути з нею...

Вона почувала його і підвела голову. Вона побачила його очи, втуплені в неї. Вона устала з поручат. Марко мовчки зійшов на ганок.

— Доброго вечора! — тихо сказав він. Він завсїгди казав се привітання по українському, і Катерина любила його чути.

— І важ... — одмовила вона так саме тихо і знов сіла на поручата.

— Я рано прийшов до чаю... — промовив Марко, і сам не знав, на що він це сказав.

— Еге, наші ще в саду...

Розмова увірвалась. Катерина сиділа на поручатах, схиливши голову; Марко стояв біля столу, поклавши руку на стілець. Катерина чула, як у неї затріпалось у грудях серце, і зрозуміла те саме, що й Марко. Вона зрозуміла, що любить його, зрозуміла, що дола звела їх на віки, — і вона дожидала. Вона дожидала кінця, того слова, що скаже Марко, як схилить ся перед її вродою, як положить їй до ніг свою молодість, вроду, розум...

А Марко стояв і чув, як туманіє його голова...

— Неси скатерть стіл накривати!

Се кричав льокай — він зараз готуватиме тут чай. Катерина сердито встала з поручат і пішла в свою хату. Марко теж не зоставсь на ганкови і пішов геть.

Другого дня після обіду сидячи в своїй хаті, побачив Марко, як під панський рундук під'їхав Голубова повіз і сам він вискочив з його і пішов у будинок. З того часу, як скупавсь у ставку, Голубов не був тут і тепер трохи здивувало Марка, що він поспішивсь приїхати у буддень. А про те, він про його зараз-же забув за роботою.

А Голубов тим часом уже сидів з старим Городинським та з Іваном Дмитровичем і балакав то про те, то про се. Але видко було, що він має щось інше на думці. Нарешті байдужим тоном він сказав усміхаючись:

— А ось ще... Одначе ваш студент дуже червоний...

— А що-ж хіба він? — здивувався пан Городинський.

— Та я-ж вам кажу небезпечна людина, пропагатор.

— Та що се ви таке кажете?

— Факти, факти, Якове Григоровичу, давайте! — сьміючись промовив Іван Дмитрович.

— Факти? Ось! Сей пан веде тут свою „хохлацьку“ пропаганду. Він збира селян і чита їм свої „хохлацькі“ книжки про Україну, про Січ, про Гетьманів. Мета, звісно, та, щоб підбурювати народ проти уряду, ваблячи його вільним гетьманством.

— А ви не помиляєтесь, Якове Григоровичу?

— Та не помиляю ся-ж, кажу! Я недавночко найняв з вашої слободи наймита — салдат, розумний такий. Він і розказував, що тут у вас читання і що він не схотів слухати, а інші ходять. Я випадком почув сю розмову і розпитав про все.

— Погана річ! — промовив Іван Дмитрович.

— Чорт зна що таке! — скрикнув старий Городинський. — Міні, як по правді сказати, давно щось плешуть, що він там щось чита, та я не звертав на се уваги. Та в чому тут сила?

— В тому сила, — докірливо сказав Іван Дмитрович, що ся українська пропаганда суворо заборонена.

— Я радив-би вам, — почав знову Голубов, — подати зараз-же звістку хоч становому.

— Ну, се вже вибачайте! — скрикнув сердито пан Го-

родинський, — я не хочу в своїй господі до рук становому людину віддавати. Уже коли що там є, то я його піду викину з хати та й хай собі їде, куди хоче. Хоча — кат його зна, може там нічого й не було...

— А, ні! — одмовив Голубов і почав розказувати, що він випитав у свого салдата, так добре докладаючи свого, що Марко виявлявся мало-мало не динамітником.

Марко ще сидів над своїм зшитком, як почув за дверима молодого Городинського голос:

— Можна увійти?

— Прошу! — одмовив Марко встаючи та дивуючись тій візиті.

Іван Дмитрович увійшов урочисто та поважно. Од його постаті так і пашло канцелярською величністю.

— Вибачайте, — промовив він повагом, — що потурбував вас.

— Сідайте, будьте ласкаві! — попрохав Марко.

Іван Дмитрович сів на стільці, положивши свій панамський бриль на колінах. Марко сів проти його. Іван Дмитрович трохи посидів, спустивши очи до долу, а потім підняв їх і, дивлячись ясно та впевнено на Марка, почав:

— Власне — я не сам, а з приручення мого батька. Як що дозволите, я дам вам два-три питання і як що ви міні одмовите, то се мене цілком вдовольнить.

— Будьте такі ласкаві! — одмовив Марко і подумав: — До чого се воно? — Скажіть, будьте ласкаві, — ви зволите читати мужикам українські книжки?

І Іван Дмитрович, промовивши се, подався трохи назад головою, а його погляд ще впевненіший зробивсь.

— Еге! — кивнув головою Марко.

— І тільки українські книжки зволите читати?

— Еге! — так саме одмовив Марко.

— І ви се робили вже декільки разів?

— Еге!

— Міждо іншим ви читали книжки з української історії і навіть самі дещо розказували мужикам?

— Ви не помилились. Але-ж ви дуже цікаві і міні вже докучило одмовляти. Я хочу те-ж спитать ся: на підставі якого права ви мене про се допитуєтесь та ще й мов про яке злочинство, коли я ніколи не ховався з цим?

— На підставі права господаря дому, що́ не може дозволити, щоб у його робили ся такі речі! — сказав з олімпійською авторитетністю Іван Дмитрович. — Сієї українофільської пропаганди ні уряд, ні усяка добромисляча людина терпіти не може. І я думаю...

— Вибачайте, Іване Дмитровичу, як що я перепиню вас і скажу вам перш, що я думаю. Я-ж думаю, що ви можете далі не балакати зовсім, бо те, що ви маєте сказати, мене ні трохи не зацікавлює. І я тільки попрохав-би, щоб завтра дано міні до залізниці коней, бо, як вам відомо, іншим способом я не маю змоги добутись туди. — Я сказав усе, пане Городинський, і більш не маю нічого вам сказати.

І Марко устав з стільця. Іван Дмитрович почервонів і теж устав. Його вхопило пересердя, що сей студент розірвав усей його плян розмови, котрою думав він, виявивши всю свою величність, знищити, в нівець обернути його. А тепер сей студент нагадує йому, щоб він ішов з хати.

— Дозвольте, одначе... — почав був він, але стрівсь з таким важливим Марковим поглядом, що повернувся і пробубонівши під ніс — „А про те“ — вийшов з хати так саме велично, як і увійшов, удаючи з себе, що він не звернув уваги на Маркові слова.

— Оце так! — подумав Марко, як двері за несподіваним гостем зачинили ся. --- Не стає офіційної поліції, так єсть добровільна. Але-ж у всякому разі треба лаштуватись у дорогу.

— А Катерина? — згадав він, і в його защеміло серце. І все це піде за водою? А жертва? озвався у душі другий голос. Сама доля пособляє тобі не збочіти з шляху. Але-ж яка се страшна жертва!...

Він сів на ліжку і почав думати. Так буде краще. Він поїде і все скінчить ся. Їй се буде однаково, бо та невеличка прихильність, котру вона виявляла до його, запевне не кохання. Потім — у їх не однакові погляди на ґрунтовну річ... Еге, так краще, так краще!...

І він устав і почав швидко, похалцем складати свої папери, хоча поспішатись було нікуди: він ще мав багато часу до ранку. Він силкувався робити все гарно до ладу. Задзвонено до чаю. Марко не пішов. Через декільки часу увійшов льокай і подав коверту. В коверті Марко знайшов гроші од

пана Городинського — плата за вчителювання до кінця терміну. Марко одлічив собі грошей, скільки припадало по сей день, і одіслав останні назад. Льокай пішов.

Проминуло ще з пів години — Марко вже зовсім зібравсь і тількиоставив собі книжку — читати на дорогу. Одчинили ся двері, і в хату увійшов хлопець-поштар, що вонув листи з стації. Він приніс Маркови два листи. Марко глянув і побачив, що один з їх був не з почти. Зачинивши двері за поштарем, він розірвав той лист і прочитав:

„Сьогодні в 12 годин під скелею коло криниці. К.“

Марко прочитав лист удруге, втретє. Ось коли надходив край. Од того, як він одмовить на сей лист, залежало все його життя на далі.

Тепер уже не можна було казати, що вона його не любить: Марко міг бути певний, що лист був свідком нічого іншого, тільки кохання.

Перш він міг порвати все. Тоді він був сам. Тепер було інакше. Кохана дівчина кликала його. Чи міг він зробити тепер те, що зробив-би тоді? Чи мав на се право навіть?

Як-же поєднати з цим його бажання віддати своє життя в жертву рідному краю? Одно стає на дорозі другому.

На столі лежав том картагенської історії. Марко не читав його давно, аж з того часу, як він читав його після розмови в саду з Катериною. Тепер він оставив його читати, як їхатиме.

Том лежав на столі перед очима в Марка. Він уздрів його і згадав, що це книга про картагенську історію. І як згадав це, то згадав усе те, що він тоді читав, згадав зруйнування Картагену і згадав жінку Гасдрубалову і свій сон.

І він згадав Катеринині очі і йому ї тепер здало ся, що вона зможе бути такою Картагенкою, як що скаже.

Вона зможе віддати ся в жертву так саме, як і він. І хіба-ж вони не можуть зробити сього вкупі?

Марко знайшов одмову, котра вдовольнила його на сей час. Він вийде до неї і знає, що скаже.

Лист той справді був од Катерини. Увійшовши через кілька часу після того, як Іван Дмитрович прийшов од Марка, вона почула про все, що сталось. Вона не промовила ні слова, але Голубов їй здавсь таким гідким, що вона зараз-же пішла в свою хату і почала думати. Але думання було погане. Вона

тільки почувала, що любить Марка. І вона почувала, що цього вечора усе це непевне становище мусить якось одмінити ся, все це мусить скінчити ся. Але як? Чому він досі мовчить? Вона подумала се і зараз-же інша думка промайнула в неї в голові. Вона згадала сцену з Голубовим біля ставка і їй здалось, що Марко й справді міг подумати, що вона має якісь почування до Голубова. Се так натурально. І тепер оця історія. Все складаєть ся так, що може впевнити Марка, що вона, Катерина, гордує їм.

— А він гордий! — подумала вона.

— А завтра він їде і все скінчить ся. Все скінчить ся і те, що мусить виявляти ся, рішити ся — не виявить ся й не рішить ся? І те слово, що мусить сказати ся — не скажеть ся?

— Ні, воно скажеть ся! — подумала вона зважливо і вхопивши клаптик паперу, ні трохи не вагаючись, написала до Марка лист.

— Ти трохи бліда! — сказала їй мати за часм.

— Голова щось болить, — одмовила Катерина.

— У тебе руки холодні — ти хвора. Піди ляж!

Катерина не була хвора, але її була нервова пропасниця. Вона послухалась матері і пішла в свою хату.

Вона не роздягаючись лягла на ліжко погасивши свічку. З широко розплющеними очима лежала вона в темряві. Руки в'їней були холодні, як крига, за спиною пробігав мороз, а голова палала.

Вона чула, як балакали на ганкови за чайним столом. Боже мій, як вони довго сидять.

Дзвонить годинник. Тільки одинадцять! А ще-ж то аж годину ждати! Ранійше вона не могла: тільки опівночи все затихало у їх у господі.

Вона не думала про те, що мало ся бути там, куди вона піде. Вона думала про всякі інші речі. Вона почула, як дзвонить годинник і почала згадувати, як колись вона — ще малою — розбила годинник і повиламувала з його всі коліщатка. Потім вона згадала, як стара нянька злякала ся, побачивши це. Потім вона почула, як ся стара нянька, що жила й досі, щось бубонить і балака у сумежній кімнаті, де вона спить з її сестрою. І вона почала згадувати, яка нянька товста і які в неї чудші губи, як вона балака. Потім вона згадала няньчиного сина-кравця, котрий іноді п'яний заходив до матері, і їй

схотіло ся побувати в його в хаті, і подивитись, як він там живе. Потім...

Думки крутили ся, приходили й одходили без ніякого зв'язку з тим, що було у неї в душі. Іноді Катерина починала ловити себе на тому, що думала, але як тільки хотіла згадати свою думку, зараз-же забувала її.

Половина! Се половину дванадцятої продзвонило. Катерина не могла більш лежати. Вона встала, сіла біля вікна. Вона підняла темну стору (віконниць не було). Місяшний світ упав смугою в хату і осяяв частину ліжка, комоду і двері. Катерина положила на вікно свій годинник і почала на його дивитись. Три чверті дванадцятої... Без десяти дванадцять... Без п'яти... Вона встала і тихо-тихо одчинила ті двері з своєї хати, що виходили в сад. Білий од місясного світлу ганок був перед нею. Темна скеля чорніла здалека і тільки де-не-де по її перебігало місяшне проміння. Катерина зійшла з ганку, пробігла квітник і вбігла в темну алею, що тягла ся аж до містка.

Як підійшла Катерина під скелю до криниці, Марко вже дожидав її там. Вона ще тоді зобачила його постать, як він не міг її бачити за деревами. Місяшний промінь падав просто на його. Він стояв біля криниці, спершись на кам'яне цямриння. Катерина не зупиняючись перебігла край гаю і Марко вздрів перед себе її. Він випроставсь і ступнув наперед.

Вона попередила його. Зупинившись перед ім і тим примусивши його зупинитись, вона сказала :

— Я вас покликкала, бо думаю, що у нас у обох єсть дещо, що маємо ми сказати одно одному...

Вона зупинилась, дожидаючи одмови. Мить чи дві, котрі вона прождала Маркової одмови, здали ся їй нескінчено довгими. Нарешті Марко загомонів. Він балакав тихо, але кожне слово виходило з його уст виразно й твердо :

— Еге, ми маємо що сказати одно одному. Дозвольте міні сказати усе, що я думаю. Я вас кохаю і бачу, що маю не одно се щастя, а ще й друге, більше: ви даєте міні надію, що кохаєте мене. Я не вмю висловити вам те, як я вас люблю, але сподіваю ся, що вам сього й не треба і що ви й так зрозумієте, що без вас я не буду щасливий...

Голос його затремтів... В йому почуло ся пригнічене поривання. Катерина стояла непорушно і мовчки слухала. Марко казав далі :

— Але-ж людина живе не самим тільки власним персональним життям. Єсть у кожної людини сьвятиня вища од власних почувань, од власного щастя. Такою сьвятинєю ставсь міні мій рідний край, моя Україна. Я присягавсь присьвятити їй своє життя. І та людина, котру я кохаю і котру я благавби з'єднати своє життя з моїм, — повинна іти зо мною до одної мети.

Голос його тепер не тремтів. Він зробивсь тихий, але в йому чула ся сила глибокою, по вік непорушного пересьвідчення. Він скінчив і тепер він ждав одмови, але її не було. Катерина мовчала. Марко забалакав знову:

— Я знаю, що я не вартий того щастя, котре ви хочете міні дати. Я знаю, як я мало даю і як багато беру. Але-ж...

— Але-ж, здаєть ся, хтось з нас помилив ся, Марку Петровичу! — перепинила його відразу Катерина, і її голос задзвенів неприязно та гордо. — Або може ми обоє помилили ся. Ви сказали, що берете... Ви нічого не берете, Марку Петровичу. Я скажу правду, не сховаюсь. Я прийшла сюди, щоб сказати вам, що я вас люблю, щоб і од вас теж почути. Але такої одмови я не бажаю. На умовах я свого кохання не віддаю.

Вона повернула ся і хотіла йти. Невимовний жаль стиснув Маркови серце.

— Люба моя! — скрикнув він і вхопив її за руку.

— Не сьмійте мене займать! І яке ви маєте право так казать! — скрикнула зло Катерина, вихоплюючи руку. — На умовах! У вас і тут... Боже мій!... — і вона скрикнула і побігла геть.

Ту-ж мить Марко став їй на дорозі.

— В імя того почування, котре обох нас привело сюди, я благаю вас вислухати мене! — заговорив він палко. — На що ви кажете такі слова? Ніяких умов я не становлю і не маю на се права. Я кажу тільки про свою обітницю, я кажу, що я тоді тільки можу віддати частину свого життя персональному щастю, коли се щастя не йтиме проти тієї ідеї, котра керує тим життям. І як-би ви хоч на хвилину увірували в цю сьвятиню, то...

— Ніколи! — скрикнула Катерина і одхиливши рукою Марка кинулась геть і ту-ж мить зникла проміж деревами.

Марко не рушив з місця. Він сподівався сього, хоча не хотів думати, що так може бути. Але інакше зробити, інакше балакати він не міг. Він довго стояв на одному місці не порушно і в його не було думки побігти за нею, наздогнати її, ще вяснити їй. Він знав, що це не пособить і не рушив з місця, хоч і почував, як щось мов упало у його в грудях...

Він тихо пішов відділь... Який безум! Невже він міг сподівати ся свого власного щастя? Як щастя може погодити ся з жертвою? В його була думка з'єднати нез'єдане ніколи і він помилив ся. Як він міг думати, що він не помилить ся?

Він прийшов у свою хату і сів біля одчиненого вікна. Голова в його робила з усієї сили. Розум чув, що він переважив, що почування обов'язку, повинности подужало. І думка робила, як ніколи. В Марковій голові спокійно, як здавало ся йому, вкладали ся ті думки одна за одною, правильно, систематично. Це були думки про рідний край, про повинність перед їм.

Так минула ніч...

Марко бачив, як мерхли одна по одній зорі перед світом, як потім ранішній туман повив сад, повив скелю, обложив усе навкруги. Потім він побачив, як соняшний промінь визирнув з-за краю балки і стрельнув у туман, а за їм другий, третій. І Марко подумав:

— Мій промінь уже не засвітить...

Але природа мов сьміяла ся з його горя. Огняною могутною кулею зійшло сонце, розбило тумани, осяяло землю і земля озвалася усіма голосами — шелестом гайовим, шумінням вітровим, сьбівом пташиним, плеском водяним — земля ожила. А проміння горіло ясно, гордо і сипало світло та тепло на всю землю.

— Коні готові! — почув Марко за собою голос.

Марко мовчки узяв чемодан, надів бриль і вийшов з хати. Коні нетерпляче пирхали перед ганком. Він сів у екіпаж. Коні рушили і вивезли його з двору, де все ще спало. Швидко перебігли слободу, виїхали в степ. Марко не зауважав добре, що навкруги його було — і жита, і трави, і косарі, і сонце, і шлях все це якось невіразно крутилось круг його. За те виразно він почував, що все це живе, що у всьому цьому могутне життя широко розливаєть ся і що сонце сьвітить так ясно, так весело...

— А моє зайшло... — крутило ся в його в голові і в його немов а'вляло ся пересердя на це золоте, веселе проміння, щó льючись з високого неба живило собою всю землю.

Екіпаж під'їхав до стації. Марко увійшов у неї. Було ще трохи рано. Марко почав ходити по невеличкій хаті, далі зупинивсь перед списком поїздів і уважно прочитав його з початку й до краю декільки разів. Потім він перейшов до других друкованих та писаних папірців, щó почепляно було на сій-же стіні. Він прочитав скільки і які на цій стації меблів і щó міністер доріг забороняє курити... Потім він підійшов до вікна і побачив, щó сонце сяло ще ясвійше, ще дужче, і в його тепер уже не було ніякого пересердя і йому було байдуже, чи воно сьвітить, чи ні. Потім йому схотіло ся, щоб швидче прийшов поїзд, бо докучило стояти біля вікна; але поїзд не їхав, і він стояв, думаючи про те, чи давно хварбовано штахетки у стаційному палісадничку і чи не краще було-б похварбувати їх не зеленою, а жовтою хварбою. Далі він почув, як кликано брати білети, і зрозумів, щó не кличуть його, бо більш пасажирів не було, і пішов узяти білет і почув, як під'їхав поїзд. Він сам уніс свій чемодан у вагон третьої класи затого зовсім порожній, бо в йому сиділо тільки троє, а хто саме — Марко не розібрав. Він сів у тому кутку, де не було зовсім людей. Ще кілька хвилин і поїзд рушив. Марко став біля вікна і поглянув на стацію. Він хотів щось подумати про цю стацію, але відразу, зовсім несподівано, слъози підступили йому до горла і Марко заривав гірко, тяжко, припавши розпаленою головою до холодного скла, зрсокуючи його своїми пекучими слізмами...

VII.

— От'якої ще! — відкіля ти взявсь? — вирячив на Марка очи Семен Лісовський, як той, приїхавши вранці-рано з двірця залізниці, ступ з його ковдру й збудив.

Він ускочив з ліжка, обнявсь і поцілувавсь тричі з Марком, все кажучи:

— Та кажи-ж, щó це? На деякий час, чи зовсім?

— Зовсім, — одмовив Марко.

— Чого так?

— Спершу одягнись та вмийсь та й я вмийю ся, а тоді балакатимем, — сказав Марко, повеселійшавши с'д веселого Семенового обличчя.

— І то не погана річ, — одмовив Семен, — і вони оба почали доводити себе до ладу — Семен після снання, а Марко — після безсонної ночі у вагоні.

— Марто! становить самовар та швидче! — крикнув Семен у коритар до покоївки.

Через якої пів години самовар уже кипів на столі, а біля столу сиділи за чаєм Марко з Семеном.

— Ну, кажи-ж тепер, що там таке? — питався Семен, втупивши в Марка свої ясні-ясні голубі очи, що весело сяли з під рівних брів на світ Божий, роблючи завсїгди веселим Семенове молоде та безвусе обличчя з цілою копицею русого мягкого волосся на голові. Марко, з його сумним обличчям, з поважними очима, з невеличкими темними вусами над тонкими губами, здавався поруч із своїм товаришом старійшим, ніж був справді.

— Ну, кажи-ж, кажи, — чого приїхав?

— Того, Семене, що... як-би його краще сказати — попрохали виїхати.

— Йо?

— І не — йо, а так саме воно й є!

— Та чого-ж се так?

Марко росповідав про все. Семен тільки слухав та головою хитав.

— Ну, хто-ж тобі велів так робити? — нарешті сказав він.

— Як?

— Не треба було їм заздалегідь виявляти, що ти таке є.

— А я думаю зовсім навпаки. Годі вже нам ховати ся. То „страха ради юдейська“, а то й просто соромлючись своєї національності, не насмілюємося ми часто й густо казати, що ми таке є, — все ховаємося і тим примушуємо думати, що нас зовсім нема.

— Коли-ж нас ганяють, як зайців! — перепинив Семен.

— Правда! Але-ж тим нас і ганяють, що ми зайці. А ну лиш будемо ще чим іншим!

— Вовками?

— Нам не гріх на деякий час побути й вовками... Ну, та про се іншим разом! А тепер найцікавіше міні, як у вас стоїть справа з нашим товариством? Як у вас тут ведеться?

— Як ведеться? — перепитався Семен і якомсь скри-

вив обличчя, а очі дивились хитро й глузливо з під вій. — Побачиш сам! Ось завтра мусимо зійти ся слухати першу книжку до видання, — рішати, чи варто на неї гроші тратити. І запевне не варто, бо книжку написано чорт-зна по-якому. Так книжок писати не можна. Ніхто так погано книжок не пише.

— З усього того, що ти кажеш, видко, як що я не помиляю ся, що книжка — твоя? — сказав усміхаючись Марко.

— Ти не помиляєш ся! — одмовив тим таки комічно-смутним тоном Семен. Ти, на превеликий жаль, не помиляєш ся ані трохи. Книжку ту написало оце одоробло, що сидить тепер перед тобою. Книжка ся — оповідання, оповідання для народу. Але ніколи народ в світі не буде її читати, бо таких книжок ніхто ніколи не чита.

— Та буде вже тобі скимліти! — засьміявсь Марко. — Роскажи хоч, що ти тут робив?

— Що я робив? Цікаве питання! Проживав ті гроші, що висилав міні мій дядько-опікун.

— А як тих грошей не стало? — спитавсь Марко, бо знав, що якась земелька, з котрої опікун содержував Семена і його сестру-сироту, що вчила ся в гімназії, була невелика, і Семенови висилано гроші скупю.

— Ох, ти не помиливсь, що їх не стало!... Тоді я мусів узяти лекцію і оце тепер бігаю на неї що-дня вранці.

— А далі що?

— А далі нічого, бо я й справді зараз піду на ту лекцію, а ти спи!

— Мабуть не заснешь ся після чаю.

— Про мене! — одмовив Семен і хотів іти з хати, але зупинивсь.

— От я дурна тетеря, та й ти не кращий! — скрикнув він на Марка. — А чом-же ти не кажеш, що тобі нічим буде жити?

— Та в мене є зароблених тридцять рублів — я не тратив.

— Ну, ті потратиш і потім... А тепер треба нових грошей. Ти щасливий, бо гроші самі вже стрибають тобі до рук.

— Як то?

— А так, що один знайомий чоловігга кликав мене вчити свого сина. А я не хочу, бо міні й однієї лекції буде. Сю-

годні я мусів зайти до його і сказати, що не хочу. Ergo, — бери бриля та йди зо мною і будеш мати діло з Самсоном Павловичем Ловченком та з його сином гімназіястом.

— Се добре! Але чи не дуриш ти мене, Семене? Може ти взяв-би цю лекцію сам, а тільки поступаєшся міні? Ти знаєш, що це вже було одного разу.

— Хомо невірний! глянь на сей папірець — в йому написано те, що я казав, — я мав-би його віддати, як-би Ловченка не було дома.

Ловченко жив недалеко і Семен швидко погодив з ним Марка. Тоді Семен пішов на свою лекцію, а Марко на місто, бо на лекції до гімназіяста треба було ходити увечері. Найсамперед він побіг по книгарнях подивити ся, чи нема яких новин літературних. Він перекопав усе, що було, і знайшов нового тільки два погані водевілі, котрі прочитавши довго потім плював. Забіг і до бібліотеки почитати нових часописів; забіг до одного товариша і на обід вернувся до дому. Семен уже був дома.

— Де ти так довго блукав? їсти хочеть ся, аж шкура болить! — скрикнув він.

— Здоровкав ся в містом, — одмовив Марко.

— А це що? — згукнув Семен і аж під ніс підставив Маркові новеньку українську брошуру, що ще пахла друкарською хварбою.

— Се де ти взяв? — спитавсь Марко, розгортаючи брошурку.

— Де! се нашого гурта перше видання, — тільки-тільки оце видруковано, — так один примірник узяв з друкарні.

— Та ти-ж казав, що першу книжку тільки читатимуть завтра!

— А, який ти нерозумний! Як ти не можеш зрозуміти, що я автор тієї книжки, що завтра читатимуть, що се моя перша книжка — чи міг-же я, кажучи про неї, пам'ятати про ту, що була попередю? Та й нарешті я сюрпрізу тобі хотів зробити і навіть не писав нічого про се.

— За сюрпрізу дякую та ще до того й книжка на погляд міні подобаєть ся. Чому безавторня?

— Вчитель писав — боїть ся. — І Семен сказав прізвище і додав: — Але ти подумай тільки про те, що се перша

праця нашим коштом і, як що Бог дасть, то сих праць буде багато, багато, багато!

— А я й досі грошей за себе не заплатив до товариства! — схаменувсь Марко.

— Коли оглядівсь! Я за тебе вже заплатив давно. Хоча...

— Що: хоча? — спитавсь Марко, дивлячись Семенови у блакитні очи, котрі сипали веселі іскри.

— Та ваш братчик-член — непевні все люде. Треба було-б уперед з тебе квиток.

— Се вже практика довела тобі членську непевність? — засьміявсь Марко.

— А то-ж ні? — перепитавсь Семен і, комічно зітхнувши, додав:

— Ох, довела!

— Як?

— Як тільки врадили товариство скласти, то того-ж дня всі дали свою вкладку. Але другого місяця вже двоє — їх-же імена, Господи, да незабвені будуть на страшному суді, — не дало — обіцяли ся потім, та й досі не чуть нічого, хоча вже половину нового місяця минуло мабуть, ніяк не злічать.

— Віддадуть!

— Віддадуть! — тяг своє Семен. — Ваш братчик-член тільки й зна виляти...

— Одначе, — засьміявсь Марко, — не дурно Тапчанський казав про тебе, що ти па те клопочеш ся про товариство, щоб головою в йому бути. Ти ще й не головою, ще й товариства до пуття нема, а вже починаєш забалакувати добре.

— Стривайте, дайте міні тільки попоїсти, то я ще й не так забалакаю, а то я тепер охляв. — Марто! Марто! — загукав він, — та давайте їсти, бо помремо з голоду!

— А міні що до того! — озвала ся з сіней Марта.

— Як то — що до того? Ви-ж будете винні, бо через вас-же помремо! Вас тоді па Сібір зашлють.

— Оце міні лихо з вами! — сьміялась моторна молодиця Марта, несучи на стіл страву та весело поглядаючи на Семена, — треба вже чогось вам дати їсти.

— Не чогось, а багато! Давайте, давайте лишень, що там наготували ви сьогодні з своєю господинею! — скрикнув Семен і зараз-же заходивсь коло борщу. Але виївши кілька ложок, він кинув його і почав пильно придивляти ся до Марка.

— Чого ти так на мене дивиш ся? — спитав ся той.

— А ось чого?... здасть ся міні, що ти не такий веселий, як звичайно. Невже тобі так шкода того, що ти поїхав з села?

Маркови справді було сумно; але чого сумно — він не мав сили сказати Семенову. Досі вони жили з Семеном щирими товаришами, не ховаючи один од одного ні думок, ні грошей. Але тепер у Марка було таке на серці, що він не зважувавсь розповідати про його нікому. Він положивши свою руку на Семенову і, дивлячись йому в вічі, щиро сказав:

— Слухай, друже, — ти не помиливсь і твоє щире серце зараз вгадало, що міні невесело. Міні трапилось нещастя. Але чи розумієш ти, що єсть такі речі, що про їх несила балакати, принаймні зараз?

— І твоя річ така?

— І моя річ така. Казати про неї я не можу і не знаю, чи скажу коли. Можу тільки сказати, що ні на наші відносини, ні на наші ідеї ся річ не матиме жадного впливу. Розумієш ти мене, друже? Не обвинувачуєш ти мене, що я не кажу?

— Ах ти дурне, дурне! — промовив Семен, хитаючи головою та з любовю дивлячись на Марка своїми добрими очима. — А що-ж, хиба краще було-б, як-би ти одбріхувавсь та сказав, що нема нічого? Та міні хочеть ся поцілувати тебе за щирість і я зробив-би се, як-би мої губи не були в борщі!

Другого дня над вечір Марко з Семеном лагодили ся йти до старого Овсієнка, у котрого повинні були зійти ся й інші земляки, щоб переслухати Семенову книжку.

— А знаєш що? — озвався Семен, виходячи на вулицю, — зайдімо ми по Шклярєнка, міні хотіло ся-б прилучити його до нашого гурту.

— Якого се Шклярєнка? — спитавсь Марко. — Того, що етнографічні матеріяли колись друкував?

— Та до його-ж. Він тут живе, і я оце недавно з ним познайомивсь. Цікава людина. Ти знаєш, він, скінчивши гімназію, не пішов до університету, а пішов у учителі на село, бо учителів-українолюбців на селах затого нема і справа не дождатиме, поки він скінчить університета. Вибув він щось років дев'ять учителем, зібрав масу лінгвістичного та етнографічного матеріялу, друкував його, хоча з своїм імям дуже мало. Зрозуміло, як йому доводилось жити: і тепер у нас

школи гарні, а тоді — років п'ятнадцять назад — ще краші були. Натерпівсь він там лиха чимало, а все таки свого не покидав, — та й не покинув-би, як-би не лихо спіткало.

— Яке?

— Піп доніс, що він переклада в школі євангелію по українському. За се його зсаджено з посади і віднято право учителювати. Тоді він був десь управителем, далі знайшов тут собі службу, але-ж поліція дізналась, що він тут служить, та й турнула його, — бо це-ж небезпечно держати таку людину хоч-би й до переписування паперів, що може перекласти по українському євангелію! Тепер він знайшов собі приватну роботу і з того живе. Правда, цікава людина?

— Цікава.

— Але він ще тим цікавий, що страшенно тепер обурений проти всіх земляків.

— Чого?

— Та ось послухаєш його самого, бо оце вже ми дійшли до його. Ходім у двір!

Вони увійшли у двір і постукали в двері в невеличкому будинкові. Одчинив двері сам Шкляренко.

— Приймайте гостей, Максиме Кириловичу! — промовив до його Семен.

— Просим! — одмовив коротко Шкляренко і повів їх у свою хату.

Він наймав одну хатину, в котрій тільки було ліжко, стіл, три стільці, шафа з книжками та по стінах два-три українських малюнків та Шевченків портрет. Сам Шкляренко був у дуже простій одежі. Се був чоловік середнього зросту, але в плечох широкий — видно було фізичну силу; худе, але чимале обличчя було виразне та енергічне з молодими очима та великими темними вусами; високий, випнутий лоб нагадував про упертість.

Семен познайомив Марка з Шкляренко.

— Прошу сідати! — промовив той і в його в голосі Марко почув якусь нотку — чи то невдоволення, чи то роздратування.

— Ми оце до вас, Максиме Кириловичу, щоб ви ішли з нами, — забалакав Семен.

— Чого і куди?

— Та до Овсієнка-ж! Будуть гризти мою душу, дочку мою, мою книжку нехтувати.

— Не варто й ходити.

— Чому так?

— Тому, що однак нічого не вийде.

— З чого? З моєї книжки?

— Ат! З тих заходів!

— От-же вийшла вже одна книжка, — надрукувала ся.

— То випадком. А потім усе діло скаламутить ся.

— Та чого-ж се так?

— Та того, що всі українофіли або ледарі, або падлюки!

— А мене-ж та себе до котрих ви лічите! — спитавсь усміхаючись Семен.

— Хотів-би до перших, — озвався зовсім серіозно Шкляренко, — а про те не знаю.

— Чи не думаєте ви, Максиме Кириловичу, що ви вже через лад суворі? — спитавсь Марко.

— Через лад добрий — ви хочете сказати? Я маю підстави казати те, що я кажу. Років з двадцять п'ять товчусь я поміж земляками — бачив та знаю багато їх. І завсїгди бачив одно: справа починаєть ся широко, тягнеть ся вузко і кінчаєть ся нічим. Винятки з правила завсїгди бувають, але се правило. Гляньте ви на літературу — хто робить? Дві-три людини, а всі останні ледарничають, хоча могли-б багато і дуже багато робити; та ще се добре, а от як видавати доведеть ся та книгар часом не візьме, так пошукайте тоді видавця! Ніхто копійки не дасть, а в нас є земляки, котрі мають сотні тисяч і кричать про своє країнолюбство.

— Але-ж ви забуваєте, що ось зараз вам навіч склав ся гурток, що гроші дає й видає книжки, — одмовив Марко.

— Не забуваю! Але-ж я вам казав, як робить ся в нас діло. Так буде й з цим: почнеть ся, тягтиметь ся і скінчить ся нічим. Та ви подивіть ся на те, що ми досі не маємо навіть того, що можемо мати, не маємо виданнів творів своїх кращих письменників, не маємо своїх книжок для народу.

— Але-ж ви знаєте, що цензура забороня всяку популярно-наукову книжку.

— А чого-ж сиділи дурно тоді, як не забороняла? Чом не наготували книжок тоді? Тепер-би вони були! І може як-би

ми їх мали, то цензура й не забороняла-б нових. Чому-ж цього не було? Чому? Через ледарство, через недбальство!...

Шкляренко казав це все палко, голосно, затого кричучи, і в його тремтячому голосі чуть було злі сльози. Видко було, що людина мучилась над тими думками довго і намучилась дуже; видко було, що все це займа її душу зглибока.

Мушу признати, що тут — ваша правда! — сказав Марко.

— Не можна сього не признати, бо всякому не заслїпленому окови видко, яка наша інтелігенція. Можна назвати її українською? Довго подумаете, поки дасте їй се назвище.

— Чому-ж так?

— Чому? А ось, наприклад, оце вам як? Є тут у нас один старий чоловік. Був замолоду вчителем у гімназії, писав замолоду по українському, багато, кажуть, пропагував ідею. Тепер він уже старий і в його син пише магістерську дисертацію. І цей син не зна рідної мови, а балака тільки по російському. Чому? Тому, що щирий українолюбець, його батько, не навчив його рідної мови. Ви не можете сказати, щоб се був виняток. Ви повинні признати, що вся наша інтелігенція балака по російському, тільки закидаючи іноді по своєму, і дітей своїх змалечку вчить тільки по російському.

— Повинен.

— Не що-ж бо то й що! А подивіть ся далі — чи єсть-же хоч крапля солідарности поміж нашою інтелігенцією? Гляньте на Ляхів хоч, на Німців, на Жидів! вони дбають про те, щоб дати змогу своєму землякови вийти в люде, вбити ся в силу, щоб потім він, маючи ту силу, пособляв у спільній роботі. Вони держать ся один за одного. А в нас? Я знаю одного українського письменника — він написав небагато, але всі казали, що талановито, — він умер з голоду, бо вмер знесилвшись над тяжкою працею, котра не давала йому й стільки, щоб одягти ся та прогодувати ся. Він умер і ніхто про його й словом не озвався! А наше зрадництво падлюшне та шпиги...

— Стривайте, стривайте, Максиме Кириловичу! — озвзв ся Семен. — Сього вже не чіпайте! Зрадництво та шпиги не наш, а цілоросійський продукт.

— От-же ні! Хай він істніє і в других, але-ж і ледарство і безладдя та несолідарність, і зрадництво та доноси —

се все наші, сутовкраїнські продукти. Та гляньте ви в історію нашу! Чи багато солідарности виявляєть ся у всіх наших історичних рухах? Чи мало було в нас Барабашів? Та ні — ще Барабаш гарний — далі вже Адамовичі пішли; а далі вже не треба й Адамовичів було, бо гетьмани Брюховецькими поробили ся. Ат! та що й казать!

— Ви все звертаєте на нас самих, так, немов-би тільки ми самі й винні у всьому; ви не хочете нічого класти на утиски... — почав Марко.

— Утиски? — перепинив Шкляренко. — Що-ж про їх балакати? Утиски існують — хто-ж скаже, що ні. Але я тільки кажу от що: існують утиски. Маючи се на увазі, ми повинні були-б робити отак і отак, в десятеро побільшуючи свою щирість. А ми робимо отак і отак! От і все! Я утиски признаю, од їх починаю, завсїгди їх маю на бачности, — тим то й вимагаю од української інтелігенції більшого, ніж вона дає!

Шкляренко нервово заходив по хаті туди й сюди, кусаючи губи.

— Знаєте, — промовив він далі, трохи заспокоївшись, — оце лежу я іноді в ночі та й думаю: Господи! сотвори чудо! Бо тільки так і може що зробити ся.

— Ні, — озвався Марко, — я з вами не можу згодити ся. Усе погане, котре ви показали, є і це все правда. Але-ж не саме погане є. Є таке, що навіває на душу надії.

— Що-ж воно таке? — спитавсь Шкляренко, зупинившись та глянувши на Марка.

— Те, що не всі без Бога в серці. Єсть люде, котрі справді віддають своє життя на працю рідному краю. Я вам міг-би сказати кільки йменнів, і ви повинні будете схилити перед їми голову, бо це „сіль землі“ нашої. Їх не багато — се правда, — але коли-ж і де їх було багато? Та ще в нас при таких страшних обставинах! Але діло, що вони роблять, не вмирає і не вмире. Єсть борці і будуть такі, що боротимуть ся до загину, не поступають ся нічим! Єсть!

Марко балакав се щиро, палко. Шкляренко мовчки дививсь на його і як скінчив той, підійшов і стиснув йому руку.

— Я бажав-би, щоб ви були праві, — промовив він і в його в голосі задзвеніла якась інша, любязнійша, м'якша струна. — Міні так здаєть ся, але може я помиляю ся, бо я

багато злував... Дай Боже! дай Боже! — і він ще раз гаряче стиснув Маркови руки обома своїми руками.

Через кілька хвилин Марко з Семеном ішли в-двох до Овсієнка. Шкляренко не пішов.

— Не думай, що він не робить, — сказав Семен до замишеного Марка, — він робить і тепер і всі невеличкі свої гроші, що застають ся йому од життя, кладе або на видання якої книжки для народу, або купує українські книжки та посилає на село. Але-ж він не може робити в гурті — каже, що сам більш зробиш...

У Овсієнка було вже чимало людей, бо Марко з Семеном трохи спізнали ся за Шкляренком. Сам господар, старий Овсієнко сидів у гурті і щось казав. Се був невеличкий чоловік, старий уже — зовсім сивий. Обличчя, колись дуже чепурне, було приязне та гарне й тепер; очи бистрі, мова швидка, з притиском, — видно було, що в старого зберегло ся ще багато вогню. Він був у своїй звичайній одежі — в мундурі російського урядовця, котрим він був.

Побачивши він двох нових гостей, устав швидко, пішов назустріч і почав здоровкать ся.

— А, дуже радий! дуже радий! — задріботів він. Присимо до гурту!

— Знайомі? — спитавсь він у Марка, киваючи оком на гостей, що сиділи в хаті.

Гості всі були Маркові знайомі, окрім одного, — се був новий вчитель з гімназії, котрий тільки се літо приїхав сюди на посаду. Марка познайомили з їм — його прізвище було Бійчевський — і він дуже сподобавсь Маркови своїм щирим обличчям. Окрім його, були тут ще двоє синів Овсієнкових, студенти, що затого не сиділи в хаті, все кудись бігали, зовсім не цікавили ся справою, бо, — як знав Марко, — навіть трохи сьміяли ся з батькового українолюбства, за те Овсієнкова дочка Маруся — невеличка на зріст, але чепуренька білявенька дівчина, така-ж жвава, як і батько, хоч і соромлива, — дуже щира була до всього; вона була вчителькою на селі, а тепер в літку жила в батька; був Талчанський — низенько суха істота з глузливими злими очима та з голою обстриженою чорною головою; був Човгань — молодий професор з університету, на котрого за останній час показувано, яко на багато обіцяючи силу; був Савчевський — довга постать з апатич-

ним обличчям, багатий чоловік, що жив з тих чималих грошей, котрі що-року давали йому земля та мійські будинки, — було ще троє студентів.

— Принесли? — почали питати ся в Семена.

— Та приніс — тервайте вже душу мою! — одмовив той з комічним жалем і положив рукопис на стіл.

— Хіба ви сюди й душу положили — у ці шпарґали? — спитавсь Тапчанський.

— Ох, та й гострий-же на язик сей добродій! — засьміявсь Семен, котрий завсігди мав з Тапчанським війну словами. — То що, як положив?

— А самі тепер zostали ся без душі!

— Нема, що робить! За те ви вже нікуди не положите душі!

— Чому? — спитавсь Тапчанський, котрого зачепив той жарт.

— Тому, що ви без душі й так!

Всі зареготали ся, а Овсієнко промовив: — А ну те, люде добрі, — давайте лиш читати — що дурно час гаяти.

Всі посідали круг столу, хто на кріслах, хто на канапі. Семен розгорнув рукопис і зараз-же почав читати своє оповідання. Оповідання було не погане, в звичайному, трохи глузливому Семеновому тоні, але крізь той тон виразно видко було молоду щирість. Семен і читав щиро, не одриваючи очей од книжки. Як скінчив, то поволі підвів очи і глянув, — Маркови здало ся, що він глянув найсамперед на Марусю Овсієнкову і що та до його грішки-трішки всьміхнула ся.

Кожен мусів висловити свою думку про прочитане. Перший почав Овсієнко:

— Воно нічого, — сказав він, — та наче трохи натуралістичне, в душі Левіцького....

Старий Овсієнко мав старі погляди на літературу і йому рідко подобалось те, що виходило за межу романтизму.

— Хіба Левіцький натураліст?

— Єсть у його, є дещо таке!... От хоч-би „Бурлачка“! Чи то-ж таки так можна писати? Дівчина чорт зна чого накоїла — і се по Левіцькому — нічого? Так і повинно бути?

— Та хіба-ж Левіцький каже, що так повинно бути?

— Але він не гудить! — одмовив Овсієнко.

Счинила ся спірка, котра тягла ся досить довго, не довівши ні до чого. Овсієнко забалакав про мову:

— От і мова... Трохи шкандиба... Хто-ж таки каже за-тото? Що це таке за тото? Я не понімаю.

— Та це-ж звичайне слово — теж, що й російське почти.

— То й по нашому буде пошти.

Знов счинила ся спірка про за тото та пошти. Савчевський і собі пристав до Овсієнка.

— Я ось що маю сказати, — балакав він по російському, як і більшість з тих, хто тут був, — страшенно тягнучи слова і так вимовляючи їх, мов-би язик його що-разу прилипав у роті, і він мусів що-разу його оддирати, — ось що маю сказати: мова й міні не подобається — багато кованих слів.

— Наприклад? — спитавсь Семен.

— Ось наприклад — нарешті або годинник. Так писати не можна — мова повинна розвивати ся органічно, а такими словами ви занашаєте мову.

— Правда! — згодивсь Човгань.

І знов спірка про нарешті та про годинник, а далі й про другі слова. Студенти та Бійчевський оступали ся за Семена, а всі інші за Овсієнка. Семен крутивсь туди й сюди одмовляючи на всі закиди і нарешті скрикнув до Марка:

— Чого ти мовчиш, — кажи, що думаєш!

Марко, що досі ніяк не міг похопить ся з словом — так усі палко балакали, тепер загомонів:

— Я зовсім згожуюсь з тими, котрі кажуть, що мова повинна розвивати ся органічно, а не робити ся, не кувати ся. Але міні здається, що такі слова, як нарешті та за тото — щиро-українські і мови псувати ніяк не можуть. Слово годинник справді роблене, але — як уже тут і казано всі до його так звикли, що й забувають, що воно роблене. Та й взагалі — чи може яка мова перебути ся без роблених або позичених слів? і чи може десяток-другий незручно позичених або зроблених слів зопсувати мову?

— Як-же не може? — Подивіть ся, як пишуть Кіяне? — скрикнув Овсієнко.

— Нехай де-хто з Кіян — так саме, як і не з Кіян — і любить вживати ковані слова, — то що з того? хай собі пишуть! Що є гарного поміж їх вигадками, що звязано кривістю з українською мовою, те зостанеть ся, а що незручне, не-доладне, — саме забудеть ся й зникне.

— Але-ж ви не хочете одмовити на те, що се псує мову! — сказав Тапчанський.

— Знов кажу, що не думаю, щоб нарізні слова могли зпсувати мову. Скажу більше: міні здасть ся становище вкраїнської мови таким: два-три письменники знають її докладно; останні знають аби-як і чого не знають, там свого докладають; часом буває, що слово істніє, а вони його не знають і роблють своє нове. Але-ж, не вважаючи на се, я думаю, що цих слів дуже й дуже небагато і що коли почали в нас кричати про ковані слова, то тільки тим, що такі, здавало ся, авторитетні люде, як Костомарів, забалакали про се.

— І добре зробили! — згукнув Тапчанський.

— Зовсім недобре! Як-би це вони зробили в українській часописі, вкраїнською мовою — се було-б, може, й добре. Але вони робили се в московських виданнях, московською мовою і розповсюжували серед московської інтелігенції думки про те, що вкраїнська мова — за малим не вся кована. Поминувши вже те, що ті закиди не завсїгда були й правдиві, хоч-би й у того-ж таки Костомарова, я певний, що цього тільки й треба було усяким Алексєвямъ та Буренінимъ, щоб мати підставу галасувати про „старинцо-левицкое нарѣчіє“ та про „пѣхмскую мову“. Ва! навіть і цензори починають уже забороняти українські книжки на тій підставі, що мов в їх багато кованих слів.

— Воно таки трохи й правда... — сказав де-хто.

— І не трохи таки! — усміхнувсь Марко. А я, по правді кажучи, бачу для нашої мови небеспечність зовсім з другого боку.

— А з якого-ж?

— З того, що ми страшенно підпадаємо під вплив російської мови і не тільки в лексіці, — це ще не таке лихо, — але й в конструкції фрази.

— А що-ж зробиш, коли нас учено в російській школі, коли ми читаємо російські книжки, бо своїх нема? По неволі і звикаємо до російської мови так, що й підлягаємо її впливові! — забалакали округи.

— Се правда, але не цілком. Російська школа, російська література не може не мати на нас впливу, але-ж і ми не ворухнемо й пальцем, щоб хоч трохи паралізувати сей вплив.

— А чим-же його паралізуєш?

— Чи ми вчимо своїх дітей по українському? — одмовив Марко питанням на питання. — Чи ми самі балакаємо по українському? Ось ми тут зійшлись коло свого рідного діла, а чи всі ми по своєму балакаємо?

Декільки чоловіка почервоніло, але ніхто нічого не одмовив. Усім було ніяково, що Марко зачепив се питання. Марко бачив се, але не жалкував, що сказав, бо думав, що колись-же та треба повстати проти таких аномалій.

Молодий вчитель Бійчевський озвався перший:

— Я згожуюсь з вами, — сказав він до Марка, — але що-ж ви зробите, коли все життя, щó нас оточає, все впливає в один бік? Що-ж робити?

— Бороти ся з тим впливом, — одмовив Марко.

— Це легко сказати, та не легко зробити.

— Борня ніколи не бува легенька. Але я знов кажу, що ми й не починали цієї борні та й про те, щоб почати, не дбаємо. І ось відціль я бачу небезпечність для нашої мови, а не од нарізних, хоч-би й дуже недоладно зроблених слів. Та нарешті треба-ж дати і авторови волю вживати ті вирази, які йому здають ся кращими. Ось тут сперечались проти слова з а т о г о, суто народнього слова, котре часто стриваєть ся в етнографічних матеріалах, — хоч-би в тих-же „Записках о Южной Руси“, — і казали, що треба замість його поставити одні — пошти — а другі — сливе. Нехай і те, й те однакові українські слова, але дозвольте-ж нарешті міні вживати з їх те, яке я хочу, яке здаєть міні кращим. Сє авторське право, котрого в мене ніхто не може одняти!

Маркова оборона пособила цього разу і безщасні слова востали ся в оповіданню. Семен повеселійшав і вдався до Марусі Овсієнкової:

— А що-ж ви, Маріє Степанівно, нічого не кажете? — спитавсь він.

— Я? — промовила дівчина і почервоніла. — Міні дуже подобаєть ся все — і оповідання, і мова.

— От спасибі, що оступились! — скрикнув радісно Семен, а Маруся почервоніла ще дужче.

— А от ще правопис... — почав Овсієнко, витягаючи з кишені першу брошуру, що видано вже було на гуртові гроші. Ви, Семене Олександровичу, держали тут коректуру,

мабуть і цю держатимете, то нам треба збалакати ся за правопис.

— Та що-ж тут збалакувати ся? — одказав Семен. — Правопис відомий, — той, котрого цензура вимага — іншим не надрукуєш.

— А ні! — промовив Овсієнко, — ось ви, наприклад, пишете *береця*. *ведеця*, а хиба-ж воно так можна? Треба писати *тця*, щоб видко було, що воно; а то ми своєю фонетикою так зопсуємо мову, що через десять років нас не розумітимуть.

І знов почала ся спірка, вже: за правопис: молодші стояли за фонетику та за *ця*, а старі біпир тому ставали.

— Та міні здасть ся, — сказав Марко, — що се не така важлива річ — чи *тця*, чи *ця*. Я, наприклад, маючи на увазі читачів по селах, писав-би *ця*; але як що буде й *тця*, то книжка з того не споганійша.

— Ні, так не можна! — одмовлено йому. — Треба щось одно встановити, а то в цьому питанню у нас такий гармідер та нелад, що скільки книжок, стільки й правописів.

— Нехай сьому й правда! — одказав Марко, — але хто-ж сьому винен? Нехай кожен не держить ся за свою думку про яке там *ця* чи *тця* так, як ренях кожуха, то й не буде сього. А держати ся нема чого, бо се річ не така важлива, щоб про неї й балакати.

— Як-же не важлива річ — встановити правопис!?

— Та хиба-ж ми встановляємо правопис? Як-би ми були парламентом або академією наук, котрих постанови могли-б мати загальну силу, тоді-б ми встановляли правопис. А ми можемо встановити його тільки в тих двох-трьох книжках, що самі видаємо. Та й що встановити? Його вже давно без нас цензура встановила, а нам кинула тільки *тця* — змагайтесь, мов, коли хочете, а міні се вже однаково.

— Так дивити ся на діло, се значить — не поважати свою мову? — скрикнув Тапчанський.

— Вибачайте, — одмовив Марко, — а чим може людина довести, що вона поважа свою мову?

— Як — чим? — Поважним поглядом на неї!

— От-же ні! Роботою на цій мові! — одказав сно-кійно Марко.

Тапчанський мусів змовкнути, бо й рядка мабуть ніколи не написав по українському.

А тимчасом спірка починала робити ся надто горячою. Здавало ся, що рішало ся питання од котрого залежить доля усієї України. Бачучи господар, що гості вже гризуть ся, поспішивсь зупинити:

— А годі, люде добрі, про се, бо нехай уже буде так, як я кажу!

— Чому-ж се так? — задержувато спитавсь один студент; але другі, котрим докучила спірка, зупинили його і поступились Овсїєнкови, яко найстарійшому з усіх.

— А що то ми будемо ще видавати? — спитавсь Бійчевський.

Усі мовчали. Ні в кого не було нічого зробленого. Бачучи, що всі мовчать, Марко озвався:

— У мене виготовано кілька брошур для народнього читання і, як що дозволите, то я принесу їх.

— Добре! — сказав господар. — А коли-ж?

Постановили, що в ту неділю і пішли до вечері, до котрої покликав їх господар. За вечерою містили ся по козацькому, дехто сїв. Семен опинивсь біля Марусі Овсїєнкової і увесь час любенько з нею балакав.

— Нема ладу! — промовив Марко, ідучи з Семеном до дому по порожних, ледві осьвічуваних газовими ліхтарями вулицях.

— Де? — спитавсь той.

— У нашому товаристві. Коже питання виклика спірки. Про що не почни балакати, не знайдеш нічого, на що всі мали-б однаковий погляд.

Семен мовчав і Марко забалакав далі:

— Воно не дуже й дивно, як роздумаєш ся. Української інтелігенції нема, істніють тільки українські інтелігенти. Кожен з їх виробляв свої погляди самостайно, як що здатний був на те, або підлягав чієму впливови, а загального цілогромадського тону, впливу не було й нема. Тим-то кожен і різнить поглядами з іншими, тим-то кожен за ті погляди й держить ся так, бо як він їх здобув сам, то вони здають ся йому і дуже дорогими і цілком непогрішними...

— Еге... — мугикнув Семен.

— Ніякого гуртового діла робити не можна, коли не

можна погодити ся поглядами. Шкляренко каже, що кожен му-
сить робити нарізно і що так більш зробиш — так, здаєть ся,
він каже, Семене?

— Еге... та про що ти кажеш?

— А про що ти думаєш? Я кажу про Шкляренків „ін-
дивідуалізм“. Сей Шкляренко мене зацікавлює. Він щира лю-
дина, але ненормальна. Він саме й є найтипичніший продукт
нашої української розрізнености, несолідарности. Тим у його
й такий погляд на гуртову роботу, але...

— А як тобі подобаєть ся Овсієнкова дочка? — зне-
нацька перепинив Марко Семен.

Марко дивуючись глянув на Семена і невдоволений спи-
тавсь :

— А на що тобі Овсієнкову дочку?

— Правда, — гарна дівчина?

— Гарна... Але-ж я тобі не доказав. Я думаю...

— До того ще й розумна! — перепинив Семен.

— Хто?

— Та Маруся-ж Овсієнкова!

Вони йшли проз ліхтар. Марко ухопив Семена за плечі
і поставив його проти сьвітла. Він глянув йому в обличчя
і побачив, що воно сяло щастям. Марко весело засьміявсь.

— А я й не туди-то, дурний! Коли балакати серіозно,
то вона гарна дівчина, щира — міні подобаєть ся.

— Справді? — радісно спитавсь Семен. — Ходім!

Вони пішли знов од ліхтаря в темряву і Семен сказав :

— Ну, ти вже мабуть догадавсь?

— Про що? — лукаво спитавсь Марко.

— Я її свататиму!

— Добре зробиш. Ви-ж уже скінчили діло? Се-б-то:
проміж себе? Балакали?

— Уже! У нас така постанова: через рік я кінчаю
курса, одержую посаду і тоді ми побережось.

— А старий-же?

— О, ми з старим приятелі! Правда, він з грошиками,
а я голодранець, але-ж він не така людина, щоб став на пер-
ешкодї, — одмовив Семен, беручись за клямку од своїх две-
рей і увіходячи в хату. Марко увійшов за ім.

Проминув місяць. Марко вже скінчив всю справу з екза-
менами і тепер тільки дожидавсь, поки настановлять його вчи-

телем у гімназію — се вже йому було обіцяно. Семен мусів ще на рік зоставати ся в університеті, бо був на медичному факультеті. Нарешті з'явивсь і папір про гімназіального вчителя — Марка настановлено вчителем грецької та латинської мови в гімназії, в тому-ж таки місті, де й був він. Річ, котрої мусів учити Марко, була не дуже весела, але Марко волів узяти її, ніж вияснити школярам краси російської історії або мови. За цей-же місяць Марко прочитав у товаристві пять своїх брошур, але тільки дві згодились видати — останні три — збірники народних казок, пісень та дум, що зредагував Марко дві для дитячого та одну для народнього читання, здали ся товариству неважливими. Марко довго обороняв їх, але оборонити не міг. Дехто сказав:

— Нема ніякої рації годувати народ казочками та оговіданнячками. Народови треба науки.

— Але що-ж ви зробите, коли цензура науки не пуска? Будемо видавати хоч те, що нам дозволено.

— Нема на що видавати казочки!

— То нічого не видавати?

— Та... коли хочеть ся гроші переводити, то можна й се видавати! — сказав Човгань. — Я не прихильник читання ради читання і стою за науку. Наукових книжок у нас нема.

— Я мушу сказати тут ті слова, що чув недавнечко од одного щирого Українця. Хто-ж винен, коли люде науки нічого не писали наукового для народу тоді, як се можна було, як цензура дозволяла науково-популярну літературу? Як-би вони тоді писали та видали, то може й тепер цензура не забороняла-б наукових книжок. Хто-ж винен, що люде науки копали ся по архівах і не думали про живе діло?

Човгань почервонів. Він уже три роки свого професорства рив архіви, одкопуючи відтіль якісь дати та ще щось до своєї археологічного характеру роботи і йому здалось тепер, що Марко натякає на його.

— Дозвольте спитать ся, — на кого ви натякаєте? — гостро спитавсь він у Марка, котрого він так педавно бачив на школьному ослоні.

— Я ні на кого не натякаю, — одмовив Марко. — Я тільки кажу про те, що треба живого діла, а не мертвого. Та й діла, а не спірок.

— А які-ж се спірки? — не покидав свого Човгань.

— Та бачите, — ми ніяк не можемо погодити ся і на дрібних питаннях. Ми сперечаємо ся про слова, про літери, а забуваємо про те, що народови треба книжки і треба швидко, і треба багато. Ми забуваємо, що народ живе в темряві, що його москалізують з усіх боків, що наші вороги вживають усякого способу аби нам пошкодити, аби нас знищити, і самі даємо їм у руки перевагу, гаючи дорогий час на безрезультатні, безплідні спірки, про такі речі, що вони не варті нічого. Ми балакаємо багато, а робимо мало.

Маркові слова зробили вплив — всі змовкли, бо не могли нічого сказати. Але згодом Шкляренко, стрівши якое Марка на вулиці, сказав йому з цього powodu:

— Ось подождіть лишень, коли вони всі не розлізуть ся, як руді миші.

— Та вже-ж побачимо! — одмовив Марко. — Не такий страшний чорт, як його малюють.

Але в самого було на душі погано, бо він сам бачив, що ладу у їх у товаристві дуже мало.

Одначе, дві Маркових брошури та одна Семенова пішли до цензури.

Марко вчивсь не в тій гімназії, в котрій довело ся йому тепер учителювати. Тим-то всі люде в їй були йому нові люде. Почав він свою службу з того, що поробив візити до діратора та до товаришів-учителів і познайомивсь з усіма. Діратор йому не сподобавсь — він по начальницькому трохи згорда балакав з Марком, і новому вчителеви здало ся, що йому давано якусь високу авдієнцію. Од учителів перше вражіння було невиразне: відразу багато людей довелось побачити. Дві тільки постаті відрізняли ся у Марка в голові виразнійш од других. Один був Каншін, вчитель географії та історії, типічний Москаль — широка у плечех нековирна постать, велика лисина, руда борода, ніс з широкими, наче розірваними ніздрями і хитрі розумні очі; другий Гайков — вчитель математики, здаєть ся, Українець — швидкий, любязний, чепурний і через лад уже солодкий — все з медом та з маком. Обидва Маркови не сподобали ся.

Призвичаївшись трохи до роботи в гімназії, Марко почав знову мати вільний час і робити свою роботу. Своя робота в його була популярно-наукові книжки для народу, котрі готував він на той час, як знову буде вільно друкувати

їх на Україні. Окрім того, він писав дещо в галицькі видання. Роботи було чимало.

Бував він у людей мало — тільки в товаристві та ще Семена що-дня бачив, з котрим досі жив у одній господі, хоча й на нарізних квартирах і що-дня сходивсь з їм їсти й пити. З одного боку — йому ніколи було заводити знайомости за роботою, з другого боку — йому не хотіло ся бувати поміж людьми, коли його серце було повне тяжкого горя.

Еге, поранене серце не гоїлось. Глибоко-бо вразила його ясноока горда дівчина своїми очима гострими і та рана боліла та ятрилась, не даючи Маркови спокою. Образ коханої дівчини не зблід, не затер ся у його в душі — навпаки: тепер, як він її не бачив, вона ще виразнійша стояла перед його душевними очима. Він згадував усе, що торкало ся до неї: своє життя на селі, свої розмови з нею, згадував її слова, рухи, погляди. Він проводив перед себе знов день за днем усе своє життя коло неї і переживав його знов хворим серцем. І переживаючи, чув він, що вона мов ще любійша стає йому, мов ще дорожша здаєть ся серцеві. Серце дороге за неї заплатило і тепер більш, ніж коли, бажало мати те, за віщо стільки віддало.

Марко ловив себе на таких думках, починав нагадувати собі свої думки про жертву, починав упевняти себе, що він не має права домагати ся власного щастя; але та сила, що не давала йому спокою, не скорялась тим доводам. І часто довгими осінними вечорами, сидячи сам в своїй невеличкій хаті перед лямпою, за столом, закиданим паперами, з пером у руках над якою роботою, він одразу неповолі уявляв собі коханий образ і тоді вже не міг нічого робити. Він починав ходити по хаті туди й сюди, і образ за образом, згадка за згадкою проходили йому в голові, — то мов голублячи його відбляском перебутого щастя, то розриваючи мукою його серце — мукою з думки, що се щастя могло-б бути і не було, і не буде. Тоді він починав обвинувачувати сам себе, казати, що він не так почав і не так робив діло, як треба, що він невдалий, що він сам одштовхнув од себе дівчину.

Але тверда душа його не туманіла. Він усе-ж знову починав бачити річ так, як вона є, і розумів, що іншого сказати він Катерині не міг. Сховати свої пересвідчення він теж не міг та й ні до чого гарного се не довело-б. І він знов

тоді вертався до тієї-ж думки, що він повинен забути про своє щастя, котре не судилось йому. І в його з'являлось тоді могутнє, всескоряюче бажання втопити свої думки, згадки й жалі в невсипущій праці на користь тим ідеям, котрі викопали безодню проміждо їм та його щастям. Він тоді кидався до роботи і робив мов зачарований, нічого не чуючи навкруги, нічого й не бажаючи чути. Він до обід бігав у гімназію, а вернувшись відтіля і нашвидку пообідавши, кидався до роботи і робив, затого не одпочиваючи, до пізної ночі. Семен не розумів тоді, що з ім робить ся, бо на всі запитання Марко тільки махав рукою.

— Бій ся Бога, Марку, — хіба-ж так можна робити? — казав Семен. — Та ти-ж занедужаєш?

Але Марко не звертав на те уваги і палка робота тягла ся звичайно кілька день, а потім починалась реакція. Марко знесилювався, дух пригасав, приходила така втома, що Маркови потім здавалось, що на його находив на той час пароксізм великої апатії до всього. Але сей пароксізм був недовго — знов голова починала робити, знов думка за думкою, згадка за згадкою розпалювали її...

І так тягло ся з того часу, як Марко приїхав з села. Мусіло перегоріти, перепалити ся горе, щоб очистило ся знову серце.

Марко декільки разів аналізував своє становище. Він завсїгди доходив до того виводу, що інакше бути не могло, але не міг з тим помирити ся. Він казав собі, що він повинен забути се своє особисте горе та віддати усього себе роботі на рідний край, і віддав справді; але-ж він бачив, що сила, проти котрої він боровсь, була сила далеко більша, ніж він досі думав. Він не боявсь, що вона його злама, поверне у другий бік: того образу коханої України, котрим сповнена була душа його, не могла вирвати відтіля ніяка сила, — тим і ніяка сила не могла повернути його у другий бік; але-ж за те він невизразно ще поки почував, що ця, невідома йому досі сила така велика, що може не зникнути, може зостати ся і гризти, точити його душу...

В такому становищу був Марко, як одержав лист од Корнійя. Марко листувався і з своїм учнем, і з Петром Олександровичем, вчителем. Він посилав їм туди книжок, а вчитель давав їх селянам. Корній деякий час довго не писав, не пи-

сав чогось і вчитель. Одержавши тепер листа, Марко розгорнув нековирне писання і почав читати досить байдуже — щось інше було на той час в його в голові. Але та звістка, котру він прочитав у листі, примусила його забути все, що він думав і його серце відразу стрепенулось. В листі, проміждо всякими поздоровленнями, поклонами та іншим стояло ось що: „А ще є у нас новина. Нашого пана дочка вже тут не живе, а кудись поїхала. Люде казали, що вона вчителькою поїхала“.

— Що се?

Але ми повинні на деякий час трохи повернути ся назад.

VIII.

Катерина не зупиняючись бігла од скелі аж до містка, неначе боялась, що Марко гнатиметь ся за нею. Перебігши місток, вона зупинила ся і пішла тихше. Вона вся тремтіла од страшної образи, що зазнала її од Марка. Образа здавалась їй такою великою, несвітською, що вона навіть не могла думати про неї поки, а тільки почувала її, почувала усім серцем.

Катерина вбігла у свою хатину і впала на ліжку. Серце колотило ся у неї в грудях мов-би хотіло вискочити. Вона вхопила ся за груди руками, наче хотіла зупинити його, але не могла. Вона підвелась і сіла на ліжкові. Вона не розуміла нічого, голова в неї була в якомусь тумані. Вона просиділа так декільки часу. Спершу вона помічала, що в неї дуже бьеть ся серце; а потім якось і того не стала помічати. Втупивши в темряву очи, сиділа вона непорушно, без думки, і тільки свідомість величезного нещастя була в неї на душі. І вона сама не помітила, як відразу важкий сон знеміг її, і вона впала на ліжку як була одягнена і — заснула.

Чи довго вона спала, вона не знала. Але як вона прокинулась, все ще навкруг спало. Вона спершу не могла зрозуміти, що з нею. Потім вона почула на собі одежу і подумала:

— То се я заснула одягнена?

Вона роздяглась, лягла на ліжку, щоб спати. І тоді відразу вона все згадала, все, як живе, перед нею уявило ся. Вона вже не могла спати. Вона почала думати. І враз їй зробило ся все так зрозуміло. Думки складали ся так легко, в такому льогічному порядку одна за однією. І так виразно

се робило ся, що вона мов чула, як думає. Але вона не помічала, що всі думки її крутили ся коло одного осередку:

— Все скінчило ся! — се була перша думка. — Тим, що він мене образив, — друга.

— Чим образив? — Я, дівчина, прийшла сама до його, признавати ся в своєму коханню, а він сказав: приймаю твоє кохання, але на умовах.

Її кохання — на умовах!

Вона завсїгда звикла думати (а книги, що в їх описувано кохання, пособляли цій думці держати ся), що за кохання треба віддавати все: все своє життя і все, все! І вона мала думку, — ні, була певна, — що досить їй сказати слово, щоб Марко зробив це. Вона думала навіть, що він так і скаже їй. Візьміть все моє життя і все, все!...

Але він сказав...

Катерина змалечку звикла, щоб вдовольняли ся всі її бажання. І хто часом не вдовольняв тим бажанням, той мусїв сподівати ся її гніва. Але хто-ж не вдовольняв? Сього затого не було... Але тепер стріло ся, і в Катерининому серці було зло.

Катерина була горда. Змалечку їй турчала мати та всі навкруги про її чудову вроду. І вона звикла шанувати ту вроду, дивити ся на неї трохи не як на власну свою заслугу. Вона думала, що жіноча врода — се жіноче право на все, що жінка схоче, право повелівати усіма. І вона певна була, що повеліватиме. І вона помилилась і се була їй страшна, несьвітська образа.

Вона вже не заснула. Вранці мати, побачивши її блїду, змучену, сказала, що вона хвора, і намагалась положити її на ліжку. Але Катерина лежати не могла. Вся її істота сповнена була якогось напру́жіння, що не давало їй воно змоги навіть довго всидїти на одному місци. Вона затого увесь той день пробула в саду, ніби читаючи, а найсправді — швидко ходячи по стежках. Книжку вона іноді розгортала, але читати в їй нічо́го не могла.

Другого дня на погляд вона зробила ся вже зовсїм спокійною. Але в душі в неї спокою не було. Все ті-ж незмінні думки снували ся у неї в голові і страшенно втомляли своєю незмінністю, однаковістю. Ці думки були такі важкі, що Катерина неначе фізично чула, як вони робили борозни у неї в мозкови.

Поминув тиждень, другий... Зло з серця зникло. Почування образи трохи зменшило ся, зробило ся не таке дошкульне. І що більш те почування блідло, то виразніш починала вимальовуватись перед нею Маркова постать. Катерина й перш цю постать бачила — ця постать не відходила від неї, — але вона мов туманом повита була. А тепер вона стояла перед нею виразно, так виразно, що Катерині здавало ся, що вона бачить найдрібніші риси його обличчя. І Катерина почала дивити ся на цю постать...

Вперше, як з'явила ся вона виразно, Катерині зробило ся чогось надзвичайно жалко, і вона проплакала пів ночі. Їй здавало ся, що вона плаче з образи, або, краще сказати, вона й сама не знала, чого вона плаче.

Потім вона почала дивити ся. Яка спокійна, яка в собі впевнена постать! Се погано вражало Катерину, що постать така спокійна та впевнена. Але як вона придивлялась далі, то се перше вражіння зникало. Постать спокійна і... дужа. І знов се погано вражало дівчину, бо ця дужість переважала її, Катерину. Катерину знов обнімало почування образи, і вона прогонила від себе цей образ, не бажаючи його бачити. Але вона мусіла згодити ся, що та дужість, що вона її побачила в йому, мала змогу й тепер прикувати її, Катерину, до себе. І Катерина дивилась.

І потроху зникало в неї роздратування, потроху звикала вона дивити ся на питання й з другого боку... Одного разу у неї навіть з'явила ся думка, що вона, Катерина, егоїстка. Вона вимагала од Марка, щоб він оддав їй усе за кохання. А чому-ж Марко не міг того-ж вимагати? Ця думка здала ся їй спершу нісенітницею, і вона зараз-же знайшла вдовольняючу одмову:

— Чому? — Тому, що я дівчина, що я маю вроду...

Але трохи згодом вона почула якусь неправду в цій одмові. І тоді одмова не стала вже вдовольняти її, вона схотіла знайти іншу, кращу, але знайти не могла. За те набігла інша думка. Це вже було не скоро, — місяць поминув з того часу, як Марко поїхав. Тоді з'явила ся ця думка:

— Що примусило його так зробити?

Спершу Катерина не могла собі уявити, щоб могло бути таке питання, але тепер воно саме прийшло і, під впливом того дужого образу, що не оступавсь од неї, не покидало її.

Що примусило?

Адже він сказав, що її любить. Він сказав, що ніколи не буде щасливий без неї. Се вона добре тільки тепер згадала, бо перш вона пам'ятала з усієї розмови тільки те, що так її образило.

— Брехня! — хотіла вона скрикнути на се Маркове впевнення, але не могла. Вона згадала його обличчя, голос, яким він се сказав, і не могла сказати, що се брехня.

Але-ж, коли любить, — чому-ж зрік ся? На кого проміняв?

Ні на ко́го? — одмовляла вона собі. Він сказав, що є вища святиня, ніж особисте почування і що тією святинею він живе на сьвіті.

Але що-ж було цією святинею? Хімера! неможливість! дурниця, що з неї всі люде сьміють ся! І на сю дурницю проміняти її, Катеринине, кохання!

Але-ж ні, знов таки — він не міняв. Кохання в його — одна річ, а те — друга. З тієї сьвятині глузують люде, але-ж... Але-ж мабуть велику силу має вона над Марком, коли він міг зректи ся свого щастя задля тієї сьвятині.

Свого щастя? А звідки, вона, Катерина, зна, що вона дала-б йому щастя?

Ця думка була і нова, і надзвичайна дівчині. Але за останній час вона вже звикла до того, що їй увиходять до голови надзвичайні думки, так, що спершу вони здають ся нісенітницею, а потім... Не дивно, що й ця думка не виїшла у неї з голови і де-далі все більш та більш запановувала там, і дівчина мусіла нарешті згодити ся, що вона, Катерина, ще не зна, чи мав-би Марко те щастя.

Але-ж вона давала йому своє кохання! Се правда. Але-ж він живе не так, як інші люде. У його є висока мета, є святиня, що він їй служить. Катерина починала тепер розуміти, що її кохання ще не було-б йому щастям, коли-б вона так дуже різнилася з Марком, — бо в неї не було ніякої мети...

Але-ж ся мета була хімера, була дурниця!

Що до того, коли вона мала над Марком таку силу! Щось є в цій дурниці, що вона подужала сю душу дужую. А що-ж саме?

І Катерина починала про се думати. Минали дні, тижні, і їй починало здавати ся, що Маркова мета мабуть не така

дурниця, як вона спершу думала. І навіть більш: їй схотіло ся знати, чого саме хоче Марко.

Вона цього не знала. Він багато разів забалакував з нею про се, але що-разу була вона до цього неуважлива, навіть глузлива. Згадавши останнє, Катерина почула себе винною. Як дорого дала-б вона тепер, щоб почути знов те, що він казав тоді.

Але його вже не почувеш, а одмови треба. І вона починала згадувати усе, що він казав, силкувалася звести до купи, з'єднати розрізані вирази, фрази, кинені тоді чи тоді думки — усі ці уривки, що позоставали ся в неї в голові ще од того часу. Ся робота була важка її голові, але Катерина уперто не покидала її. І їй здало ся, що потроху вона дещо починає розуміти.

Саме серед тієї душевної борні, що її одбувала тепер дівчина, надійшов один випадок і тільки поскорив справу. Одного дня приїхав до Городинських убраний якимсь урочисто Голубов і... осьвідчивсь Катерині. Дивлячись на його модню одєжу, на таке-ж модне прибранє — прилизанє обличчя, Катерина несамохіть прирівняла його до Марка і мусіла згодити ся з тим, що проміж цим претендентом на неї і Марком була ціла безодня різниці, мов-би се були люде не з одного світу. І ся різниця була не на користь Голубову.

Одіславши збентеженого та сердитого Голубова без нічого, Катерина знов повернулася до своїх думок, знов почала шукати одмови на питання: чого хоче Марко? Катерина згадала, з яким пошануванням завсїгда балакав Марко про Шевченка і зважилась прочитати його. Так, щоб ніхто не знав, добула вона книгу і почала читати. Вона прочитала картку, дві і побачила, що дуже мало розуміє: московське виховання збрало її нетямующою до рідної мови.

Але-ж вона не кинула книжки і зважилась вивчити мову, щоб знати, на кого проміняв її Марко. Ображенє кохання, вражена гордість примушували її уперто йти до своєї мети. Їй схотіло ся знати, що написано в тій книзі, так, як одкинутій коханці хочеть ся побачити свою розлучницю, щоб знати, задля кого її одкинуто. Вона роспитувалася про невідомі їй слова у простих слугівниць-селянок, добула десь словар Закревського і таки досягла того, що через деякий час почала розуміти Шевченкову мову. Тоді вона почала читати.

Могутня поезія мужичого поета не могла не зробити впливу на впечатливу до поезії дівчинину душу. Вона й сама не помічала, як починала плакати там, де поет хоче викликати сльози, або несамохіть підлягала впливови урочистого пророчого тону багатьох місць Шевченкової поезії. Вона пізнавала тут Марка, але все-ж не знаходила собі досі одмови. Але-ж одного разу їй довелося прочитати :

„Міні однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні...“

Почування, котрим пронято ці вірші, вразило її надзвичайно. Вона о стільки знала Шевченків життєпис, щоб спочути всю силу того почування. Вона зрозуміла тоді, як міг поет зрікати ся свого щастя задля України. І вона несамохіть перенесла ту-ж думку й на Марка...

Очи її почали бачити більш. Дика краса Гонтиного образу не могла її не вразити. І вона, вся тремтючи після прочитаної сцени, де він убива дітей, привірнула Марка до Гонти. Еге, і цей уміє так зрікати ся з-за любови до рідного краю...

З того часу вона вже не могла добре розуміти, як ішли її думки. Образи, найбільш образи опанували її. І один од їх був образ борця за рідний край, людини, що зрікається власного щастя. І той образ був перед нею тепер в надзвичайному сяючому оrelі.

І далі інші образи уявляли ся їй. Се була і мати з „Неофітів“ і „Відьма“, і Оксана, і вона сама, Катерина, такою, якою вона себе досі знала. Ті образи або проходили один за одним, або йшли мішма і що-разу, як з'являли ся, покидали якийсь слід у неї в душі.

І ось — стало ся! Прийшов час, коли Катерина побачила, що вона тепер уже не та, що була перш...

Вона зрозуміла, що та врода, котру вона так високо ставила, не дає їй ніякого права ні на що. Вона зрозуміла, що ця врода зовсім не має непереважної сили, як то вона думала спершу. Вона мусіла побачити, що є дещо вище од вроди — се краса душі, і зрозуміла, що тим Марко одійшов од неї, що вона мала тільки красу тіла, але не мала краси душі.

Потім вона зрозуміла й інше. Вона побачила, що є дещо вище од вдоволення власних почувань та бажань. І се вище є має силу більшу над всі інші почування та бажання. І тій силі мусить усе скорити ся.

І вона скорила ся. Вона зрозуміла усю красу душевну того, з ким розвіяла її доля, і покохала його ще більше, ще кращим, чистішим коханням. Вона покохала його, добре розуміючи, що проміж нею та їм порвано звязки. Чи була в неї надія знов звязати їх? Вона не питалась, не думала про се, вона віддалась уся цьому новому їй почуванню. — Еге, новому, бо се не було те старе кохання, що викликало ся воно здебільшого вродою. Ні, се було кохання з ідеальною, як їй здавало ся, краси душевної її милого, се було схилення перед їм своєї гордої голови.

Але-ж не се тільки. Вона зрозуміла, яке нікчемне, яке ганебне для людини було те життя, що їм вона досі жила, і порвала з тим життям на віки, без звороту. Вона побачила, що повинна жити інакше і з того часу слова „рідний край“, „Україна“ були їй не мертвими словами, а назвищами тих ширих почувань, що їми повне було її серце.

Часом обнімав її великий жаль по згубленому щастю. Вона каралась, обвинувачувала сама себе в тому, що не хотіла розуміти того, що мусіла зрозуміти, од чого залежало її щастя. А тепер се щастя загинуло, загинуло на віки! Проміж нею та Марком безодня — вона повстала пісьля останнього зобачення під скелею. Вона не може переступити її, їй несила, а Марко теж не може, бо він уже зробив усе, що міг, і не може мати ніяких надій. Сього не одміниш нічим, се повинно так зостати ся.

Але-ж се розбивало їй серце. Вона чула затого фізичний біль, як думала про те, що сама розбила своє щастя. Але-ж і якась гірка втіха була їй в думках про це. І вона думала про це все, згадувала Марка, його обличчя, його голос, його розмови і все вищим, все ідеальнішим здавав ся їй він, і все нижчою, все грішнішою здавалась вона сама собі. Вона зрозуміла, що розбила й його життя...

І тоді Катерина почула потребу спокутувати свій гріх. Ця покута повинна була виявити ся в якій діяльності, бо багата душа Катеринина, штовхнута на новий шлях, чула, що треба їй діяльності, треба вдовольнити поривання до виявлення своєї сили.

Вона зрозуміла вже, що мусить віддати свою діяльність Україні, тому рідному краю, що вона його згубила була і тепер знайшла. Але що-ж вона могла зробити? Вона чула, що

Марко працює пером, але вона, на її думку, не мала ніякого хисту до літератури, до писання. Її діяльність мусить бути інша, — але яка? Вона цього ще не знала.

Минали дні, дівчина нудила сьвітом, шукаючи одмови на своє запитання, шукаючи, до чого прикласти свої сили, чим виявити свою любов до дорогого рідного краю. А одмови не було...

Перебираючи в голові розмови з Марком, вона згадала, як він радив їй заходити ся самотужки коло власної освіти. Вона зважилась зараз-же це зробити. Найсамперед вона хотіла познайомити ся з тим, що вона перше мусіла знати — з рідним краєм, з рідною історією та літературою. Тимчасом уся сім'я Городинських переїхала на зиму в місто. Брат давно вже поїхав до свого Петербурга. Катерина мала змогу читати і заходилась читати широ, палко. Вона прочитала все, що змогла знайти по бібліотеках та по книгарнях з української літератури, прочитала багато історичних та етнографічних творів, і тепер уже більш-менш була знайома з тим шляхом, що їм мусіла вона йти з цього часу. Потім вона почала вчити мову, бо її не знала, і просиджувала довгі години, складаючи свій власний словарик.

Все це робила вона самостайно. Їй не довелось познайомити ся ні з ким з щирих Українців, бо знайомости вона могла мати тільки в господі в свого батька, а у їх бували зовсім не такі люде, що поміж їми можна було знайти того, кого Катерині було треба. Але їй не тяжка була ця самотність — навпаки — вона впивалась своєю роботою в самотині, ховаючись, як впивають ся ховаючись своїм коханням.

Так помикула зима, прийшла весна. Повіяло новим життям і ще дужче розбуркало в Катерининих грудях бажання робити. Їй схотіло ся тепер іти в учительки на село. Вона згадувала, як Марко казав колись, що московська школа по селах — се джерело народньої деморалізації. Вчителі-ж, виховані в московському дусі, не тільки не зменшують тієї шкоди, що її вчиняє школьна програма, а навіть побільшують, — „усердствуя не по разуму“. І Катерина намислила зробитись учителькою, щоб хоч трохи, чим зможе, зменшувати ту страшну шкоду, котру чинить по селах московська школа. Вона довго думала про се, розглядала питання з усіх боків і твердо зважилась досягти свого. Такої важливости їй треба було, бо їй

доводилось, з поводу цього, ще мати борню з батьком та з матір'ю.

Се було влітку, вже знов на селі. Гарним теплим днем уся сім'я (опріч, звісно, Івана Дмитровича, що був у Петербурзі) сиділа за вранішнім чаєм. Сьогодні Катерина зважилась побалакати з батьком та з матір'ю про свою мету. Звичайно, тільки в часи їжи можна було побачити вкупі батька та матір, бо увесь день батько, хоч і не хазяйнував сам, деь ходив по господарству, а по обіді спав. Катерина наважилась побалакати зараз-же. Вона підождала, поки брат та сестра з губернанткою напились чаю і пішли. Зосталась мати коло самоварю; батько допивав чай і мав зараз іти.

— Потривайте трошки, тату, — міні треба з вами та з мамою побалакати, — тихо промовила Катерина і трохи зблідла.

Мати мовчки, здивувавшись, глянула на неї, а батьком своїм звичаєм скрикнув:

— А про віщо-ж там балакати? Кажі швидче, бо міні по хазяйству треба! — і він роскинувся на стільці однихкучись усім своїм важким тілом.

— Я хотіла побалакати з вами, — почала Катерина, — ось про віщо... Я не можу так сидіти без ніякого діла. Міні нудно, таке життя не вдовольняє мене. Я хочу роботи...

— Якої-ж тобі роботи? — запитавсь батько, високо піднявши з дива свої густі брови.

Мати поки мовчала і нічого не казала.

— Я знайшла собі роботу. Я хочу вчителювати в народній школі.

Пан Городинський відразу одкинувся од стільця й випроставсь. Він не міг ні слова сказати з превеликого дива і тільки сидів та дививсь на дочку, кумедно вирачивши очи та роззявивши рота. Так тягло ся досить довго, аж поки нарешті він важко одхвкнув ся і, знов розлягаючись на стільці, сказав:

— Хху! Як ти мене здивувала. І вигада таке!

— Я кажу серіозно, тату.

Мати, що увесь сей час дивила ся на дочку своїм сухим поглядом, спитала ся нарешті неласкаво:

— Відкіль се в тебе такі кумедні бажання?

— Вони, мамо, повсім не здають ся міні кумедними, —

тихо й твердо одмовила Катерина. — А повстали вони з того, що я зрозуміла, що гріх сидіти людині без діла, що я не маю ніякого права це робити.

— Ніхто тобі й не каже, щоб ти сиділа без діла, — сказала мати. — Ший, читай!...

— Се мене не вдовольня. Міні хочеть ся справжнього діла, а не іграшок з вишиванням.

— Справжнє дівчинине діло — дождати ся, поки її віддадуть заміж і тоді — зробити ся доброю матірью та господинею! — сказала мати авторітетно.

— Я не думаю так, мамо, — одмовила Катерина, — се колись так думали. Тепер думають інакше і роблють теж інакше.

— То це вже мати дуже стара стала і не розуміє, що каже? — сердито обрзилась мати.

— Я не кажу того, мамо. Я кажу тільки, що людські погляди одмінюють ся, і що було гарне тридцять років назад, те може бути негарним тепер.

— І відкіля ти набрала ся таких поглядів? — спитала ся мати, уважно дивлячись на дочку.

— А се мабуть од того шибеника Кравченка! — скрикнув батько. — Не дурно я бачив, що ти, Катерино, усе з хохлацькими книжками панькаєш ся.

— У всякому разі можете бути певні, — одмовила трохи почервонівши Катерина, — що не він мене навчив іти в учительки. Та се й неважливо. Річ в тому, що я бажала-б бути вчителькою...

— Але ти нею не будеш! — безапеляційно сказала мати.

— Мамо, я нею буду! — знов тихо, але зважливо сказала Катерина.

— Що? — широко глянула мати. — То ти робитимеш те, чого батько та мати не хочуть?

— Міні не хочеть ся так робити, і ось я на те й хочу побалакати з вами, щоб впевнити вас, що я мушу зробити те, що намислила.

— Будь ласкава, — не балакай і не впевняй, — зимно одмовила мати, — се ні трохи не пособить! — І вона вийшла з хати.

— Що-бо ти, дочко, надумала? — спитавсь трохи докірливо, трохи жаліючи батько. Він любив дочку дуже,

ніж мати, і тепер він і сердивсь, і жалів за одним заходом.

— Тату, я вам скажу по правді: змучилась моя душа оттаким порожнім життям. Не можу я так жити!

— Та чого-ж тобі не стає? Кажі, чого тобі треба од нас?

— Міні не стає того, чого ви міні не хочете дати: діяльності.

— Та на що-ж тобі та діяльність?

— На те, що я не маю права сидіти без діла, і ще на те, що міні несила без діла сидіти — мене тягне до його.

— Не розберу я! — розвів руками батько. — Живе в достатку, має змогу вдовольняти своїм бажанням... Чи не в нігілістки ти часом пішла, дочко? — спитавсь батько, трохи злякавшись.

— Тату, не глузуйте з мене! — промовила дочка, не помітивши батькового ляку. — Не глузуйте, а спробуйте мене зрозуміти.

— Не розумію я тебе дочко!... Одначе, нехай іншим разом, а то міні тепер ніколи.

І пан Городинський устав і пішов з хати. Катерина трохи не заплакала. Та й заплакала-б може, як-би не прийшли слуги збирати посуд.

Лягаючи того вечора спати, довго й щиро молилась Катерина стоячи навколінках перед образом у своїй хаті. Вона зробилась релігійною з того часу, як поїхав Марко. Вона знаходила заспокоєння од свого горя в молитві і часто молилась. Вона благала тепер Бога пособити їй. Їй була шкода матері та батька, не хотіло ся зробити їм що погане, і вона молилася, щоб Бог послав їм у серце прихильність до її думок. Молитва й тепер заспокоїла її, і вона лягла спати, наважившись поки мовчати та дожидати ся того, що буде.

Проминув тиждень, — ніхто не нагадував про те, що було. Катерина нудилась дожданням. Коли одного разу батько, зовсім несподівано спитавсь у дочки:

— А що, викинула вже з голови своє вчителювання?

— Не викинула, тату, та й не викину ніколи! — одмовила Катерина.

Батько аж підскачив на стільці.

— То оце ти знов?! — скрикнув.

— Тату, я не дитина, щоб одміняти що-дня свої погляди та бажання.

— А міні здаєть ся, що ти ще дитина та до того й нерозумна, котра сама не знає, що робить! — сказала мати, — її обурювала доччина спокійність.

— Я знаю, що я не дуже розумна, мамо, — одказала покірно дочка, — але все-ж у мене стече розуму, щоб не мінати що-дня своїх бажаннів.

— Відкіля в тебе сей дух кроткої упертости? — спиталась трохи глузливо мати. — Не вередуй-бо, Катерино, — додала вона суворійш, — бо нічого з того не буде!

— Я, мамо, не вередую. Я кажу те, про віщо довго думала і про віщо вже не передумую.

— От ти й побалакай з нею! — озвався батько. — Ти хоч-би подумала про те, о скільки можливе твоє бажання.

— А чому-ж воно неможливе?

— Чому неможливе! Та ти знаєш, що таке школа?

— Знаю.

— Знаєш, бо колись раз була в нашій! Се ще не значить, що ти знаєш! А школа се ось що: се праця втомляюча з ранку до вечора, що після неї й ніг не підвочеш; се мізерна плата — яких 15—20 рублів на місяць, котрих до того ти по два, по три місяці не одержуватимеш з управи; се тісна, брудна твоя хатина, що на неї старшина з писарем по місяцю не даватимуть дров; се п'яний старшина або писар, що будуть ходити до тебе в школу та показувати, що вони твоє начальство; се...

Пан Городинський балакав палко, силкуючись впевнити дочку.

— І ти йдеш у цю школу? І ти все це перетерпиш на собі?

— Адже інші перетерплюють — чому-ж я — ні?

— Перетерплюють ті, що їм нічого їсти, — сказала мати, — а тобі, здаєть ся, сього не бракує.

— Не бракує... Але-ж міні бракує іншого — я чую, що міні хочеть ся робити, а не сидіти, згорнувши руки.

— То пособляй матері по господарству! — сказав батько.

— Що-ж я тут пособлятиму? У нас стільки кляшниць, кухарів та всяких слуг, що міні нема чого тут робити. Та й не цього міні хочеть ся.

— А того, що хочеть ся, ти не матимеш! — перепинила її мати. — І ніколи не балакай про се зо мною!

— Мамо, — промовила зблідши Катерина, — я буду балакати, бо я хочу мати його!

В Катерини вже обурювалась гордість, що її вона мала спадщиною од матері, та вкраїнська упертість.

— Я ніколи не покину про се думати! — сказала вона твердо.

— Думай, про мене, що хочеш, а балакати про се я не бажаю.

— Але-ж, мамо, чимсь треба се питання рішити.

— Ми з батьком його вже рішили: ти про його не повинна й балакати. Годі!

І пані Городинська велично вийшла з хати і кілька день не балакала й слова до Катерини, а та все вишукувала способу досягти свого.

Через кілька день мати дала Катерині тільки оце одержаного листа й сказала:

— Радила-б прочитати уважно, — тут може знайдець ся таке, що й тобі здасть ся.

Катерина почала читати. Лист був од Івана Дмитровича. Се була одмова на той батьків лист, що в йому старий Городинський писав синові про Катеринине бажання. Іван Дмитрович іронізував з сестри та — без сороба казка — радив „владю батьковою та материною покласти край хімерним забаганкам моєї сестриці“. Катерина віддала матері листа мовчки.

— Що ти скажеш про сей лист? — спитала ся мати.

— Я думаю, мамо, що брат даремно його написав, а ви даремно дали міні його читати.

— Чому?

— Тому, що все це ні трохи не одмінить моїх думок.

Мати склала руки на колінах і пильно подивила ся дочці у вічі.

— Скажи, будь ласкава, — почала вона, протягаючи кожне слово, — скажи, будь ласкава, о скільки серйозна уся ця кумедія?

Катерина почервоніла.

— Ви мене ображуєте, мамо, звучи кумедією те, що міні дороге.

— Так се серйозно?

— Я давно вже се вам кажу, мамо.

— Добре. Відкіль-же залізли до тебе такі думки? Од кого ти їх почула? — питала ся мати таким голосом, яким вчитель допитує ввійманого на шкоді школяра.

— Я сама до їх дійшла, — се-б то: до думки про школу.

— Я цьому не йму віри, — сказала мати і ще пильнійше почала дивити ся на дочку, ще довше почала тягти слова. — А ска-а-жи, будь ласкава, — ти не-е листуєш ся з тим... студен-том?...

Катерина спалахнула.

— Мамо, ви допитуєте мене, як сьлїдчий злочинця. Я не зробила ніякого злочинства, щоб мене так допитувано.

— Але ти не одмовляєш на моє питання, — тим-же тоном тягла мати.

— Я й не одмовлю вам ні єдиного слова, як що ви будете так зо мною балакати.

— Не в тім річ! одмовляй на питання!

— Я не одмовлю. Як що ви пообіцяєте ся, що так зо мною не балакатимете, то тоді одмовлю! — сказала Катерина зважливо і встала, щоб іти.

Пані Городинська очам своїм не йняла віри. Правда, пещена Катерина завсігди не була дуже слухняна і завсігди була недоторкана, але такої зважливости, такої твердості мати од неї не бачила.

— То ти так одмовляєш матері? — спитала ся вона, придержуючи дочку за руку.

— Вибачайте, мамо, як що я вас образила: я не хотїла.

Пані Городинська зрозумїла, що краще вдовольнити ся з цієї одмови і почала вже трохи інакшим тоном:

— Ось сядь, будь ласкава, та побалакаєм гарненько. Ти зовсім даремно спалахнула, і міні се гірко й неприємно...

— Мамо... — почала трохи збентежена Катерина.

— Добре! добре! — перенинила пані Городинська, — я бачу, що ти не хотїла сього зробити. Але ти все-ж не одмовила на моє питання. Я тебе питаюсь не як сьлїдчий, а як любляча мати свою дочку.

— То й я скажу вам, мамо, що я з їм не листую ся.

— І не листувала ся?

— Ні.

Пані Городинська знала, що Катерина ніколи не казала неправди. Як що вона не хотіла чого сказати, то вона звичайно так і одмовляла, що про се вона нічого не скаже. І тепер пані Городинська не знала, що їй казати.

— Мамо! — почала Катерина тремтячим голосом. — Вислухайте і пойміть міні віри, що я кажу правду. Пойміть міні віри, що я іншого не скажу. Я не можу, цілком не можу більш жити панянкою і цієї осени я мушу піти вчителювати...

— Я не хочу більш балакати! — одмовила пані Городинська і пішла.

— А що, — спитавсь пан Городинський у жінки увечері, лягаючи спати, — яка була у вас розмова з поводу листу?

— Не дуже гарна, — одказала пані, — вона уперто держить ся свого.

— Що це значить? — спитавсь пан Городинський.

— І сама не знаю.

— Клопоту багато буде.

— Того не минеш. Шкода тільки, що я мушу все сама одбувати, а ти нічим міні не пособляєш?

— Та чим-же тут пособиш?

— Ти батько!

Чоловік та жінка трохи помовчали. Пан Городинський сидів у шляфроці на ліжкові і міркував. Нарешті він почав:

— Знаєш що?...

— Що? — спитала ся жінка, не одходячи од туалету, де вона причісувалась.

— Я хотів... Один плян у мене є...

— Який?

— Чи не послухать нам її? — зваживсь відразу сказати пан Городинський.

— Це ще що таке? — і пані Городинська велично повернулась до чоловіка.

— А хіба краще буде, як що вона зробить це силоміць, без нашої волі?

— Цього не буде! — так саме велично одмовила пані.

— Ти дуже добре знаєш, що се може бути! — сказав чоловік. — Ти дуже добре знаєш, що вона дочка своєї матері, і коли ти уперта, то й вона так саме...

— Будьте ласкаві, — пані Городинська, як сердилась,

завсїгди казала чоловікови *ви*, — будьте ласкаві, залишіть критичні розгляди мого характеру до іншого часу.

— Та хіба я... Я тільки казав... — почав чоловік, трохи збентежившись, бо він боявся того *ви*: добре-бо він знав, що воно віщувало часто декільки день мовчання, погані обіди та ще поганійшу хатню моркву потім. Але жінка не дала йому скінчити :

— Міні зовсім не цікаво знати, що ви там казали. Я балакала про Катерину.

— Та й я-ж про Катерину! — трохи посьміліїшав пан, бачучи, що жінка переходить до чергової справи, — я кажу про те, що вона вміє досягати свого і... і може так стати ся, що в один чудовий день ми Катерини не знайдемо. Де? Втекла вчителювати! Хіба тоді краще?

— Але-ж се скандал! — скрикнула пані.

— Запевне скандал, коли дочка втече з дому.

— Наша дочка — вчителькою в мужичій школі! Що про це скажуть?! Се несьвітський скандал!

— Але-ж коли вона втече, то буде скандал ще більший.

— Що ви все втече та втече! Ви батько і повинні добрати способу, щоб цього не було!

— Та не замикає-ж справді її!

— Ах, одчепіть ся з вашими шуткуваннями! (Пан Городинський зовсім і не думав шуткувати). Годі вже! ваш плян нездатний! — і пані знов одвернулась до сьвічада.

— Чому ні? — насьмілившись іще раз пан. — Я саме кажу про компроміс, тільки ти мене не дослухала. Компроміс цей буде ось який: ми дамо їй дозвіл бути вчителькою в гімназії.

— Ну, і що з того?

— Раз те, що гімназія — не школа; а друге — здобути посаду вчительки у гімназії дуже тепер не легко. Може протягти ся багато часу. А там... може це ще все й зникне...

Пані Городинська повернулась до чоловіка і трохи подумала.

— Може ти й правду кажеш... — з протягом промовила вона.

— А вже-ж — правду! — зрадів пан Городинський, найбільш того, що зникло *ви*.

— Подумаємо... спробуємо...

Другого дня батько почав з дочкою розмову про вчителювання і сказав:

— Дивуюся, що тобі далася та школа! Ось зовсім ще інше діло, як-би ти схотіла бути вчителькою в гімназії. Не знаю, як мати, а я нічого не мав-би проти цього.

— Ні, тату! Я в гімназію не хочу, — я буду вчителькою в школі, — одмовила Катерина.

— Ти кажеш: буду! — як неначе се діло вже зробилося!

— Я, тату, вже наготувала прошення до інспектора і хотіла сьогодні сказати про се вам і мамі.

Пан Городинський zostався ні в сих, ні в тих і питаючим поглядом дивився то на жінку, то на дочку. Але пані Городинська вийшла мовчки з хати.

— Таточку, голубчику, — промовила Катерина, уставши з свого місця і сівши біля батька та припавши йому на груди головою, — зробіть міні сю ласку, не держіть мене! Ви добрі, таточку, я знаю, що вам самим шкода мене, — умовте-ж маму!

Пан Городинський дуже любив дочку і зовсім не міг встояти проти такої розмови. Скінчилося тим, що він дав слово умовити матір.

— Таточку! любий! голубчику! — зраділа Катерина і почала цілувати батька.

— Любий, а покидаєш любого!... — докірливо проворкотів батько.

— Ой, таточку!...

— Та добре вже, добре! Але-ж ось що: з умовою! Ти їдеш тільки на один рік, а там дозвіл кінчається. Інакше я не можу зробити нічого.

Катерина розуміла, що мусить згодитися на це, коли хоче досягти свого.

Послідком усієї цієї розмови було те, що пані Городинська два тижні звала свого чоловіка *ви*, як що їй доводилося йому що сказати, а здебільшого не балакала нічого ні з їм, ні з дочкою. Але-ж після двох тижнів прошення одіслано до інспектора...

Кінець літа минув Катерині в читанню педагогічних книжок та взагалі в лаштуванні до нової роботи. Дівчина навіть ходила в школу, щоб порадитися про де-що з учителем, але

він поїхав на літо до дому і ще досі не приїздив. Після Семена прийшла одмова од інспектора: Катарину настановлено вчителькою. Але інспектор, щό мав під своєю владою не один, а два сумежні повіти, дав Катерині школу не в цьому, а в сумежному повіті. Пані Городинська спершу була запротестувала, але вже мусіла змовкнути.

Через тиждень Катерина виїхала в свою школу з дозволом на один рік, але з певною надією одержати його й на далі.

IX.

Одержавши згадану вже коротку звістку од Корнія, Марко і здивував ся, і замислив ся :

— Що се? Вона ніколи не висловлювала такого бажання. Се щось нове. Що-ж се таке?

— А що, як... Що як се вона одмінила погляди і пішла тією-ж стежкою, що й Марко?

Марко почув, як у його затріпало ся серце од цієї думки, але няти їй віри він не міг.

— Вона сказала, що цього не буде ніколи, — думав він. І коли те, що пише Корній, і правда, то се могло бути просто-якою модньою примхою. Ні, я не можу мати ніякої надії!

А про те — він написав листа до Корнія та до вчителя і в тих листах, проміж іншим, питавсь і про Катерину: Чи правда, що вона вчителює і чого се так стало ся?

Листи прождали одмови довгенько; але й одержавши її, не знайшов Марко у їй того, чого шукав: ні Корній, ні вчитель самі нічого не знали і могли тільки ствердити, що Катерина вчителькою, але навіть де — не знали.

А тимчасом життя посувалось наперед. Марко ходив щодня до гімназії, щодня балакав про латинське та про грецьке своїм учням і — сказати правду — не чув ніякої потреби се робити. Офіційна робота була така, що його не зацікалювала. Надати-ж їй трохи живійший характер зовсім було неможливо: начальство гостро дивило ся за тим, щоб ніхто з учителів не одхилявсь од програми. Одного разу Марко, перекладаючи в класі з школярами грецького автора, забалакав по грецькі республіки і похвалив старий республіканський лад в Атенах. Другого-ж дня директор зауважив йому, що він краще зробив-би, як-би республік не чіпав, бо його, Маркове,

діло падежі а не республіки. Марко зрозумів, що проміждо школярами є директорський шпиг, котрий доносить тому про все, що робить ся в класі. В цьому ще більш впевнився Марко місяля одного випадку, що трапивсь незабаром.

В один день на останній лекції в ту класу, де він учив, увійшов інспектор з двома доглядачами і переказав тихенько Маркови наказ од директора зробити в класі трус, бо директор довідався, що в одного з школярів є заборонені книжки.

— Дозвольте міні скінчити лекцію! — одмовив Марко понуро.

— Але-ж, — зашепотів інспектор, — тепер краще, а то...

— Вибачайте, міні треба докінчити лекцію! — сказав ізнов Марко і забалакав до школярів. Інспектор стиснув плечима і вийшов з доглядачами з класи. Він перечабував у коритарі і, пославши до других учителів загад придержати на деякий час у класах школярів, увійшов саме на кінець лекції у класу до Марка. Марко мовчки узяв свій журнал і пішов з класи.

— Куди-ж ви? — цокликав його інспектор наздоганяючи. — І вам-же треба тут бути.

— Вибачайте! Се діло ви можете й самі зробити!

І він пішов швидко геть і в його на серці було невимовно тяжко. Він не сподівався, що йому доведеть ся так близько стрінуть ся з такими випадками.

Другого дня була педагогічна рада. Почав її директор промовою про вчорашній випадок. Він почав ту промову дуже урочисто, надівши золоте пенсне на великий ніс і задерши вгору своє брезкле виголене обличчя.

— Трапилась річ, котру ми не можемо терпіти в гімназії, — промовив він, — у одного з школярів знайдено українські книжки, котрі він приніс у класу, щоб давати своїм товаришам читати. Цей факт... гм... гм... свідчить, що... ну, у всякому разі се небезпешна річ, і ми повинні як найшвидче запобігти лихови і не дозволить, щоб оця проказа — він швиргонув на стіл дві українські книжечки, — розповсюджувалась поміж дітьми.

Марко подививсь на книжечки. Одна була „Сіра кобила“, а друга — Шевченкові „Гайдамаки“.

— Так як, панове, на вашу думку, — що робити з цим учнем? — спитавсь директор. — На мою думку треба його виключити.

Всі вчителі мовчали поки, тільки Гайков зараз-же обізавсь!

— Я цілком згожуюсь з цим! — і він любязно, трохи підводячись з стільця, перекинувся на хвилину на директорський бік, а потім його швидкі очі забігали по товаришах-учителях.

— А ви, панове, як? — спитавсь у других директор.

— У всякому разі — хохлацьку пропаганду треба знищити, бо це зло! — озавсь Каншин, але я не знаю, чи маємо ми право сключати за се.

— А чому-ж не маємо? — скрикнув Гайков.

— Тому, — одмовив Марко, — що ні в якому законі не сказано, щоб сключати школяра за те, що він чита українські книжки. Вибачайте, Олександрє Івановичу, — повернувшись Марко до директора, — я таки по правді не знаю, з чого повстав увесь цей розрух і на що се діло з'явило ся на педагогічній раді.

— Як — на що? — спитавсь директор. — Українські книжки...

— Цілком розумію, на що, — додав Каншин, — ми не можемо дозволити хохлацької пропаганди.

— А я, вибачайте, цілком не розумію, яку ви тут бачите пропаганду. Книжки цензура дозволила і продають ся вони по книгарнях. Нікому з учнів купувати книжки закон не забороня. Хлопець пішов і купив. Його можна карати за те, що він приніс ці книжки в класу, бо се заборонено гімназіальними правилами; але се річ така, що її може зробити кожен клясовий доглядач, не займаючи педагогічної ради.

— Правда! правда! — забалакали другі вчителі. — Нема ніякої рації робити з цього діла історію.

— Але-ж ми не можемо дозволити, щоб школярі збивали ся з пантелику, читаючи ті книжки, — сказав директор, — ще такі, як „Гайдамаки“. Дивуюсь, як їх дозволя цензура.

— Не можемо дозволити! — скрикнув і собі за директором Гайков.

— Нема тут чого дозволяти, ні не дозволяти! — озавсь старий учитель Загоровський. — Се не до нашої юрисдикції належить. Я цілком згожуюсь з Марком Петровичем, що ми можемо покарати школяра за те, що він приніс книжки в класу, а не за те, що він їх чита. Нам звелено, щоб ми йому

не давали тих чи тих книжок, а що йому дома дають, те не наше діло.

— Я з цим згожуюсь, що не наше діло, — сказав Кашин, — але-ж се українські книжки.

— То що, що українські? — спитавсь Марко. — Я не бачу в цьому нічого особливого.

— То ви самі українофіл! — підскаочив Гайков до Марка. — Адже українофіл?

Марко глянув на Гайкова. — У того очи так і впили ся в Маркове обличчя: що, мов, скаже?

— А вам яке діло? — спитавсь Марко.

— Але-ж ви українофіл? — допитувавсь Гайков.

— Що ви, пане Гайков, узяли на себе ролю сьлідчого? — спитавсь Марко і так подививсь на Гайкова, що той мусів одійти геть.

— Та як-же, панове? — спитавсь директор.

— А так-же, — одмовили вчителі, — покарать учня, щоб не посив книжок у клясу та й годі.

Директор розсердив ся і нічого не сказав. За те він потім накинув на того учня яку тільки міг велику кару.

А Маркови теж не минула ся дурно його оборона та розмова з Гайковим. Через декільки часу Марка покликано до куратора.

— До мене дійшла звістка, — сказав той, — що ви розповсюджуєте в гімназії шкодливі ідеї.

Марко спитавсь, відкіля ці звістки.

— Се моє діло, — одмовив куратор, — але-ж перестерегаю вас, щоб цього більш не було.

Марко розповідав про цю розмову з куратором Загорському.

— Нема нічого дивного, — одмовив той, — адже Гайков кураторський шпиг.

— І він досі в гімназії? І його досі не випхано?

— Випхано! Себе випхаеш, як що з їм зазмагаеш ся, а його ні. Не ті тепер часи, Марку Петровичу, — додав зітхнувши старий, — нема товаришування, солідарности поміждо вчителями, — не можна нічого зробити.

— Я й сам бачу, що нема солідарности, — сказав Марко, — але чому?

— Чому? — перепитавсь Загорський. — Не зовсім

зручно тут балакати, бо може де Гайков товчить ся, або з школярів хто — в кожному клясі є шпиг. Скажу коротко: не той час!

— Але що-ж то значить: не той час?

— Який недогадко! Значить, що тепер царює шпиг та кулак — от що! — одмовив зло Загоровський на вухо Маркови. — Не дуже балакайте тепер, бо вже директор і так на вас оком накинув.

— За що?

— За те, що ви не Гайков, мабуть! — одказав Загоровський. — Та що тут балакать: час тепер не той!...

І старий пішов геть...

Марко й сам бачив, що тепер справді „не той час“...

До сумного вражіння од гімназії додало ся друге сумне вражіння. Се було те, що діялось у товаристві. Досі всіх книжок було видано тільки троє; гроші платили ся погано, поміж товаришами був нелад, були непорозуміння.

Не в один гуж всі тягнуть —

ці слова, казані про всю Україну, можна було прикласти і до сього невеличкого гуртка. Спірки були що разу, як збирало ся товариство, хоча деякі не платили вже з пів року своїх вкладок. Деякі так навіть затого зовсім кинули ходити на товариські сходини.

Але все-ж якось тягло ся. Прийшло 25 лютого, великий Тарасів день. Зійшлись, як і звичайно до старого Овсієнка, зійшлось затого усе товариство. Спершу були в церкві, панихиду одправили, а то ці Овсієнко закликав усіх до свого хліба-соли.

Великий день мов дужче повднав усіх, всі були щиріші один до одного, чуть було товариський дух.

Почали ся тоасти, вишили за батька Тараса, за Вкраїну, а далі устав Семен і сказав промову. Він не готувавсь до неї, але казав з щирого серця, як вилило ся. Він казав про те, що гинули ми й гинемо тим, що розділяємо ся на ся, ворогуємо, ніколи не солідарні між себе і з щирим запалом закликав потім до братерного єднання на полі праці для рідного краю. Семен скінчив свою промову Тарасовим словом:

Любіте ся, брати мої,

Вкраїну любіте!

Промова ця припала до серця всім. Дехто почав стискати Семенови руку. Шкляренко — він теж тут був — здасть ся, найщиріше вислухав Семенові слова.

Потім устав молодий студент Гайденко. Він хотів одмовити Семенови. В його промові не було нічого надзвичайного, але вона теж була щира. Він казав про те, що добре зроблено, що нагадано Тарасів заповіт, що особливо тепер треба його не забувати, коли нас женуть „и рекуть всякъ золь глаголь на ны лжуще“, і скінчив словами:

— Блюдіте, да не порабощені будете.

Одначе ся щира промова не всім сподобалась. Дехто скрививсь, а найбільш Савчевський та Човгань. Марко помітив, але тоді ще не міг зрозуміти, що саме їм тут не сподобало ся. Тоді устав Марко.

— Слухав я вас, — почав він, — і серце моє раділо. Серед цих утисків, серед цього гонення почути такі слова — се цілюща вода на серце...

Але він не скінчив. Ту-ж мить до його підскочив Човгань: обличчя бліде, скривлене, сам аж трусить ся, як крикне:

— Як ви смієте казати се там, де єсть люде, щó служать у міністерстві народньої просьвіти.

Марко зупинивсь:

— Хіба що?

— А те, що ви кажете про гонення та утиски! А ви знаєте, що за такі розмови в нашому міністерстві не подякують.

Човгань аж трусивсь увесь з злості. Його невеличка постать з блідим брезклим обличчям з невеличкою рудою бородою здалась-би комічною, як-би те, що він казав, не було таке гидке.

— Чудне діло! — одмовив Марко, дивлячись на його, — я служу в тому-ж міністерстві, що й ви, і не бою ся казати те, що кажу, а ви боїте ся його слухати?

— Мало чого хто не скаже! — одмовив Човгань. — Вам байдуже за себе, так ви й лізете з криком!

— Та скажіть-же нарешті, — чого ви боїтесь? — скрикнув палкий Бійчевський. — Я теж учитель, але я згожуюсь не з вами, а з Марком Петровичем і питаю ся вас, чого ви боїтесь? Хто може довідати ся про се?

— Я по чому знаю! — одмовив Човгань, дивлячись на бік. — Тепер такий час, що кожного бій ся.

Дехто зблід, дехто почервонів. Бійчевський зробивсь білий як полотно і підступив до Човганя.

— Чи не були-б ви такі ласкаві, добродію, що узяли-б свої слова назад?

— Ідьте ви геть! — скрикнув Човгань. — Я не бажаю бути в товаристві, котре коли не сьогодні, так завтра забереуть до тюрми. Я більш не член!

І він укопив свого цїліндера та й подався з хати. Бійчевський постояв хвилинку, не знаючи, чи кинутись йому за Човганем, чи облишити справу; потім плюнув і сів на своє місце.

Ту-ж мить піднявся довгий Савчевський.

— Я... мм... я теж думаю, що... мм... краще нам кинути сї іграшки, бо вони небеспешні. Бувайте здорові!

І він велично пішов з хати туди-ж, куди й Човгань.

Деякий час тиша панувала в хаті. Трохи згодом старий Овсєнко устав з свого місця і хотів говорити, але спершу не міг. Нарешті він набрався сили і почав тремтячим од зрушення голосом:

— Панове товариство! До сивого волосу я дожив, а досі ще не бачив, щоб коли так робили щирі земляки. Бояли ся й ми дечого та й боїмо ся, є і в нас сімья, ради котрої іноді побережеш ся, та не було досі такого поганого діла: ніхто не бояв ся казати свої думки серед щирих товаришів, ніхто не кидав на їх підозрювання в зрадництві. А сьогодні стало ся те, чого двадцять, десять років назад сподівати ся не можна було. Скажіть ви міні, старому, що воно за знак?

— Знак се поганий, батьку! — почав Марко. [Овсєнка, найстарійшого країнофіла в місті, часто звано батьком]. — А коли хочете знати, що воно таке є, то се дочасне затемнення розумів. Бачуть люде — сила панує, та й злякали ся, подумали, що ніколи тому пануванню кінця не буде. І почали за власну шкуру бояти ся і не тільки діла ніякого не робити, ніяких своїх думок не появляти, а ще й чужої думки бояти ся. Отже ми не злякаємось цього. Друзі й браті! випиймо ми, ті, що zostали ся, випиймо щиро за віру проміж себе та єдність! Випиймо на ознаку того, що не вважаючи на втікачів твердо й міцно стоятиме на своєму місци наша невеличка громада!

Ся промова підняла вгору пониклий дух. Всі випили, знов почали ся розмови, але ніхто вже не згадував про вті-

качів, мов нічого того й не було. Розійшлись усі, як здавалося, по братерньому.

Отже, Марко та Семен, що думали так, дуже помилилися. Надійшла неділя і товариство повинно було зійти ся в Овсїєнка. Прийшовши туди Марко та Семен стріли там тільки господаря, Бійчевського та Гайдєнка з одним студентом. Побалакали сумно, сподіваючись якогось лиха, то про те, то про се та й розійшлись.

Другого-ж дня Марко йшов з Семеном і стрів на вулиці Тапчанського.

— А чого се ви не були? — спитавсь він у його.

— Бачите, — заметушивсь той, — ніколи було, робота... Та бачите — в мене тепер грошей обмаль, то я поки не можу бути в товаристві. Там... потім... А тепер поки не вважайте мене за товариша. Вибачайте, міні ніколи!

Та й побіг од їх „у собачу ристь“, як висловивсь про його зараз-же Семен.

— Ходім до Овсїєнка, скажемо про се! — порадив Семен. Марко мовчки кивнув головою.

Прийшли до Овсїєнка, але не встигли й до краю до пуття розказати, а той уже каже:

— А в мене зараз були — він назвав прізвища двох членів — і теж сказали. А вчора я стрів Крамаревського — теж каже.

Сі слова мов прибили всіх. Всі троє посідали і довго сиділи мовчки, похнюпившись. А далі Овсїєнко каже:

— Оттак! страха ради юдейська всі розбігли ся! Що-ж тепер робити?

— Що робити? — спитавсь Марко, підводячи голову. — Нас шестеро: ви, Степане Гавриловичу, Бійчевський, Гайдєнко, Доценко, Семен Олександрович та я. Я певний, що ці шестеро не зречуть ся свого діла. Тож хай буде наше товариство й з шістьох душ — можна добро зробити й шістьом.

Ті слова сподобались і Семенови й Овсїєнкові. В неділю вони покликали Бійчевського та двох студентів і було постановлено, що товариство з шістьох душ буде істїти і робити все, що зможе; нових-же членів приймать тільки людей дуже певних.

А в гімназії тимчасом діялось ще гірше, ніж перш. Марко почував там себе самотнім. Найсимпатичнішим з усіх

був йому там Загоровський; але то був уже старий чоловік з великою сім'єю, — йому було не до молодих пориваннів. Другі-ж учителі затого всі були просто урядовці, котрі приходили в гімназію, щоб вдовольнити офіційним вимаганням і готові були за свою плату вчити, чого скажуть. Розмов про віщо небудь, окріч гімназії та звичайної щоденщини, проміждо вчителями затого не було. Правда, було декільки чоловік з „образом та подобієм Божим“, з вищими інтересами, ніж карієрізм, але вони були залякані, вони ховали ся з своїми поглядами. Марко кілька разів забалакував з товаришами про літературу, про сьогочасні питання, але од його одкручувались загальниками, вертаючись до розмов про карти, а то й просто мовчали. Тільки Гайков був завсігди балакучий, веселий, говіркий, балакав про все та про вся, пускав часом ліберальні фрази, маючи на меті піймати якого дурника, що озвав ся-б на ті фрази. В кожній класі теж був свій Гайков. Все, що робило ся в класі, ставало відомо директорови та інспекторови і ті, не маючи нічого великого, з дрібниць робили історії. Школярі були теж деморалізовані цим. Марко бачив, що він не вдержить ся тут, бо не може з таким ладом погодити ся. Несподіваний випадок поскорив справу.

Се було вже другого року після Різдяних сьвят. Два школярі з пятої класи були в публичній бібліотеці в читальні, де гімназіястам заборонено було бути. Розмовляючи в класі з товаришами, вони якось про це сказали. Другого-ж дня інспектор покарав і дуже тяжко тих двох учнів. Марко прийшов у класу і побачив, що ці два дорослі хлопці, дуже гарні учні оба, стояли біля дверей.

— Сідайте на місце! — сказав він.

Хлопці мовчали і стояли похнюпившись. Другі сказали:

— Вони покарані!

І вони розказали всю справу. Інспектор звелів хлопцям стояти місяць біля дверей на всіх лекціях, коли не треба було писати, і окріч того записав їх у „штраховані“. Хлопці стояли і трохи не плакали, так було їм, великим, сором стояти біля дверей. Марко обуривсь.

— Сідайте, — сказав він, — і на моїх лекціях не стійте.

Хлопці не знали, що робити. Вони боялись інспектора.

— Сідайте! — промовив удруге Марко, — я не могу

вчити, коли у мене в класі хто стоїть. Я сам скажу про се інспекторови.

Хлопці сіли. Марко сів собі за стіл, але не міг вчити. Він устав і почав нервово ходити по класі. Учні мовчали. В класі панувала тиша. Відраау Марко повернувся до учнів і промовив:

— Панове, міні не довго випало щастя вас учити; але я сподіваю ся, що і того часу, що я з вами був, було досить, щоб ви вневнили ся, що я ніколи не вчив вас чому негарному, неблагородному! Я сподіваю ся — тремтячий голос Марків подужчав, — що од мене ви не чули такого слова, котре могло б штохнути вас на думку вважати чорне за біле і навпаки. Тим-то я маю надію, що й тепер ви поймете міні віри, коли я вам скажу те, що думаю. Той, хто зраджує своїх товаришів, хто виказує на їх — падлюка!

Марко одразу сів за стіл, розгорнув журнал і серед незворушиної тиші додав:

— Такий не повинен бути поміж чесними людьми!

Так-сяк дотягнувши до кінця лекцію, Марко пішов до дому з рішенцем у голові — кинути гімназію. Тим-то він мало звернув уваги, як другого-ж дня директор напавсь на його мокрим рядном:

— Ви проповідуйте лібералізм, — казав директор. — Ви псуєте нам учнів.

— Я вам скажу те, чого не сказав школярам, — одмовив Марко. — Я вам скажу те, що система шпигів та доносів така система, з котрою чесний чоловік не може погодити ся, і як-би я був школяром, то я порадив-би товаришам викинути з класи ту негідь, що ганьбить нашу гімназію. Але-ж як я вчитель, то я тільки можу сказати вам, що я більш служити з вами не буду!

Він повернувся і пішов. Марко більш не вертався у гімназію і через тиждень знайшов собі іншу роботу — секретарювання у мійській часописи. Плата була невелика, але Марко дещо й писав в газету і мав з того чималий заробіток. Життя його зробило ся спокійне, бо він не обурювався і не роздратовувався що-дня тим, що бачив у гімназії. І як-би тільки не одно, те, що ніколи не забувало ся, то Марко міг-би вважати себе за щасливого. Але-ж те справді ніколи не забувало ся

і привабливий та гордий Катеринин образ не покидав Маркової душі.

Так поминула зима. В квітві, в суботу перед вербною неділею, Марко, прийшовши до дому стрів у себе Семена. Семен тепер жив од його нарізно: він мусів мати осібну домівку, бо скінчивши університет, мав лікарську практику, з того й жив. Він тепер складав гроші, готуючись до сім'йового життя, бо він уже посватав Марусю Овсієнкову. В літку повинно було бути весілля, бо дівчина мусіла добути в школі академічний рік.

— А! здоров друже! — зрадів Марко. — Як ся маєш?

— Та так, потроху! Ось я тобі листа приніс.

— Од кого?

— Од моєї молодой. Чи не перебивати ти в мене думаєш, що листуєш ся з нею? Пише міні — віддай Маркови Петровичу листа, але що в йому, міні не каже.

— А може й так! — засміявсь Марко, — хоча я, здаєть ся, твоїй молодій ще й єдиного слова не написав і не розумію, що міг-би визначати її лист.

Марко розірвав коверту і прочитав:

„Я сидю тепер біля ліжка хворої Катерини Дмитрівни. Вона вже другий тиждень не встає. Не знаю, чи вона й устане. Вона дуже бажала-б вас бачити. Як що ви схочете побачити її, — може в останнє, — приїздіть просто в школу в с. Доділу“.

Далі писало ся, як треба їхати і підпис: М. Овсієнкова.

Спершу Марко навіть до пуття не зрозумів листа. Він хотів читати вдруге, але тільки прочитав перший рядок, як усе відразу зрозумів.

— Що тобі? — скрикнув Семен, побачивши, як він зблід.

Марко мовчки простяг йому листа.

Семен перечитав його і глянув на Марка.

— Ти розійшовсь з нею? — спитавсь він.

Марко кивнув головою.

— Сей лист прислала міні Маруся, пишучи, що не знає твоєї адреси, тим і пише на мене. Його привіз з слободи чоловік. Їхати туди по залізниці ніч. Завтра вранці ти будеш там.

Марко тимчасом уже захопив свій чемодан і похапцем почав кидати в його щось. Семен зупинив його:

— Друже, заспокійсь! Поїзд іде тільки увечері і ти ще поспієш.

Одчинили ся двері; увійшла слугівниця з обідом і почала готувати його в другій хаті.

— Винесіть! Я не обідатиму! — промовив Марко.

Але Семен примусив його сісти за стіл і виїсти кілька ложок борщу. Потім Семен, що теж робив у редакції тієї газети, де й Марко, взяв на себе той час, поки Марко їздитиме, секретарювання, умовивсь про деякі дрібні справи і ввечері одвіз Марка на дворець залізниці.

Марко балакав з Семеном, дививсь на людей, що метушилися круг його по двірці, але все те було од його якось далеко. Він думав тільки про те, що завтра буде.

Ось воно! Прийшло! Прийшло те, про що він і в голови не клав. Вона хвора, вона, може, не встане! У його в голові туманіло, як він згадував слово „смерть“ і він однихав його од себе...

А Семен щось балакав до його, навкруги метушивсь народ. І всі про щось балакали, клопотались. Маркови здавалося, що се десь робить ся не тут, десь за якимсь муром, котрий одрізняє його, Марків світ од того їх світу. Мур скляний і Маркови все видко й чути, що робить ся на тому світі. Он там Семен щось каже; якийсь товстий купець каже к р а м — це слово якось піймала Маркова увага; хтось щось кричить неначе; чи всі кричать? Маркови байдуже. На Марковому світі є тільки двоє: Катерина та він і одна думка, одна річ — те, що він мусить приїхати до Катерини і побачити її зараз же, швидко, бо вона, може, не встане. І знов туман облягає Маркову голову, і знов він нічого не бачить.

Ось гукають білети брати. Марко згадує, що це має звязок з його світом. Він покида Семена біля свого чемодану, а сам іде й бере білет.

Ось дзвонять. Поїзд важко гуготить, аж дворець трусить ся, і підходить до платформ. Двері одчинено. Стівнище людське відразу посунуло у їх. Воно захопило й Марка з Семеном і винесло їх на платформу.

Увіходять, товплячись, у вагон. Семен сидить деякий час, потім прощаєть ся, широ стискаючи руку та йде. Марко встаєть ся сам. Він сидить біля вікна і дивить ся у вікно. Там темно. Тільки вогні у великому місті мигтять низками у тій темряві. Та паровіз пробіг палаючи своїм ліхтарем. Хтось з ліхтариком перебіг проз вагони й зник під поїздом. Стук-

стук-стук! — щось підбивають на споді в вагоні. Чи скоро їхати?

Людей все більшає та більшає. В вагоні робить ся душно. Хтось закурив. Дихати важко. Чи скоро їхати?

Перебіга хлопець по вагонови — розносить газети. Він вигукує вивчені назвища і каже, що все це дуже цікаве. Здасть ся, він і Маркови щось казав? Чи скоро-ж їхати?

Вдруге дзвонять. Хто не їде, прощаєть ся. Починають ся поцілунки, обнімання, стискають руки. Виходють і штовхають Марка. Та коли-ж се втретє дзвонитимуть?

А, ось і втретє. Ще пів хвилини. Коротке свистіння у повітрі. Трохи струснуло вагон. Їде!

Міські вогні зникають у темряві. Тепер нічого не видко, тільки сама темрява. Ні, иробігли проз залізничну будку — миготнув на мить сьвіт з віконця. А далі знов темрява.

— Яка це стація буде? А скільки їх до Доділної? А там, здасть ся, кіньми? Як се довго!

Довге товсте свистіння. Стація. Дехто виходить, знов увиходить. Якись люде бігають по платформі, видко червону шапку стаційного начальника.

— Накладай швидче! — кричить хтось.

Дзвонять удруге і зараз-же втретє. Їде. Знов темрява з надвору. У вагоні ледви блимають дві сьвічки. Половина вагону спить. Дехто балака. Троє Вірмен зараз-же збоку Марка гуляють у карти. Марко чогось дивить ся на їх уважно та довго.

— А што, мілий челавек, схател в карти іграть?

Це до його, здасть ся, кажуть? А може й не до його? Та хіба що?

— Што ти, мілий челавек, так смóтріш на карти?

Марко розуміє, що се до його і одвертаєть ся до вікна. Промайнув червоний диск. Знову стація? Як швидко! Зупинились... Знов їдуть.

Марко вийшов з вагону. Поїзд гуготить і рине, розриваючи темряву. Ось він завернув ся і стало видко паровізі і з його сьайнуло сьвітом. Дим вилетів з димаря вогняно-червоними клубками. Вітер підхопив його, пошматував, розніс у темряві.

Марко дивить ся униз. Він бачить, як земля швидко бі-

жить під ногами. Він довго дивить ся на неї і в його почина запаморочувать ся голова.

— Гаспадин! а гаспадин! — торка його хтось за плече. Марко озирать ся. Кондуктор з ліхтарем.

— Не дозволено стояти тут, як поїзд іде.

Марко покійно йде у вагон і сідає на своє місце. Їдуть... Спиняють ся. Стація. Знов їдуть. Знов, здаєть ся, стація. Чого-ж се так довго не рушають з неї. Марко дивить ся у вікно — люде метушать ся, жандар ходить. Господи, та чи скоро-ж рушать? Це мабуть жандар оцей держить поїзд? У Марка в грудях піднімаєть ся зло проти жандаря. Здаєть ся, вже дзвонено втретє? Се їхати. Стривай! Та яка се стація? Це-ж та стація, на котрій йому треба вставати, до Катерини їхати! Як-же се він так? Швидче! швидче! Він хала чемодан, біжить до дверей. Але ту-ж мить поїзд одразу зриваєть ся з місця і лине страшенно швидко.

— Боже мій! стійте! стійте! — хоче скрикнути Марко і не може і... прокидаєть ся.

Він спав. Чи довго? Він ще памята п'яту стацію. А тепер яка? У вікні вже сьвіт. Марко глянув на годинник: через пів години Доділна.

Як поїзд іде тихо, безбожно тихо! Марко жде, жде, жде і не діждеть ся. Це-ж немилосердно так робити — так тихо їхати. Чи це вже діск? Він! Ось і стація. Марко вибігає з вагону перший.

— Підвезти, пане? — зараз-же хтось його питаєть ся.

— Везіть!

З рук у Марка вихоплено чемодан і Марко йде сьлідком за високим чоловіком у чумарці, переходить стацію і виходить на другий рундук. Чоловік з чемоданом десь зникає. Марко дожидає його на рундуку. Через дві-три хвилини пара поганеньких мужичих коней, запряжених у віз, під'їздить до рундука. Марко бачить на возі свій чемодан і розуміє, що на цьому возі буде він їхати. Він влязить на віз.

— Но! но! — кричить на коней чоловік у чумарці.

Коні біжать степовим шляхом. Сонце оце тільки вирина з-за обрію велике червоно-золоте. І траву, і коней, і чоловіка у чумарці воно робить червоно-золотим. Біла роса на траві почина займати ся сяючими колірами. Трохи похолодно.

— Далеко до Доділної? — питаєть ся Марко, але віз-

ника його не чує, кричучи на коней: „Но! но!“ — Марко удруге питаєть ся, торкнувши візнику за плече.

— Га? що? — повертаєть ся той.

— Скільки верстов до Доділної?

— Шість — адже я вам казав! — одмовля чоловік і знов повертаєть ся до коней.

Марко зовсім забув, що йому про це вже казано. Але тепер він уже не забуває. Чоловік їде добре. Шість верстов — трохи більш, ніж через пів години, він побачить її.

Ця думка про те, що він побачить її, проймає його всього від ніг до голови якимсь гострим струсом, мов громовинна течія проходить йому крізь тіло. Він тепер уже не може заспокоїти ся ні на хвилину. Вся його істота направлена на одно — на дождання. І він жде, затаївши духа, стиснувши руки.

Шлях усе вєть ся сірою смужкою поміж зеленою травою, денєде помішаною з жовтим цвєтом. Ось він заверта ліворуч, сходить трохи вниз. Вони в яру.

— Но! но! витягайте!

Коні швидко збігають на гору, і просто перед Марком з'являєть ся слобода.

— Нєвже Доділна? — думає Марко. Йому хочєть ся спитати ся про це у візника, але він боїть ся се зробити, щоб не почувти: нї.

— Оце й Доділна! — байдуже говорить візника.

Коні швидко пробігають вигін, розгонючи корів та телят, щб пасуть ся коло дороги. Починаєть ся слобода.

— Так вас, кажєте, в школу? — питаєть ся візника.

Марко мовчки кива головою.

— До вчительки?

Марко мовчить.

— Кажуть-би то, — вона хвора... А ви-ж їй родич, чи як?

Візника, не маючи одмови, ляска коня батогом.

— Ось і школа!

Візника показує невеличкий будинок з солом'яною покрівлею — обідраний, обшарпаний. Коні підбігають під рундук і стають. Серце у Марка в грудях відразу стрепенуєть ся і стихло.

Марко швидко, чипляючись за полудрабки, злазить з воза. Він зараз-же оддає візникови гроші, хапа чємодан і сходить на рундук. Двері зачинєні.

— Стукайте! — каже візника. Він не їде — хоче ма-буть подивити ся, як прийматимуть Марка.

Марко стука. Зараз-же двері одчиня Маруся Овсієнкова. Така-ж невеличка з голубими очима, з кучерявим над лобом волоссям, як і перш. Вона не здоровкаєть ся, а просто каже :

— Слава Богу, що ви приїхали!

І вона веде Марка за собою через темні сіни у невеличку клясову хатку.

— Будьмо тут! — каже дівчина. — Сідайте! Вона тепер спить.

Марко хапа її за руки.

— Що з нею?

— Тихше! Сідайте! Я вам усе розкажу.

Марко сіда на школярський ослін, дівчина теж.

— Вона хвора. Дуже хвора. Вона не сподіваєть ся встати. Учора я послала телеграму до батька та до матері її. До вас я послала листа, бо однак ви ранійш не могли виїхати, а з чоловіком післати — певнійше.

— Але-ж чого ви міні не кажете, чим вона хвора? Чого вона занедужала?

— Чого? Багато казати та нічого слухати! Ви знаєте, які школи в нас. У мене школа гарна — я тут за три верстви вчителюю — а як приїхала я вперше до Катерини Дмитрівни, так аж злякала ся — ще гірше. Гляньте самі! — і вона показала на низеньку тісну хатку, з трьома невеличкими вікнами, в котрих половина шибок була побита та заліплена папером, з земляною долівкою та з пообдираними рудими мокрими стінами. — Бачите, яке! А тут робота — день-у-день кричи — заболить груди. А ще — знаєте, може, наше сільське начальство? Йому ото як допекти нещасну вчительку, так більш нічого їй не треба. І дошкуляють так — ні за те, ні за се. Бачите, які вікна, а на зиму других не було. Холод такий, що вода замерзає в клясі. А вони не дають чим топшити. Та ще їй того мало. Вам ось не видно було, — за нашою школою зараз-же в цьому дворі їй волость. Найняли одного сторожа і на школу, і на волость. Звісно, сторож старшини та писаря слухаєть ся, а не вчительки. Не звеліли вони йому ні топшити, ні воду носити.

— Та за що-ж це все?

— Катерина Дмитрівна сказала їм, що пожалієть ся на

їх за те, що вони їй школи не полагодили. От вони й уїли ся. Доводилось так, що як школярі води не принесуть, то хоч сама носи. І ходила колись Катерина Дмитрівна сама з відром... Можете зрозуміти, як їй легко тут було, їй, що звикла зовсім не до такого життя! Скінчило ся тим, що оце по весні застудилась. У грудях запалення зробилось. Приїздив лікар земський, лічив. Я їй радила до дому написати, але вона не схотіла, — боялась, що як дізнають ся про все батько та мати, то не пустять на другий рік у школу. Ну, лікар вилічив, вона ходити почала та й знов таки не береглась ні трохи. І ото далі — кашель, груди болять і сили ніяк нема. То приїздила, або й приходила часом до мене — ми з нею широзійшлись, — а то вже бачу, що нема, — сама я до неї. Вона лежить, неадужає і встати. Я тоді зосталась коло неї... Довго вона, бідна, кріпилась, а далі попрохала до вас листа написати...

Голос у Марусі затремтів і на очех блиснула сльоза. Марко спитавсь тихо:

— Запевне вона вам казала... ви знаєте, яка вона міні дорога... Скажіть-же щиро, не ховаючись, що з нею?

— Бог його знає... — одмовила якось непевно Маруся. — Лікарів вона не хоче кликати, а хвора дуже.

З тієї хати почувсь кашель.

— Прокинулась, мабуть, — прошепотіла дівчина. — Посидьте тут, — я піду подивлюсь.

Вона тихо, навшпинячки, пішла до дверей і прислухалась. Чуть було, що хвора прокинулась. Маруся пішла туди. Почулась тиха розмова. Марко силкувавсь пізнати у їй Катеринин голос і не міг. На душі в його було чудно. Він і не боявсь, і не сподівавсь — він бажав тільки одного — самому побачити її.

Проминуло з чверть години. Без краю довгою здалась вона Маркови. Нарешті Маруся вийшла.

— Їй сьогодні краще, — прошепотіла вона. — Я їй сказала, що ви запевне сьогодні приїдете, — я ще не казала, що ви приїхали, щоб відразу не вразити. Ще трошечки підждіть!

Вона пішла знов у ту хату. Знов з чверть години проминуло, поки вийшла Маруся.

— Ідіть!

Марко перейшов клясу і увійшов у одчинені двері. Маруся зачинила їх за їм і сама залилася в клясі.

В невеличкій хатині з одним вікном стояло ліжко, біля його столик та стілець. Але сього не побачив Марко за тим блідим схудлим дорогим обличчям, котре він уздрів на тому ліжкові на білій подушці.

— Милій мій! — і вона простягла до його руки.

Небесною музикою здалися Маркові ті слова з її вуст, сказані рідною мовою. Її руки обвилися круг Маркової шиї, Маркові уста припали до її гарячих сухих вуст.

— Милій мій! щастя моє! Ти прийшов! Ти не забув!

— Я не міг тебе забути, моя кохана! Я не міг тебе забути, бо ти, тільки ти те щастя, що судилося мені на світі. Як-же я міг тебе забути?

— Ні, ні, — я знала, що ти мене не забудеш! Така впевненість у мене була. Але-ж як я тебе дожидала, як я боялася, що ти сплзнішся!

— Голубко моя, не кажи так! Скажи мені, що з тобою?

— Я й сама не знаю, що зо мною. Я була дуже хвора, така хвора, що думала, що вже вмираю. Але тепер я чую, що я оджила, що нова сила влилася у мою душу, в мої груди, як я побачила тебе, мій милий, мій коханий, мій єдиний... Ти не покинеш мене? Ти не можеш мене покинути.

— О, доле моя!...

— Ні, ні, цить, цить! Я хочу сказати все. Я не хочу, щоб ти мене покинув. З того часу, як ти поїхав, я тільки тобою й жила, тобою й дихала. Ти навчив мене любити Україну, ти показав мені мету в житті, ти мене напоїв коханням, котре тоді вмре, як я вмуру. Ти все це зробив і я твоя, уся твоя, і я не хочу, щоб ти мене покинув, поки я жива! Я так довго тебе дожидала!...

— Не покину моє щастя, моя доле! Як я можу тебе покинути, коли стоїлась, змучилась по тобі уся душа моя, коли я жив згадкою про тебе, коли я ніякої розваги не міг знайти без тебе.

— Дивись мені в вічі, мій коханий! Я так люблю твій погляд. Часом соромлючись я зазірала тобі в вічі і потім червоніла. Тепер я можу дивитися в твої очі, що зазирають аж у моє серце.

— Мила! не будемо багато балакати: тобі це шкодить.

— Не будемо! не треба! Сиди тут і дивись на мене! На що балакати? Ми й так розуміємо одно одного.

Її рука лежала у його руці, їх погляди не розминали ся і вони мовчки дивили ся одно на одного, і їм уже нічого не треба було казати...

Хвора сидить на ліжкові, за спиною в неї подушки. Біля її ліжка сидять Марко та Маруся. Катеринині очі сяють життям та щастям. І Марко, й Маруся забороняють їй балакати, але слова так і рвуть ся у неї з вуст.

— Любий, — каже вона, — коли я досі не вмерла, то за се мусиш дякувати моїй дорогій, моїй любій Марусі.

І вона вдячним поглядом дивить ся на почервонілу Марусю.

— Як-би не вона день і ніч коло мене панькалась, може ти вже мене й не побачив-би.

— Годі! годі! — переинія її Маруся, — тобі не можна багато балакати.

Хвора на хвилину стихає, а далі починає знов:

— Чом не можна міні багато балакати? Я чую, що в мене сили більшає, що я оживаю. Я хочу балакати, бо я довго мовчала. Я була нещаслива і тоді я мовчала; тепер я щаслива, і я хочу балакати.

— Еге! я щаслива, я цілком щаслива! Міні тепер не жалко вмирати.

— Голубко! що-бо ти кажеш! — переинія її Марко.

— Я кажу те, що думаю. Але ти не лякайся. Я ще не вмираю. Я ще поки не вмру. Я чую, що я житиму, чую, що я вертаю ся до життя.

— Вертайсь, моя любя! — говорить Маруся і підсува їй за спину подушки.

— Я тепер не боюсь, що не діждусь татка й мами. Але чому вони довго не їдуть? Як ви стрінете ся, милий? — питаєть ся вона трохи турботно Марка.

— Було-б краще, як-би спершу приготувати їх до цього, — говорить Маруся.

— Ні, краще відразу скінчити діло, щоб швидче, швидче було все гарно, було все любо.

X.

З того часу все посуваєть ся надзвичайно швидко. Потім, як уже все скінчило ся, в Маркових згадках цей час ніколи не уявляв ся інакше, як поскореним бігом подій, щó поспішались одна за однією невпинно-швидко. Вони так скоро приходили й проходили, що, здавалось, кожна з їх не має з другими звязку, що це просто нарізні картини, щó постають перед очима одна по одній, сяєвом своїм душу осяваючи або в темряву її вгортаючи; повстане одна, блисконе в душі, і зараз геть зникає, щóб дати місце іншій, ще виразнійшій та вразливішій. Звязок був, — се десь далеко-далеко чуло ся в душі, — але блискучість, виразність та вразливість тих картин примушували не помічати його.

Памятає Марко один ранок. Се було в суботу під Великдень. Катерина забажала, щóб Марко їхав з їми — з нею та з батьками — до їх і щóб пробув там Великдень. І ось тепер Марко тут, знов у Городинських — уже третій день. У його в душі починає прокидатись надія на краще...

Катерина устала. Вона ледві ходить і все сидить, але, не вважаючи на всі вмовляння, вона не хоче лягти і каже: — Я чую, що одужую. Я не можу лежати.

І справді, видко було, що з нею робить ся щось надзвичайне. Бліде обличчя зачервоніло ніжним румянцем, очі засяли яснійше, і в їх сьвітилась така сила життя, що всім було зрозуміло, що Катерина одужує.

І в Марка є надія...

В суботу вранці, як тільки Марко встає, до його в хату виходить пан Городинський. Він якийсь через лад ввічливий, хоча, здасть ся, йому щось ніяково. Розмову, з котрою прийшов він, починає невручно, якимись уривками, і Марко спершу не розуміє його. Нарешті розбира: пан Городинський дума, що проміж Марком Петровичем і його, пана Городинського, сім'єю повстали якісь особливі відносини, котрі не можна назвати цілком нормальними; і ось він, пан Городинський, бажав-би так чи інак в'яснити цю справу. Пан Городинський, звісно, не додає, що прийшов він сюди після двох вечірніх розмов з панією Городинською, що пані Городинська вже навіть і *ви* сьогодні йому не каже. Він тільки додає, що бажав-би почути,

який погляд має Марко Петрович на ту справу, про котру він каже.

— Міні здасть ся, — почина Марко, що ці відносини досить вияснені...

— О, ні, вибачайте, зовсім ні! — похапцем перепиня його пан Городинський. — Сподіваю ся, що те, що було сказано тоді, біля ліжка хворої, котру не можна було турбовати, роблячи або кажучи що навпроти неї... сподіваю ся, що ви не вважаєте того за яку формальну обіцянку...

— Я ніколи й сам не забалакав-би про се біля ліжка хворої, — говорить Марко. Але ви знаєте, що сама Катерина Дмитрівна почала сю розмову і бажала рішинця. Я сказав, що я люблю Катерину Дмитрівну. Про інше я навіть не міг думати, маючи на увазі те, в якому становищі Катерина Дмитрівна. Але ви також і те знаєте, що сама Катерина Дмитрівна забажала, щоб я ставсь її зарученим і ви з Марією Семенівною згодились на це. Я не знав, як ви дивились на свою згоду, але я дививсь на неї — і дивлюсь — серіозно, так саме, як і Катерина Дмитрівна, запевне.

— Про Катерину Дмитрівну нема чого балакати: вона хвора і тим ненормальна. Що-ж до тієї обіцянки, до нашої згоди, то я вже казав, чого так стало ся. Сподіваю ся тепер, що ви зрозуміли мене... Зрозуміли має і Марії Семенівні бажання...

Пан Городинський змовка.

— Вибачайте, — зовсім не розумію, — каже Марко.

— Велика шкода... Я... я бажав-би, щоб ви кинули всякі претенсії і сьогодні-ж виїхали з цієї господи, — зважуєть ся парешті пан Городинський.

— Вислухайте мене до краю, шановний Дмитре Івановичу, — каже Марко, і тоді скажіть по правді, що я мушу робити. Ось як стоїть діло. Ви, яко батько, і Марія Семенівна, яко мати, маєте право бажати, щоб я облишив усе. Але уявіть собі, що з цього буде. Ви бачите, яка Катерина Дмитрівна. Невже ви не розумієте, що коли ви скажете їй те, що кажете міні, то це її вб'є?

Це довід, проти котрого пан Городинський нічого не може сказати, бо бачить сам, що це непохитна правда.

— Еге, це її вб'є, — каже далі Марко. — І неਵже це буде краще батьковому та материному серцю?

Пан Городинський мовчить і тільки сльоза скочуєть ся у його з ока. Він не може сперечати ся. Він каже сумно :

— Не знаю... Чую, що нещастя впало на мою голову. Не обвинювачую вас, хоча як-би не ви, то не пішла-б Катерина у вчительки і не лежала-б тепер хвора.

— Я розумію вас, Дмитре Івановичу, і не можу вам висловити, як болить моє серце з того, що так стало ся. Але-ж ніхто цього не бажав, і я Бо' зна що віддав-би, щоб Катерина Дмитрівна не була хвора. Та навіщо-ж ми будемо ще додавати лиха? Ви добре розумієте, що я, поки Катерина Дмитрівна хвора, не можу й думати, щоб справдити те, в чому ми всі тоді обіцяли ся, хоча — скажу щиро — я люблю її і ніколи і нізачо не зречу ся її, як що доля судила міні безкрає щастя побачити її здоровою. Але-ж поки мусимо робити у всякому разі те, чого вона хоче, і ви знаєте, що було-б, як-би я послухавсь вас і поїхав відділь.

Пан Городинський маха рукою :

— Зоставайтесь поки!... Я побалакаю з жінкою...

Він виходить.

Великдень. Убраний стіл. Сонце сяє у вікно, осяває хату і тонку Катеринину постать. Вона сидить біля вікна. Вона ще трохи знесилена, але каже, що вона одужала зовсім і що тільки набиратиметь ся сили. Батько й мати приїхали з церкви. На столі вже стоїть сьвячена паска. Усі лагодють ся сідати за стіл. Тоді Катерина бере Марка за руку і вони вкупі підходять до батька та до матері.

— Тату й мамо, сьогодні велике сьвято, — зробіть-же, щоб воно було нам ще більшим...

Як через декільки хвилин щедро сяє сонце та обливає своїм сявном Катерину та Марка, що сидять поруч...

Вони йдуть, узявшись за руки, по сяючому сьвіжим молодим листом саду. Завтра вінчання в селянській церковці, і на його мають приїхати Семен та Маруся. Дивлячись у вічі своїй коханій, починає Марко малювати їх будучину...

— Коханій мій, — перепиня його вона, — на що ти про се кажеш? Я не хочу думати про те, що буде. Я щаслива, через лад щаслива тим, що тепер є, і не хочу згадувати ні про що інше. Прийде той час, тоді й буде те інше.

— Добре, моя зоре! — говорить Марко, вкриваючи її руки поцілунками.

А її голова схиляється йому на груди, і вони обоє нічого не бачуть і не чують.

На що їм бачити, як сяє сонце, коли в їх у серці сяєво ще яснійше? На що їм почувати, як пахнуть квітки, коли кохання сповня їм своїми пахощами всю душу? На що їм чути, як сьпівають пташки, коли в їх у серцях дзвенить чудова пісьня? на що?

Далі — маненька домівка в місті. В її усього три хатки, але в цих трьох хатках живе щастя. Марко гляне на стіни з простенькими шпалерами, на портрети по стінах, на білі завіси на вікнах, на свій стіл, що за їм він звичайно робить, і йому здається, що все те повите якимсь сяєвом од щастя. І він бачить тут її, ту, що розлива те сяєво. Він бачить за чаєм уранці її тоненький, ще досі схудлий пісьля хвороби, стан, одягнений у просту сукню; пишного волосся вона не встигла ще залести, тільки пристебнула шпилькою, і воно розсипалось по плечех, обрямовуючи дороге Маркови обличчя з блискучими „гордими“ очима, що дивлять ся тепер на Марка зовсім не гордо; Марко любить її з так розсичаним волоссям. Він сідає біля неї і, користуючись з того, що руки в неї роблять діло — наливають чай — бере волосся в руки і цілує його раз, двічі, тричі.

— Не пустуй! — сьміється вона.

— А чому-ж не можна пустувати?

— Адже ти, як був учителем, забороняв своїм школярам пустувати?

— Але-ж у їх не було такої спокуси!...

І він хапає її руки, котрими вона хотіла була одігнати його од волосся, і почина вицілювати кожен палець.

— Годі тобі, бо чай уже простиг і ти спізниш ся в свою редакцію!

Марко жалібно кривить ся і береть ся до чаю. Справді пізно, — вже 8½ годик, а звичайно в 9 починається робота в редакції. Треба поспішати ся. Стакан чаю випивається ся на швидко. Марко дивить ся на годинника: вісім годин і тридцять п'ять хвилин. До редакції дійти — десять хвилин, п'ять

хвилини на роздягання і таке інше; коли так, то він має десять хвилин вільного часу.

— Я мушу скористувати ся з його! — каже він по-важно.

І він бере Катерину і садовить її до себе на коліна.

— Що ти робиш! — пручаєть ся вона.

— Те, що треба робити доброму чоловікови! — каже він, тулячи її до себе.

Але вже час іти, і Катерина немилосердно прогонить його.

— Прощавай, люба, зірко, серце!

Він доходить до дверей, озирать ся і стриваєть ся з її очима. Вона так дивить ся, що він не може не вернути ся...

— Та підеш ти нарешті!?...

— Іду!

Він виходить у сїни, зараз-же вертаєть ся. Чи-ж він винен, що забув книгу?...

— Я вдруге замикатиму за тобою двері зараз, як тільки ти ступнеш за поріг! — каже Катерина, хочучи „зробити“ сердитий погляд і справді прогониць його.

Шість довгих годин у редакції!...

Вона стрива його біля дверей, бо чує, як він іде. Тека чи книжки летять з його рук геть, а її руки вже обвивають ся йому — круг шиї.

Після обїду вдвох — тільки вдвох — яке щастя! — година одпочинку. Вони сидять укупі на дивані і балакають усяку нісенітницю, іноді читають газету, але так, грошки: читати так скучно!...

Потім Марко мусить сїдати робити. Вони вдвох ідуть у манюсїньку Маркову хатку, всю заставляю понад стїнами книгами. Вона завсїгди сїда на канапці у куточку, чита зрїдка, більш шиє та дивить ся на його. Марко чує на собі цей погляд, йому хочеть ся одірвать ся од писання, щоб поцілувати її, але це суворо заборонено. Марко мусить дописати ту частину своєї роботи, що її призначено на день, і тільки тоді має право робити що хоче. Марко слухаєть ся сього наказу, одгонить од себе грїшні думки, силкуєть ся робити швидко, і справді на деякий час його захоплює праця. Перо швидко бігає по паперу, бік за боком, картка за карткою списують ся. Ось і остання картка, потім останній бік. Скінчив! Марко кида перо, одсува зшиток з українською роботою.

— Годі! тепер моя воля!...

— Та годі вже тобі! — одбиваєть ся Катерина. — Кажі краще, чи багато написав! До чого дописав?

Він каже, до чого дописав, і потроху починаєть ся в їх розмова про ту роботу, про інші роботи, про українську літературу, про долю рідного краю. Марко справля Катеринину мову: вона ще помиляєть ся в літературній українській мові.

— Де ти так гарно навчив ся мови? — питаєть ся Катерина. — Адже-ж не в гімназії тебе ўчено!

— Моя мати балакала по українському добре — од неї я й навчивсь мови.

— Тим-то в тебе вона така й гарна, а не роблена, як у Семена, — говорить сьміючись Катерина, що дуже любить веселого та широго Семена і тільки не може погодити ся з його справді іноді чудною українською мовою.

— Він, бідний, не чув її в сім'ї, — говорить Марко. — Тяжке лихо, що наша інтелігенція вироста змалку на московській мові! Як буде в нас син або дочка, — додає Марко, — то не рідної хай з книжок вчить ся, а московської, як що схоче її вчити. Правда, моя дружино? — зазирає він Катерині у вічі.

Катерина червоніє і каже:

— Правда! — і далі додає: — Еге, на собі чую, як се погано. Але стривай: прийде інший час. Підросте література, вб'єть ся в силу, тоді запанує рідне слово і поміж інтелігенцією.

— Шкода тільки, що ще довго це становище не одмінить ся: так незмірно мало робітників на нашій ниві! — каже Марко.

— Це правда. Але є й щирі робітники. Є такі робітники, що за їх щирість я поцілувала-б їх! — говорить Катерина і справді цілує Марка, а тоді, сховавши голову у його на грудях, шепоче:

— Любий мій! все віддала-б я на світї, аби тільки ти був щасливий і міг з ясною душею віддавати своє життя на працю рідному краю.

— Мила, — одмовля Марко, — ти кажеш тільки про мое щастя і забуваєш про своє.

— Та чи можна-ж бути щасливішою, ніж я тепер? —

говорить Катерина. — Я й у ві сні ніколи не жарила про таке щастя!..

Святками, або здебільшого по неділях, приходять гості: Семен, Шклярєнко, Бійчевський, ще де-хто. З жінок нікого нема, і Катерина царює сама. Які гарні, щирі вечори!

Згадуєть ся один вечір.

Гостей тільки трое: Семен, Шклярєнко та Бійчевський. Семен завсїгди був у цій господі своєю людиною, а ті два теж затого вже зробили ся своїми. Щоб гурт був повний, не стає ще Марусі: вона й досі в своїй школі, але швидко, як одбуде екзамен, має приїхати. Читають нову українську книжку. Читання робить сумний вплив: книжка така, як більшість нових українських книжок: ні хисту, ні мови — нічого! Ле-дві-ледві дотягли до краю.

— А хай їй цур! Бодай-би такого й до віку не читать! — скрикує Семен.

— І друкують-же люде таку погань! — додають другі.

— Чим-би пісьля такого добра закусьть? — питаєть ся Семен.

— А ось ми закусьмо трошки музикою, — каже Катерина та й іде до роаялю.

— Оце добре! — скрикує Бійчевський, щó страшенно любить музику, і може слухати її не втомляючись кільки годин. — Тільки заграйте нам чого українського, бо сьогодні щось не хочеть ся чужого.

Через кільки хвилини урочисті згуки: „Гетьмани, гетьмани...“ льють ся у хаті. Всі затихають слухаючи. Всі чують, як ті згуки проходять у душу, забирають її всю, напувають її одним почуванням — любовью до рідного краю і невимовним жалем над його долею. То муза поезії махнула на всіх своїм крилом і піднесла всім душу вгору. Марко дивить ся на Катерину, на її рівний, як виточений профіль, на її сяючі очі, і йому здаєть ся, що це вона — та муза.

— Се моя муза! Се моя муза, щó надиха міні в душу все добре, що своєю поезією кличе мене до високої мети, — дума він. — Відкіля і за що міні се щастя — мати дружиною її — мою музу?

А Катерина все грає. Вона переграла „Гетьмани, гетьмани...“ і почала грати народні українські пісьні, стиха під-

співуючи їм голосом. Вона іноді підводить очи од роялю і тоді вони стривають ся з Марковими очима. Але се на мить — і вона знов грає ще щирійше, ще краще.

Останній акорд — і все тихо...

Всі дожидають, всім не хочеть ся кінчати.

— Ще! ще! — шепоче Марко тихо, боячись голосним словом розмаяти чари, що повили всіх. — Ще, мила!

Катерина згляда на його :

— Ти хочеш ще? — тихо каже вона і гра знову :

Що се таке? — Марко не чув його ніколи, але воно займа йому душу зглибока. Сумні, сумні згуки. В їх таке горе, безнадійне, безпросвітне! Зникає щастя! зникає надія! Отже ні! Щось інше чується в високих акордах. Чуючи їх забуваєш те горе, що оце тільки зараз почував, забуваєш і починаєш почувати втіху. Та втіха виросла на ґрунті того горя, але вона дужча, але вона вища од його. Хочеть ся плакати і благословляти і віддавати себе на жертву. Останній високий акорд — і все стихло...

Ніхто не промовить спершу й слова. Всі непорушні. Нарешті Катерина гучно зачина рояль і встає.

— Що це ти грала? — питаєть ся Марко в неї.

— Так собі! власну фантазію! — одмовля вона, сяючи очима.

— Одначе, я й не знав, що ви композиторка! — скрикує Бійчевський. — Чудова річ!

Усі хвалять, але Катерині мов не подобаєть ся те хваління. Вона одміня розмову.

Другого дня Марко вертаєть ся з роботи. Він увиходить у передпокій і чує, як Катерина гра, і знов ті-ж згуки, що вчора так його вразили, вражають його й сьогодні. Він зупинаєть ся і не йде в хату, боячись перепинити грання, бажаючи його дослухати. Ще кілька акордів і Катерина почина співати. Маркови виразно чути слова :

У грудях смерть! Я знаю — вмру,
Життя кінчаєть ся моє;
Але ж на долю у душі
Жалю у мене не встає.

Я знаю — вмру, та на руках
Умру в коханого мого;
А поки я іще жвава, —
Не засмучу нічим його.

І щастя все, що можу дати,
Я дам цілком тепер йому,
На горе, сльози та журбу
Й хвилини в його не візьму.

О, милий мій! Недовгий час
Судив ся вкупі жити нам;
Але-ж, ще поки я живу,
Уско себе тобі віддам!

Сьпівання стихло, акорди вмерли... Марко вбіга у хату.

— Люба моя, що це ти сьпіваєш?

— А ти чув? — питаєть ся вона, ласкаво всьміхаючись.

— Чув.

— Не гаразд підслухать! Я сьпівала слова на ту фантазію, що грала вчора.

— Але-ж відкіль ти взяла ці слова?

— Відкіль? Ви казали вчора, що я композиторка — мусить-же бути лібретто до моїх композицій.

— А хто ж склав це лібретто?

— Сама! Тільки не тепер: ці слова я склала тоді, як лежала в школі хвора і ти до мене приїхав.

— Мила моя! — каже Марко, — я вже був злякав ся.

— Чого?

— Ти не хвора?

— А ні трохи!

— Але-ж я помічаю, що ти за останній час зблідла.

— То може тобі так здаєть ся.

— Ні, не здаєть ся.

— У мене за останній час голова часто болить. Але-ж се таке, що зараз минеть ся. Годі про це балакати, мій любий. Ти голодний — ходім обідати.

І, побравшись за руки, вони йдуть до столу.

Минає тиждень, другий. Через тиждень Марко матиме місяць одпочинку. Вони вдвох поїдуть на село до Катерининоного батька. Се вже давно в їх така умова. Катерина хоче побачити ся з своїми та їй таки треба й повітрям сільським трохи подихати: за останній час вона зблідла, хоча й каже, що вона не хвора, що се так тільки.

Марко одного разу навіть дуже лякаєть ся. Вона балака і відразу закашлюєть ся дужим кашлем. Через день Маркови знову доводить ся почути той кашель. Він каже про лікаря,

але Катерина цілком не згожуєть ся на те і каже, що вона не вийде до лікаря, як що він прийде.

— Чому-ж так, моя люба?

— Тому, що я здорова зовсім.

— Але-ж ти змарніла за останній час.

— Се звичайні наші жіночі недугування — не звертай, любий, на те уваги. А от краще я тебе про інше попрохаю.

— Каж, моя голубко!

— Поїдемо на літо в Крим!

— А ти-ж хотіла до дому?

— Хотіла... Та то можна потім — заїхати на кілька день пісьля Криму.

— Чого-ж се ти так одмінила своє бажання?

— Чого? дуже проста річ: міні хочеть ся бути тільки вдвох з тобою.

— Люба моя!

— Міні хочеть ся виїхати з душного міста. Куди-ж ми поїдемо, коли не до дому? Тільки в Крим. Я хочу глянути на море вдвох з тобою!

— Добре, моє серденько! Я й сам радий твоєму бажанню. Я думаю, що кримське повітря матиме дуже гарний вплив на щічки моєї любої дорогої дружини.

І він цілує її трохи зблідлі щоки.

Вони в Криму.

Висока скеля знімаєть ся вгору. Сіре величезне каміння, то йде рівною стіною, то виганяєть ся наперед, нависаючи над землею. Здаєть ся — ось-ось воно впаде, страшно грюкóнувши, і розмізчить усе, що попаде під його. Але се тільки здаєть ся, бо воно висне тут сотні років усе таке-ж страшне, таке-ж непорушне.

Спустившись на кілька сажнів стрімкою кручою, скеля ховаєть ся у буйних зелених виноградниках. Попід виноградниками вьєть ся стежка. Вона йде понад морем: трохи оступись і вже море плеще тобі на ноги.

Вони вдвох ідуть по тій стежці.

Він обняв її рукою за стан, вона схилила до його на плече голову. Вони йдуть мовчки повні щастям од свого кохання, од цієї чудової картини, що розгортаєть ся навкруги перед їх очима. Їх очі потопають у безкрайї блакитній мор-

ській площині, осяяній ясним соняшним промінням. Та чудова площа тягнеться далеко-далеко, — краю їй не видно.

— Як гарно, що море здається безкраїм! — говорить Катерина.

— Чому, моя зоре?

— Дивлячись на це, ще дужче віриш, що не край життя на цьому світі, що життя — без краю.

— Шкода тільки, що очі тут одурюють.

— Нехай тут і одурюють очі, але є справжня безкраїсть. Вона простяглась над цим морем, над нами. Дивлячись на ту блакить, ти не скажеш, що очі одурюють, — що за цією блакиттю вже й межа.

І Катерина підводить свої очі і довго дивиться на блакитне небо.

— Милий, ти їмеш віри в тогосвітне життя?

— Хотів-би няти віри, голубко, і... мабуть віритиму...

— Вір! — її очі трохи засмучують ся. — Вір, любий, — без цієї віри не можна жити. А з цією вірою так гарно, так легко жити на світі.

— Правда, люба! Я сам знаю, який я був щасливий, як не розуміючи, вірив. Але потім прийшов час страшного аналізу і дитячу віру вбито. Як я плакав, як уперше зрозумів, що я не можу тепер знаходити оборону в вірі! Я шукав заспокоєння у всяких філософських і нефілософських теоріях і не знайшов. А потреба вірити була велика, була пекуча. І я повірив. Еге, я вірю в Бога і сподіваюся, що віритиму в друге життя

— Вір, вір, коханий! Я не можу не вірити. Не вірити, що в мене є щось вище, ніж оце нужденне тіло? Не вірити, що після смерті я знов стрінуся з тобою на тому світі? Ні, я не можу!

— Але чого це в тебе такі сумні думки сьогодні?

— Сумні? Не сумні, а радісні. Я рада, що почувую себе не шматком мяса, а частиною всесвітнього духа. Я завжди так дивлюсь на людину; але почувати себе такою можна не завжди, і я невимовно щаслива, коли це буває.

І вони знов змовкають і йдуть тихо, а в їх коло ніг плеще море, високо над їми знімається скеля, заквіччана виноградом, а ще вище сяє сонце і безобмежно простилається вічне чисте небо, впевнячи їх в безкрайности людського життя.

Вони на морі. Вони виїхали вдвох: ні він, ні вона не хочуть, щоб проміж їми був третій. Однорушно хвиля їм човен хитає. Марко держить весло в руках і дивить ся на Катерину, що напів лежить у хисткому човникови.

— Чого це хмари набігають? — питаєть ся вона.

І вони обоє дивлять ся на небо, де недавнечко ще сяло сонце. І тепер ще видко, що воно сяє, але його вже затлумила ще поки невелика хмара.

— Як-би дощу не було! — каже Марко і поверта човен до берега.

Але-ж природа швидче од його рук. Небо що-хвилини насуплюєть ся все дужче та дужче; сяюча морська блакить чорнійшає все більше та більше. Вітер почина зривати ся, човен почина хитати.

— Голубко, тобі не страшно? — питаєть ся Марко.

— З тобою? о ні! — каже Катерина, і Марко дивить ся їй у вічі і бачить, що їй справді не страшно. Він наляга з усієї сили на весло, і ось уже забілів перед їми побережний пісок. А хмара зовсім облягла небо, а вітер уже почина лютувати. Величезна хвиля підхоплює човен і підкида його на своєму гребені. Але Марко добре пильнує весла, і Катерина бачить, як його дужі руки з напруженими жилами, здержують човен і через мить він переліта через хвилю і врізуєть ся у пісок.

Треба ще йти поки водою, — Марко бере на руки Катерину і несе її.

— Пусти, я піду! — каже Катерина, як він виходить на суше.

Але він пригорта її дужче й дужче і не дума спускати до долу. Вітер розмаяв волосся у неї з голови прихиленої до Маркової, і волосся обвило їм обом голови, звівши їх до купи.

— Пусти! — сьмієть ся Катерина.

— Не пуцу! — шепоче Марко. — Я тебе донесу, моя пташко, до дому.

І він затуля їй губи поцілунком і несе її швидко та легко до дому. А на небі вже грюкоче грім, блискавка роздира чорні хмари.

— О милий мій! який ти...

Страшний грюкот громовий не дає Маркови почути Ка-

теринині слова. Він ще дужче пригорта до себе свою дорогу вагу і не давши першим важким краплям дощу впасти на неї, уносить її в хату. В хаті їм подають телеграму: Семен звінчав ся в Марусею і вони вдвох радіють щастю своїх друзів.

Знов сяє сонце, знов вони вдвох коло моря. Хвиля за хвилею ласкаво плеще в беріг. Ласкаво та гарно на душі. Але якась темна смужка пробіга по радісному Катерининому обличчю.

— Милий, і над оцим морем, таким чистим, таким гарним стогнали наші невольники, складаючи свої плачі? І отут лила ся наша кров?

— Тут, моя голубко.

— Як все одмінило ся! — шепоче вона. — І як все не по правді одмінило ся! Ми полили цю землю своєю кров'ю і вона повинна була-б бути нашою. А вона не наша, та й нашу в нас однімають... Сумно одмінило ся!...

— Правду кажеш, моя зоре! Але-ж ми повинні покласти все своє життя на те, щоб одмінити се так, як воно мусять бути.

— Еге, — каже Катерина. — Без надії на будуччину хіба можна було-б жити? Я вірю в те, що наша правда переважить. Я вірю і ніщо в мене не злама цієї віри! — говорить вона щиро, палко. — Я вірю, що такі борці, як ти, зроблять своє діло, зроблять -- і подужають!

Марко дивить ся в її ясні очи і каже:

— Як-би на Україні було більш таких муз, як ти, то ми вже давно-б подужали.

— Таких, як я? А хто-ж мене зробив такою, як не ти, моє кохання, мій пророче, мій обновителю? Ти і тільки ти се зробив, і я не знаю, чим я можу тобі заплатити за твоє кохання і за те, що ти зо мною зробив.

— Ти вже міні заплатила моя музо, — заплатила тим, що зробила мене щасливим на віки своїм коханням. І плата ця більша, ніж...

— Годі, коханий, годі! не кажи про це!

І їх серця зливають ся в одному великому съвятому почуванні, котрим держить ся все життя на землі, без котрого не було-б нічого того, чим живе душа людська, і од котрого йде все, що квіччас життя; котре є джерело всякої поезії на

світлі і котре зветь ся коханням. І небо, і море, й земля поміж ними — усе, їм здавалось, на той час злило ся в високу пісню, у гими поетичний, і в йому співалось про одвічне й довічне сьвятеє з'єднання двох серць закоханих, щό в ту мить злили ся до купи і стали одним — з кохання сьвятого палаючим серцем!

— Мила моя, чого ти змарніла така зробилась? — питаєть ся Марко в Катерини. — Ти хвора?

Катерина лежить на канапі. Вона схудла ще дужче, очи в неї позападали, горять якимсь гарячковим вогнем, на блідому, аж білому, обличчю на обох щоках червоні плями. Еге, вона хвора і тепер вже не ховаєть ся з тим, що хвора.

— Еге, милий, я хвора, але не будемо про се балакати.

— Як не будемо балакати? — скрикує Марко, страшенно стурбований. Тільки тепер він помітив, яка вона хвора. Спанілий з кохання, з веселощів та любощів, котрими Катерина повивала його за останні дні, він легко вірив її впевненям, що вона зовсім здорова. І тепер він скрикує: — Ти дуже хвора, — треба лікаря!

По Катерининому обличчю пробіга вираз муки. Вона хоче щось сказати, але ту-ж мить страшний кашель перепиня її слова і примушує вхопить ся за намучені груди. Довго вона кашля і той кашель пройма всю душу Маркови. Страшна правда починає неначе виявляти ся в його перед очима.

Викашлявшись, вона довго не може сказати й слова. Марко держить у своїх руках її худі похолоділі руки і не хоче вірити цій правді: ще вчора Катерина була весела, радісна, ходила, навіть бігала — зовсім здоровою здавала ся; а сьогодні вона вже затόго не може встати і лежить непорушно.

— Коханий мій! не клич лікарів, бо це даремно. Я тобі все скажу і ти мене зрозумієш. Сядь ближче до мене, положи свою руку міні на груди...

Марко слухаєть ся, сіда ближче і кладе їй на груди руку. Вона важко й швидко диха, груди високо здимають ся. Вона мовчить кілька хвилин, заплющивши очи, і нарешті каже:

— Не нарікай на мене, коханий!... Може я помилялась... Може так не треба було робити, але спокуса була велика, дуже велика... Хоч одна хвилина щастя, — але такою дорогою вона здавала ся...

Вона зупинилась на хвилину, щоб передихнути.

— Ти ще не розумієш мене, коханий, — я бачу. Але зараз, зараз!...

Вона знов зупиняється, вона не може казати... Марко цілує їй руки і сам не помічає, як на їх пада його сльоза.

— Памятаєш ти мою фантазію, знаєш, ту, що ти несподівано почув, вернувшись до дому? — питається вона нарешті.

— Памятаю! — говорить Марко, і холодний острах пронизує його наскрізь: він згадує, що було казано в тій піснї.

— Памятаєш ти... її зміст?

— Памятаю... Але-ж, мила моя! невже...

— Еге, я одурила тебе тоді. Прости мене, прости, мого щастя! Не тоді я це склала, як у школі хворою була, а за день до того, як ти почув. І те, що там казано було, те була правда.

Вона одразу устала. Очи їй зазоріли ясно, обличчя зрумяніло. Голос задзвенів голоснійше.

— Еге, мій милий! Як приїхав ти до мене в школу, я відразу мов ожила. Тяжка хвороба, що сиділа у мене в грудях, точила їх, як шашель зерно, уже тоді була. Але я ожила! Я почула в собі таку силу, таку дужість, що могла встати і думати, що я справді одужала. Я вірила в це, бо хвороба мов сховала ся, — я вірила в це усі сьвятки, вірила, як ми вінчали ся в церкві, і тільки тоді побачила, що помиляю ся, як зробилась твоєю...

— Чому-ж ти міні тоді не сказала цього? — скрикує Марко.

— Чому? О коханий мій! Яка це страшна хвилинка була, як побачила я, що я не одужала, що я й не одужаю! Я певна була, що я не одужаю, я знала, — розумієш? — залевне знала, що я вмру. Відкіля я це взнала — я й сама не могу сказати. Але я впевнилась. Я вмру! Які страшні хвилини перебула я після того, як уперше сказала собі ці слова!...

— Я знала, що пособить міні не можна. На що-ж я казала-б тобі, отруїла-б твоє життя моїм передсмертним хирінням, мучила-б тебе. Тебе, мого коханого, мого любого, що показав міні, хто я і що я, напоїв мою душу таким щастям, таким коханням! О, милий мій! Я не могла цього зробити і я зважилась зробити так, щоб ти не знав про це, щоб і ти, і я —

обоє були щасливі за той короткий час, що нам судило ся прожити ще вкупі. Я сховалась в своєю хворобою. Міні іноді трудно, дуже трудно було ховати ся, найбільш в останній час... Але скажи, милий мій, — не дурно я це зробила? Був ти щасливий?

— Боже мій! та що-ж се таке, що-ж се таке! — скрикує Марко, як несамовитий.

Він кидаєть ся з хати, він біжить по лікаря, що живе сумежно з їм і приводить його до покірної Катерини.

— Сухоти в останньому градусі, — каже лікар.

Але Марко не вірить, не хоче вірити йому. Він кидаєть ся по других лікарях, він збира всіх, яких тільки може знайти в цьому місті, затяга якогось славетного лікаря, що на той час був там. І Катерина покірно два дні скоряєть йому. Але од усіх чує Марко одну одмову:

— Надії нема!

— Бачиш, милий, — ти одняв у нашого життя умісного два дні, — говорить усміхаючись ласкаво Катерина, — бо не поняв міні віри. Але скажи міні тепер те, про що я тоді в тебе питала ся і про що ти міні не сказав. Скажи: був ти щасливий зо мною?

— Чи був я щасливий? Я не знаю, чи був хто інший коли такий щасливий! І після такого щастя!... — і Марко в безнадійній тузі ламає руки, але не плаче: не має сили плакати.

— Коханий мій, на що нам смутити останні хвилини нашого життя вкупі? — каже вона і ці ласкаві слова тяжким докором бьють у Маркове серце. Еге, вона носила смерть у грудях і ховалась з нею, щоб не засмутити його щастя, його, котрий ще мав ціле життя перед себе, — а він тепер отруює останні хвилини її життя!

— Прости, прости мене, моє єдине щастя, але-ж я не зможу без тебе жити!

— Не кажи так, голубе мій, не кажи! Я знаю, як тобі тяжко думати про те, що ти будеш без мене, бо я знаю, як се тяжко міні. Але ти остаєш ся на світі і на тобі лежить обовязок: праця на рідний край. Україна повинна бути вища од мене, вона твоя сьвятиня!

— Не журись, не плач, милий! Я вірю в життя на тому

свѣті. Я завсїгди в його вірила, а тепер ще дужче. Бо це була-б страшна кривда розлучити нас так рано і не дати нам змоги побачити ся знову. І я вірю, що ми побачимо ся і не ровстанемо ся вже ніколи. Але поки прийде той час свѣтій, — ти повинен зробити все на цьому свѣті, все те, що вимагає од тебе рідний край. Тільки тоді ми матимем право побачити ся.

— Коханий мій! Не тим міні шкода вмирати, що я так рано покидаю свѣт. Я так мало жила, а зазнала такого щастя! І коли я згадаю, що тисячі, може мільйони людей проживають довге життя, не зазнавши і невеличкої частини такого щастя, якого я зазнала, то я бачу, що нема на-що міні нарікати на своє життя. А того міні шкода вмирати, що сходжу зо свѣту без сльїду, не кинувши нічого на спомин моїй матері в Україні, не зробивши їй нічого, не спокутувавши навіть мого гріха — моєї сльїпоти, з котрої ти мене вивів!

— Не посилай до тата й до мами! Я не хочу! На що я їх смутитиму. Потім узнають. Досить того, що я змучу тебе, мій коханий!

— О, життя моє, кохання моє! — скрикує Марко і відразу сльози ринуть у його з очей і течуть швидко по щоках, печучи їх мов розпечене залїзо. Він плаче, але се тільки на хвилину: він чує в собі силу зробити не сумними її останні хвилини...

Минає день. Вони все вдвох. У неї на обличчю сяє ясний спокій; його обличчя захмарювала-б страшна журба, як-би він не давив її в собі. Він згадує, як вона перемогла себе, і дивить ся їй у вічі ясними очима. Пригортаючи на груди, обережно переносить він її на руках на те місце до моря під скелею, де вона так любить бути, і кладе в спокійне крісло, що там стоїть. А сам він сідає коло її ніг і її рука спочиває в його на голові.

Тихо плеще блакитне море; ясно сяє на блакитному небі сонце. Тихо та ясно дивить ся Катерина на Марка і каже йому:

— Дивись, як здалека біліє вітрило на тому човні! Як воно чепурне і як-би я хотїла тепер удвох з тобою бути там, під їм. Хай вітер напружував-би вітрило, і човен линув-би

з нами по морській блакиті, а над нами сьміялась-би соняшним промінням друга безкрая блакить. Гарно було-б!

— Еге, мила, гарно!

— Тим гарно, що се була-б емблема нашого життя: як човник увесь у соняшному сяєві лине по рівній площині, так і наше життя пролинуло рівно та легко, все осяяне сонцем великого щастя.

— Але на що-ж так швидко воно пролинуло, як і той човник: його вже нема.

— Мій коханий, — не журись тим! Той човник не згинув, він знову з'явиться ся, і ми знов зустрінємось колись. Ти віриш в це?

— Я не вірив колись, але ти навчила мене вірити.

— Вір, коханий! З цією вірою легше буде тобі жити на світі.

.....
Вона зовсім уже не може ходити, але вона не хоче сидіти в хаті і каже:

— Я хочу вмерти під соняшним сяєвом.

І Марко кілька разів на день як дитину носить її на беріг до моря і вони там сидять.

.....
Вона вже мало балака — їй важко балакати. Вона тільки проха Марка, щоб він їй казав що-небудь. Вона хоче чути його голос. Здержуючи сльози, він почина їй казати про те, чим вона цікавиться ся, читати. Вона слухає жадібно, мов хоче в останнє впити ся звістками про рідний край перед тим, як покине його. Вона лежить у своєму кріслі. Волосся розсипало ся круг страшенно схудлого обличчя. Дихання важке, груди високо здимають ся і низько опадають.

Прочитай міні що з Кобзаря, милий, — я хочу попросити ся з ім.

Марко бере Кобзаря і почина читати „Наймичку“, котру Катерина дуже любить.

— Ні, не се, не се! Прочитай: „Міні однаково, чи буду...“

Марко чита, а вона слуха уважно, як молитву, і шепоче потім:

— Ох не однаково міні!... Але я щасливіша, бо вмйраю на Україні. Адже це Україна, коханий, — бо ми купили цю землю своєю кров'ю, своїми муками?

— Еге, кохана.

— Тепер прочитай міні „Бьють пороги...“ знаєш, до того місця...

Марко чита і зупиняєть ся на словах :

Наша дума, наша пісьня
Не вмере, не загине, —
От де, люде, наша слава,
Слава України!

— Буде!... Вже!...

Сонце починає сідати.

— Мила, — говорить Марко, — вже холодно, — час до дому йти.

— Постривай, голубе, — я хочу подивить ся, як заходитиме сонце.

І вона жадібними очима дивить ся на його. Розкидаючи червоне проміння, тихо схиляєть ся сонце до незмірної площини. Ось паруси з спіднього краю вже втопили в морі; ось і край сонця вже в воді. Хитливий водяний поверх зазолотив ся, торкнувшись до сонця. А воно горить, палає з усієї сили, мов бореть ся з могутною безоднею, що ось-ось вона поглине його. Але борня даремна: безкрая й безодня, мокра стіхія втяга в себе золоте світило. Ось тільки край з його видко над морем; ось тільки цяточку золоту — і нарешті немає й тієї; зникає, погасає й та...

— Скінчилось! — шепоче Катерина.

Вчора погашене сонце знов сяє на небі. Море плеще. Катерина лежить у кріслі. Вона каже. Вона шепоче так, що Марко ледві розбирає її слова :

— Я знаю, що сьогодні вже не побачу, як заходитиме сонце. І так краще! Прощавай, моє ясне!... Зоставайсь на небі та світи ясно моєму милому! Прощавай, море! Розважай ти мого коханого так, як мене розважало. А ти, пречистеє небо, нагадуй йому про інше життя, що в йому ми зустрінемо ся!

Вона шепоче все тихше та тихше. Вона все прощаєть ся.

— Прощавай мій рідний краю! Недавно я тебе узнала, недовго й знала! Не могла я ніякого добра тобі зробити. Але прости міні се за те, що я тебе так любила. Тобі зостаєть ся мій коханий...

Марко вже не може нічого розібрати, але вона ще шепоче:

— Батько й мати — прощайте! Милий, не врази їх одразу звісткою...

Ще кілька хвилин. Вона одразу підводить ся.

— Милий! коханий! сьвіте мій!... Прощай!...

З останньої сили обхоплює вона його руками за шию.

— Поцілуй!...

Вуста їм стуляють ся в останньому поцілунку. Останні зітхання віддає вона Марковим вустам і її головонька падає до його на груди.

Темрява, безпросвітня темрява обнімає Марка...

Е П І Л Ь О Г .

Минуло кілька часу...

Був вечір. Косе соняшне проміння золотило верховіття дерев у невеличкому, зарослому вітами та листом, куточку. Воно пробігало поміж деревами і ясно сяло на позлотистому хресті, що був поміж тими деревами.

Поміж деревами була невеличка прогайльовина. Серед неї, обгорожена залізними штахетками була могилка. Прогайльовина ховала ся проміж деревами тільки з боків, а згори в день ясно ї радісно сяло на неї сонце.

На не дуже високій могилці з білим надгробком стояв золотий хрест. Навкруги цвіли трояндові кущі. Вони розросли ся буйно і за їми не видко було з середини залізних штахеток. Пишні троянди просували свої запашні головки ї крізь штахетки.

В день, як сяло сонце, над цїм куточком тріпались крильцями метелики, в гілках сьпівали пташки.

В день тут цвіло ї сяло життя.

Тепер був уже вечір. Тільки на позлотистому хресті грало промінем сонце.

Прихилившись до надгробку, сидів Марко. Він багато одмінпв ся. Обличчя зблідло, зморшки лягли на чолї, біля губів визначались поки ще ледві помітні риски гіркого усьміху. Але його очи дивились хоч сумно, та спокійно ї поважно.

Він прийшов сюди в гостину до своєї коханої. Він ходить сюди, у сей куточок, у котрий він перенїс з над моря дорогий прах, часто... Він любить тут бути і думати...

— Минули ся слюзи, минули ся нестерпучі муки. Але твій образ, моє єдине кохання, не вмєр і не вмєрє в моїй душі. І я не знаю, коли ти міні дорожча була, — чи тоді, як я непритомний ридав над твоїм холодним трупом, чи тепер? Ми-

нули ся ридання, та не минула ся невтихаюча-невгаваюча журба по великій агубі. І з цієї журби серце болить мов ще більше, ніж тоді з риданнів...

...Еге, ти міні дорожча тепер. Як плакав я над тобою жертвою, плакав я тільки по коханій, без міри дорогій, ніколи незабутній дружині. То ридало моє кохання до тебе. Але тепер минув час, і я міг багато думати і я згадав тебе всю і зрозумів тебе всю. І тепер ти міні не тільки незабутня дружина кохана, але й більше... Ти своїм життям довела міні, що на світі може істніти щось таке, що ми затого можемо назвати ідеалом. Ти своїм життям навчила мене вірити в те, що ідеал цей істніє на землі. І що ні зробилось-би зо мною в житті, які бурі не налітали-б на мене, які болота не силкувались-би поглинути мене, — ніщо не вирве з моєї душі цієї віри. Еге, я вірю в те, що є на світі кохання таке чисте, таке ідеальне, що не ймеш віри, що його породила земля, кохання, що за його можна і треба віддати життя. А коли є таке кохання, то є і все добре на світі, бо кохання є джерело всього доброго. І тільки дякуючи тобі, моя кохана, я ніколи не кину вірити в красу, правду, добро, і ніколи не згожусь з тими, котрі кажуть, що їх нема. Вони є і я їх мав у тобі — а хто міні може довести, що я тебе не мав? І ти міні двічі тепер дорога: ти моя дружина довічняя єдина, ти й мій янгол, що возвістив міні, що не темрява та безнадійність панує на землі, а сяє сонце правди, краси та добра!...

.....І ще іншого ти мене навчила. Ти мене навчила, як можна віддавати своє життя за других. Ти була міні соняшним промінем, що осяяв міні все життя моє і зробив мене щасливим. Еге, я й тепер щасливий. Хоч ти і вмерла, але вмерло твоє тіло. Вся душа твоя чиста перелинула з останнім твоїм зітханням в мою душу і на віки з'єднала ся з нею...

.....Соняшний промінь... Ти так завжди любила сонце, що тобі сподобаєть ся се порівняння — я знаю. Чи не в цьому-ж і мета людського життя — бути людям соняшним промінем і робити їх щасливими?...

.....Але на се треба мати таке налите коханням серце, яке мала ти, таку чисту душу, яку мала ти. Не всяке їх має і я перший — ні. Але-ж все, що я можу зробити, — я зроблю. Я не забуваю ніколи твого останнього заповіту: віддати моє життя рідному краю. Одну частину своєї душі я вже

давню віддав йому; друга — належала тобі. Ти пішла од мене і не бійсь, що твоя частина повернеться на що інше, а не на рідний край!...

Він устав і припав вустами до холодного надгробку.

— Спи, моя доле, моє сонце! Спи спокійно: я не забув іще одного твого заповіту: — вірити в те, що ми зустрінемося на іншому світі. Ти й цьому навчила мене вірити, і я вірю. Я прийду до тебе, як тільки зроблю все, що зможу зробити на цім світі. Спи!...

І ще раз його уста припадають до могилки і сльози капають на холодний камінь. Вони такі гарячі, що, здається, проймуть той камінь наскрізь і пройдуть аж туди, де лежить вона.....

Марко випростався. Останній соняшний промінь блиснув на хресті і погас. Сонце сховалося за обрій.

Тихо вийшов Марко з штахеток, замкнув хвіртку і пішов до дому. Був уже вечір і велике рухливе місто починало де-не-де перерізувати ся блискучими низками ліхтарів. Гугот та гомін чути було здалека. Марко не любив того гуготу та гомону, але він ішов тепер туди, відкіля його було чути, бо там була та робота, що на неї він призначив своє життя. Там були щирі товариші, що робили з ім'ям укупі коло одного діла — діла піднесення вгору затоптаної матері-України. Марко йшов туди сповняти той заповіт, що почув він з вуст умираючої коханої — віддавати себе борні та праці за високу ідею національного відродження.....

1890.

К і н е ц ь .





Александръ Дивень.

„Симъ кипъ брехеньокъ“.

Торбына смиху людамъ на потиху!

ЗБИРНИКЪ

Смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ
прыказокъ, поговорокъ, и де-чого
ыншого зъ побыту козакивъ
Чорноморського (Кубан-
ського) вйська.



Типографія Т-ва И. Д. СЫТИНА. Нятницкая улица, свой домъ.
Москва. — 1915 г.



I. СМІХОВЫНКИ.

Старынна служба.

Э, теперь що за служба! Ось якъ мы колысь служылы! Якъ зберетьця було наше вѣйсько, та глянешь на його здалека, такъ наче макъ цвите, або воронецъ у степу красніе.

Кони були дуже добри, колы не цыганськой, такъ комлыцькой породы, а на масть—якой хочешь! Сидла були дубови, стремена ясенови, а за уздечкы та попругы и казатъ ничого: зъ самого найлучшого реминю зъ жерстянымъ наборомъ!

Э, теперь що за служба! Онъ якъ у насъ було, такъ у кожного козака коло пояса було и карбижъ высыть и каженъ козакъ знае, скільке козакивъ у сотни: копа Романивъ, копа Иванивъ,—копа Демыдивъ, копа Давыдивъ, копа Денысивъ, копа Борысивъ—симъ кипъ та й сотня!

Бувъ у насъ сотныкъ Юхымъ Супоня, завзятый бувъ зъ биса чоловикъ! Такъ той було прыказуе: надивайте, хлопци, на себе усе, що въ кого йе; одно, що не буде ни холодно, ни жарко, а друге — що куля не дошкулыть. Такъ мы його й слухалы: якъ надине - було козакъ на себе кожухъ, а на кожухъ свыту, а зверху бурку, такъ стане такый товстый та дебелий, що чортъ його й зъ мисця зворуше! Та якъ сяде на коня, такъ видкиль не зайды—скризь одынаковый: наче вылытый; якъ посидаемъ на коней, та й пойдемъ на войну.

Выйдемъ отакъ разъ у чисте поле, колы дывимось, ажъ який-сь бисивъ сынъ натромывъ на палку кычку та й поставывъ на гори.—Якъ зачалы мы зъ тиею кычкою воювать, такъ симъ годивъ, якъ симъ часивъ простоялы, — калантырь держалы. А дали разсердивсь нашъ сотныкъ Юхымъ Супоня, зробывъ добре штрыхало, та якъ штрыхоне ту кычку, такъ и пиднявъ у гору!

Колы дывимось, ажъ де не взялись зъ горы татары зъ дрюччямы, та зъ паличчямы, та прямисинько до насъ и пруть! Ну, теперь, думаю уже, мабутъ, не война буде, а бытва! Колы такъ! Якъ зачалы мы съ нымы бытьця, якъ зачалы рубатьця, такъ тильке й чуть було, яко наши шабли: брынъ, брынъ, брынъ!.. а кровь, якъ та вода льетьця! Былысь - былысь на коняхъ, та давай ще й доли; татаривъ же було дванадцять, а насъ—

сто двадцать, такъ мы до того довоювались що привнялись: йихъ стало дванадцать и насъ—дванадцать.

Якъ выскоче тутъ татарынъ! Гыдкый брыдкый, пыкатый та носатый; зашморгомъ дывытыця, на вси боки кривытыця, та якъ пидскоче до сотныка та якъ крыкне:

— Шурды-мурды!

А сотныкъ йому:

— А йды, стерво, сюды!

Такъ татарынъ якъ пидскоче та якъ репне сотныка дрючкомъ по спыни, такъ тильке луна пишла! Якъ крыкне тоди сотныкъ Юхымъ Супоня:

— Хлопци, на кони!

— А въ мене, пане, кобыла!

— Та сидай на кобылу, чортъ ййи беры!

Такъ я, якъ метельнувь! Такъ за симъ часивъ, якъ горобчыкъ сивъ! Якъ захватылы жъ мы тоди коней до дому, такъ татари насъ тильке й бачалы.

(Станица Павловская. Со словъ Егора Г.).

Хивря та Хымка.

Гарный хлибъ пекла покойница моя Хымка, царство йй небесне, перомъ земля та пухомъ! Якъ пойиду було у степь косыть, та й укыну одну хлибыну у крыныцю; а вона кругленька та важкенька, та такъ заразь на цю и сяде. А якъ покосюсь добре до обиду, та прыйду до крыныци, та й вытягну ту хлибыну, то вона саме тильке добре роз-

мокне! Такъ ото, було и поймаю добре зъ
силью.

А якъ умерла покойница, та узявъ оцю
стервяку Хымку, хай йй тамъ такъ легко
икнетця, якъ собака зъ тыну урветця, такъ
и хлиба не поймаю до смаку, бо спекты не
тямуть. Якъ спече оце хлибыну та визьмешъ
ййи въ руки та здавышь, та вона зробытьця
маленька-маленька, а пустышь, то вона упъ-
ять надметця; а въ крыныцю хочъ и не
думаю кыдать, бо заразъ роскысне и расплы-
ветця.

(Станица Павловская. Изъ разсказа Ефима Пивня).

Слипци.

Зйшлись два слипци.

— Здоровъ, братасъ!

— Здоровъ.

— Чы оженився тамъ Обертасъ?

— А якъ-же!

— Чы винъ-же такы що и путненьке за-
бравъ?

— Ни, ничего! Товстенъка, кругленька;
тильке на одну ногу трошки ляга, а другой
вовси нема.

— Та то дарма! А чы йому-жъ такы що
небудъ и подарувалы?

— А якъ же! Подарувалы богацько де-
чого! Заразъ дали таку палыцю, що якъ
ударыть одну собаку, такъ на дванадцять
вулицъ собаки выздыхають! Та подарувалы
коняку гарну, таку, що якъ скажешъ „но“,

такъ и йиде, а якъ „тпру“, такъ заразъ и стане; та одъ села до села дорогу знайе, та до кажного двору та все й повертае; а якъ положить на повозку дванадцять мишкивъ порожнихъ, такъ ще зъ горы й бижыть! Та подарувалы торбу за дванадцятьома перегородками: на борошно и на вы-борошно, на пшоно — вы-пшоно, на сало — вы-сало, на хлибъ—вы-хлибъ, на силь—вы-силь.

Чудна розмова.

- Здоровъ, братъ!
- Здоровъ.
- Чы ты курышь?
- Хто? Я?
- Э.
- Курю.
- Такъ давай покуримъ?
- Давай.
- А въ тебе-жъ тютюнъ йе?
- У кого?
- У тебе!
- У мене?
- Эге.
- Йе.
- Отъ и добре.
- А ты-жъ вогню выкрышешъ?
- Хто? Я?
- Э.
- Выкрышу.

— Ну, такъ покуримъ!

— Покуримъ.

(Городъ Екатеринодаръ).

(Сообщилъ Носенко).

Яна работа, така й плата.

Прынисъ разъ чоловикъ до одного коваля пудъ зализа та й пытае:

— А що, ковалю, чы выйде зъ цього зализа лемишь?

— А якъ-же, добрый буде лемишь.

— Ну, такъ скуй мени, каже, та тильке швыдче.

Отъ й заходывсь коваль: куйе та й куйе, а дали й каже:

— Ни, мабуть, лемишь не выйде, а выйде шворинь.

— Ну, добре, робы шворинь.

Стукавъ, стукавъ коваль:

— Ни,—каже,—шворинь не выйде, а выйде сокыра.

— Чы сокыра, то й сокыра.

Кувавъ, кувавъ:

— Ни, мабуть, зроблю вамъ долото.

— Ну, добре, зробы долото.

Робывъ, робывъ:

— Ни, не буде долото, а буде швайка.

— Та гораздъ, нехай буде швайка!

Плескавъ, плескавъ:

— Ни, не выйде швайка, а выйде шыло.

— Та чы шыло, то й шыло!

Заплескавъ коваль останній кусочокъ за-
лиза, загостривъ, та въ воду, — воно й за-
шыпило.

А чоловикъ тоди и каже:

— Э, такъ це не шило, а вийшовъ
пшыкъ!

— Давайте-жь, — каже коваль, — гроши,
дуже богато работы було.

— Прыходъ-же по гроши завтра до мене
до дому.

Пишовъ коваль на другый день по гроши
и хлопця зъ собою узявъ, того що въ кузни
джухае.

— Гляды-жь — наказуе хлопцеви коваль, —
якъ буду я гроши просыть, та мало дава-
тыме, такъ и ты кажы: прибавте, дядьку,
ще, бо работы було багато.

Прийшли. Чоловикъ впустывъ коваля у
хату, та й заходывсь давать йому метельци,
а хлопецъ стоить у синяхъ та й гукае:

— Прибавте, дядьку, ще, бо работы було
багато!

(Ст-ца Шкуринская).

(Изъ разсказа Ив. Пивня).

Брехенька.

Якъ бувъ я у батька маленькимъ, а въ
матери пидрись, такъ усе було йиздю за дро-
вамы у лись. Прийхавъ разъ у лись, ды-
влюсь — дерево, а въ тому дереви дирка, а
зъ диркы кувикають печени поросята.

Я дуже зрадивъ, бо голодный бувъ!
Стромляю у дирку руку, не лизе, стромляю

ногу — не лизе. Що тутъ робыть! Такъ я узявъ та увесь ускочывъ! Найився поросятныны, та ставъ вылазыть, ажъ ни, — не вылизу; мабуть дуже поросятныны обрєпкавсь. Думавъ я, думавъ, та все не въ ладъ. Насылу догадався. Узявъ, збигавъ до дому за сокырою, прорубавъ дирку та й вылизъ.

Тильке вылизъ, а тутъ пыть мени захотилось та такъ дуже, що ажъ никуды! Пишовъ я до рички воды напытыця, колы дывлюсь — на води качка несетьця, та какъ воду скаламутыла, що й пыть нельзя. Розсердивсь я, кынувъ на неи разъ сокырою, не докынувъ; кынувъ у друге — перекынувъ, а якъ кынувъ у третье, качку вбывъ. Такъ не ыдолове-жъ пирья! Само полетило и качку занесло, а яйця у комышъ поховалысь! Вернувсь я у лисъ до кобылы, ажъ лыхо! Вовкы на кобылу напалы и все пузо розирвалы, такъ що й бельбухы повыпадалы и кышкы до земли высятъ. Що його робыть! Пропала кобыла та й годи! Роздывивсь я лучше, ажъ ище не все дило пропало, бо кобыла ще на землю не впала, а на ногахъ стоить. Выломавъ я лозыну, та й давай кышкы збирать та кобылы пузо зашывать. Шью, зашываю, та на вси бока поглядаю, а й не туды-то, що лозына одсырила, та вверхъ росты пишла. Росте, та й росте, та вже й до неба достает. Отъ такъ штука! Стою я, дывуюсь, а дали й думаю; давай лышень, полизу на небо, бо зроду тамъ не бувъ. Узявъ та й полизъ. Лизу та й лизу, уже ось и

небо недалечко, колы видкиля не взявся мій батько покійныкъ, та якъ крыкне на мене: „Куды ты лизешъ, вражий сыну, за гришное пыкою та въ святе мисто!“ Узаявъ та й турнувъ мене до дому. Та тильке я не дурный бувъ, бо якъ падавъ унызъ, такъ усе ногамы дрыгавъ, та якъ разъ и зачепывся за хмару. Зачавъ я тутъ у руки плювать та бычовку сукать. Добру бычовку ссукавъ, до хмары привъязавъ, та й давай на землю спускатыця. Спуськаюсь, та й спуськаюсь, уже й до земли недалечко, ажъ бычовкы й не хватыло! Що його робыть? Чы плакать, чы тужыть? Давай, думаю, притягну хмару до себе блыжче. Такъ я, такъ добре напьявся, що овси одирвався, а витерь на мое счастья бувъ великый. Такъ мене якъ понесло, якъ понесло, такъ насылу за велике дерево въ лису зачепывся! Злизъ я на землю, та й пишовъ по лису кобылу шукать. Дывлюсь, ходе моя кобыла, пасеться, а лозына, що лазывъ на небо, усохла. Сивъ я верхы на кобылу, засунувъ за поясъ сокыру, та й пойихавъ до дому. Йиду та й йиду; кобыла трюхъ-трюхъ, а сокыра ййи ззаду цюкъ-цюкъ; цюкала та й цюкала, та й одрубала у кобылы задокъ. Прыйизжаю до дому, дывлюсь, ажъ задка й нема. Такъ отъ гадспидське навожденіе! Бросывъ я передокъ дома та пишовъ задокъ шукать. Блукавъ, блукавъ, та насилу найшовъ задокъ ажъ пидъ лисомъ: ходе соби, пасетыця и горя йому мало! Пиймавъ я його, зануздавъ, прививъ до дому, та й

прышывъ до передка. Дывлюсь, наче й кобыла, якъ кобыла, а щось неладно. На мое щастя саме на ту пору Покрова була, люде у Павливу на ярмарокъ йихалы. Узывъ я кобылу, та й повивъ на ярмарокъ на продажъ. Прыйизжаю та й пытаю: „А що тутъ, добри люде, по чому?“ А мини й кажуть: „Пшениця по мишкамъ, тютюнъ по рижкамъ, товаръ по грошакъ, а гроши по кармапахъ“. — „Э, — кажу, — це я и безъ вашего батька добре знаю, а вы мени скажите, що дешево и що дорого?“ — „Дурный ты, — кажуть мени, — такъ бы ты й давнишъ пытавъ! Кажуть, за моремъ дешева скотына, та дороги мухы; за муху зъ мушеняткомъ дають корову зъ теляткомъ, а за оводивъ дають цилыхъ бугайивъ“. Якъ почувъ я цю ричь, такъ дуже зрадивъ. Отъ, думаю, штука! Теперъ-же я вразъ забогатю! Бо на той случай у мене дома до пропасти мухъ було. Бросывъ я кобылу, прыбигъ до дому, наловывъ цылисенькій мишокъ мухъ та й гайда до моря. Прыбигъ до моря, а погода була тыха та гарна, такъ що море блестило, якъ скло або дзеркало. Положивъ я на воду мишокъ мухъ, сивъ верхы та й переплывъ на той бикъ. Наминавъ я тамъ скотыны ажъ тры череды, прыгнавъ до моря, та й не знаю, якъ на другой бикъ переплыть. Якъ що нанять карабъ — дорого визьмутъ, а пустытъ скотыну плысты — багато потоне. Що тутъ робыть! Думавъ я, думавъ, голову чухавъ-чухавъ, а дали ось що выдумавъ: пиймавъ

чы-малу корову за хвистъ, размахавъ кругомъ головы, та якъ кыну, такъ и перекинувъ на той бикъ! Отъ, думаю, и гараздъ. Заходывсь я коло скотыны, перекидавъ усю на той бикъ, остався тильке одынь бугай, самый наибильший. Піймавъ я того бугая за хвистъ, обкрутивъ трычи кругомъ руки, розмахавъ його та якъ кыну! Такъ и перелетивъ умести зъ нымъ на той бикъ моря. Позбиравъ я тутъ до кучи усю скотыну, та хотивъ до дому гнать, колы слухаю, помижъ людьмы балачка ходе, що наче-бъ то на неби люде боси ходять. Оце, думаю, нашому козырю пидъ масть! Бо на небо я дорогу добре знаю, а скотыну мени не куповать. Поризавъ я усю скотыну, мнясо продавъ, а шкуры позбиравъ, та й полизъ на небо. Попродавъ я тамъ уси шкуры, наторгувавъ мишокъ грошей та пора вже й до дому. Такъ отъ лыхо! На небо-жъ не трудно було лизты, а якъ назадъ вертаться? Осталось у мене зъ десятокъ негодящихъ шкуръ, такъ я поризавъ ихъ на реминци, забывъ килокъ у небо, привъязавъ той реминь, та й давай назадъ спуськаться! Лизу та й лизу внызъ, колы тутъ на мою биду реминю не хватыло! Що тутъ робить, спивать, чы тужыть? Та тильке я бувъ на вси боки догадливый: подумавъ та заразъ и догадався. Полизу вверхъ, реминю одрижу, а внызу доточу; зверху одрижу, а внызу доточу, та все до земли блыжче та й блыжче. Такъ отъ беда, дійшло до того, що ризать ничего, а до землі ще далеко,

Колы на мое щастя люде на земли пшеницю віють, а полова до мене летыть. Зачавъ я ту полову хватать та бычовку сукать; добру бычовку ссукавъ, до реминю прывъязавъ, та й давай упъять спуськатыця. Усе-бъ гараздъ, та на свою биду забувъ, якъ бычовку сукавъ, помочыть ййи, вона й лопнула!

Полетивъ я сторчъ унызъ, объ хмару спиткнувся, разивъ изъ сто перевернувся, бувъ-бы объ землю убывся, якъ бы на той свить не провалывся. А тамъ сыдять царь та царыця та пьють горилочку зъ барыльця, а барыльце: буль, буль, буль, а хто слуха, тому симъ дуль.

(Станица Шкуринская. Заимствовано изъ разсказа Ивана Пивня).

Теща та зять.

Жывъ соби козакъ Бурлыма,
Та була въ його ряба кобыла,
Та пишовъ винъ до Уласкы
Позычать соби коляскы
— Но що тоби каляска?—
„Та повезу святыть паску“.
Запригъ винъ рябу кобылу,
Та й пойихавъ по-узъ могылу,
Не дойихавъ ще й до мосту,
Якъ не стало у кобылы косту;
Каляска рострусылась,
Паска роскрышылась.
Зачавъ Бурлыма паску збирать

Та заходывсь родывивъ споминать.
Згадавъ винъ бабу Наталку,
Що былась тры-дни задомъ обь лавку,
Спомьянувъ тещу та сваху,
Що надилилы жинку-невдаху;
Згадавъ и ти чотыри,
Що на прыпичку горохъ молотылы,
Не забудь и тихъ пьять,
Що пидь прыпичкомъ у соломи сплять
Прийихавъ кой якъ до теши въ гости
Поки зростутьця у кобылы кости.
А теща зятя прыгостыла:
Дубовымъ прачемъ угостыла.
— Оце тоби, зятю, за дочку плата,
Посередь спыны сыня лата!
„Ой, спасыби, тещенько,
Ой, спасыби, матинко!
Поки живъ буду,
Такъ не забуду,
А якъ де побачу,
Такъ ще й ласкою одячу!“
Якъ зачавъ же зять
Одъ теши тикать,
Та не попавъ, куды люде ходять,
А попавъ, куды фусы лазять.
Якъ прыбигъ до дому,
Наче зъ цепу зирвався,
Та заразы для теши
Зь обидомъ прыбрався.
Якъ наловывъ мужъ,
Та напикъ пампухъ,
Якъ наловывъ комашокъ,
Та наварывъ галушокъ;

Якъ назбиравъ гнылыць,
Та напикъ паляныць.
А солому сиче,
Та пироги пече,
А сино смаже,
Та пироги маже;
И гавьядыну варыть
И дубыну парыть
Та все до кучи складае
Та тещу въ гости выглядае.
Якъ пишовъ же зять
Та тещу у гости звать:
„Ой, матинко, голубочко,
Прыйдись до мене въ гости,
На часъ, на годыночку,
У святу недилечку“.—
— Ой, рада бъ я, зятю,
До тебе пидты въ гости,
Такъ ни въ чимъ пидты,
Ничымъ пойхать:
Батько на сходци,
Кобыла въ толоци,
Дуга у лиси,
А хамуть у стриси,
Спидныця въ кравця,
Чоботы въ шевця,
Сорочка у працкы,
А чепчыкъ у швачкы.—
— „Ой, матинко, голубочко, хочь добудь,
А до мене въ гости прыбудь!“
Якъ зачала жъ теща вдягатыця
До зятя въ гости прыбыратыця!
Выврвала лопушыну,

Та зробыла хвартушыну,
Нарвала лободы,
Та натыкала сюды й туды,
Хмелемъ пидперезалась,
Та такъ гарно прыбралась,
Що куды ны крутнетьця,
Та все й усмихнетьця.
Якъ усего добула,
Такъ до зятя въ гости прыбула.
„Спасыби вамъ, тещенько.
Спасыби вамъ, матинко,
Що прыйшлы насъ провидать,
Давайте зъ нами обидать“
Якъ зачавъ-же зять
Та тещу угощать!
Посадывъ за стиль
До стины очыма,
До дверей плечыма,
Та й заставывъ тещу,
Щобъ мухъ личыла.
Наличыла теща
Тысячу й двисти,
Теперь уже треба
Дать ййи йисты.
Дававъ зять тещи
Первую потравку,
Узявъ за ноги тещу
Та мордою объ лавку.
Сорока „кре-че-че“,
А зять тещу сиче
Тонесенькимъ дубцемъ,
Оглоблею кинцемъ:
„Оце тоби, тещенко,

Пыва кирець,
Оце тоби, матинко,
Оглобли кинець.
Теперь уже, тещенько,
Хочь сядь та й плачь,
Бо це тоби спомынки
За дубовый праць!“
Пишовъ зять на часокъ
Въ дубовый лисокъ,
Щобъ нарвать зилля
Тещи одъ похмилля;
Та тильке жъ теща
Зятя не диждала
Та въ викно изъ хаты
Рака показала.
Прыбигла до дому, прылизла
Та заразь на пичь полизла.
„Тикай, диду, зъ печи,
Я попарю спыну й плечи“.
А дидъ злазыть не хоче
Та все на бабу буркоче:
— Добре тоби у зятя
Та медъ-пыво пыть,
А мини нїяково
На пичи сыдять.
„Ой, цуръ, йому, диду,
До зятя ходыть,
Въ дочкы гостювать
Та медъ-пыво пыть.
Бо зятывъ медокъ
Дуже солодокъ,
А зятнее пыво
У ноги вступыло.

Була въ бабы сучка,
А звалы Кутючка;
Якъ сучка брехне
А баба й зитхне:
— Ой, матинко, лышечка,
Чы не зять иде!
Викна зачиняйте,
Двери засувайте,
Треклятого зятя
Въ хату не пускайте.

(Записано отъ Гречука и др. въ ст. Павловской)

Паниболотський кардонь.

Яки-жъ и гарни сваталы мою дочку Ларку, Замайивськи козаки ладни! У йихъ сады лады, яблѣкы якъ два кулѣкы, за высокымы могыламы росте терень, кгудзыламы. А вона, суча-дочка, гу та й гу на чужу станыцо! Та й полюбыла Паниболотського козака Голыстрата Бенюха, на прызвище Скочка-Брамбурщыка; бо въ його, бачъ, чоботы на скочкахъ, а штаны на брамбурахъ. Виддалы мы й замижъ дочку за того Бенюха-Брамбурщыка, а винъ — скоро й на службу пишовъ, на той Паниболотський кардонь. — Жывемо мы зъ старою, та й жывемо, то такъ, то сякъ, то скокомъ, то бокомъ. Отъ разъ стара й каже:

— А чы не пойхать намъ, старенькый, до зятя въ гости, службу його провидать?

— Такъ що-жь,—кажу,—чы пойдёмъ, то й пойдёмъ.

Запрягли мы у визъ волюкивъ, набрали харчивъ, та й поихалы. Прыйизжаемъ у Паниболотський кардонъ, та й пытаемъ:

— Чы тутъ служыць нашъ зять Голы-стратъ Бенюхъ, на прызвице Скочокъ-Брам-бурщыкъ?

— Тутъ,—кажуть намъ,—тутъ; та винь уже й урядныкъ.

Якъ почувъ я цю ричь, такъ дуже зрадивъ, а стара моя зъ радощивъ якъ крыкне: „матинко!“ наче ййи хто ззаду выламы поцупывъ.

Колы дывымось, ось и зять нашъ иде, та такой бадьорыстый, що твій охвыцеръ! Поздоровкалысь, почоломкалысь, силы на траву, та й давай балакать про те, та про се, та про його службу. Колы це йдутъ наши знакимци: Смола Трохымъ, Дудныкъ Пархымъ, Колывайко Иванъ, Халявка Романъ, ще й Кгедзомелко.

Якъ побачылы насъ, такъ - таки стали ради, що заразь накупылы горилкы: Смола Трохымъ, Дудныкъ Пархымъ—штовхъ, Колывайко Иванъ, Халявка Романъ — штовхъ, Кгедзомелко самъ, правду, штовхъ, а я, глядя на йихъ, та й соби штовхъ! Та якъ узялы по штовху, та якъ посадалы на шляху, та й давай пыть та гулять.

Заразь узявъ зять одынъ штовхъ, та й давай усыхъ поштувать. Такъ уже-жь такъ гарно поштувавъ, що й казать никуды! А

горилка така добра та мицна, що якъ перекынувъ я перву чарку у ротъ, такъ мене такъ и шкрябонуло, якъ серпомъ у горли! А дали горилка зробылась така, якъ масло, такъ чарочка за чарочкою и котытьця по горли. Якъ выпывъ я чарокъ зъ десятокъ, такъ мене ажъ потомъ проняло, а морда якъ сцилныкомъ узялася. А якъ выпывъ ище зъ нестильке, такъ мени ноги одибрало и языка одняло, а дали—очи посоловили, и ставъ я—що твій соловейко! А перегодомъ, не вамъ кажучы, и въ регачку вкынуло! Колы тутъ прыйшлы до насъ музыченькы, та якъ ушкваряють швыдкои, такъ тильке ну! Якъ исхопытьця моя жинка та попередъ нымы дрипъ-дрипъ, дрипъ-дрипъ...

Пронялы й мене музыченькы, наче я не той ставъ, а жинка ще дужче раздрочыла! Схватывся я зъ мисця, захватывъ матню въ кулакъ, та й пишовъ на вытребенькы...

Такъ отака то скоилась у насъ гульня у тому Паниболотъскому кардони!

(С. Павловская. Заимствовано изъ разсказа С.Ш.).

Дидъ та школяръ.

Було це дило въ давню старовину, якъ ище по селахъ та станыцяхъ мало школъ було.

Тоди якъ хто зъ богатыхъ людей хотивъ сына отдать у школу, то й треба було одвозыть його у третю, або въ пъяту станыцю, бо не въ кажній станыци булы школы.

Одного разу ишовъ такой школяръ изъ школы до дому, на литню вакацію, та и зайшовъ у одно чуже село, чы станыцю. Уже зайшло и сонце, треба було попросытьця до кого-небудь переночувать. Зайшовъ школяръ у одну вулицю та на биду попавъ у таке мисце, що по тій вулицы, наче ричка, стояла велычезна калюжа, такъ що дали ніякъ нельзя було йты, — хочъ назадъ вертайся.

Дывытьця школяръ, ажъ йиде дидъ порожнимъ возомъ, винъ и просыть:

— Диду, будьте ласкови, перевезить мене черезъ оцю калюжу на сухе мисце.

А хто ты такой?—пытае дидъ.

— Школяръ.

— Шкляръ? Ну, то й добре, що ты шкляръ, бо въ мене дома шыбки йе побыты; сидай, повезу тебе ажъ до дому.

Школяръ швыденько змостывся мовчки на воза та й пойихалы. Трохы згодомъ, дидъ роздывыся, що у школяра высыть черезъ плыче торга, та й пытае:

— А що це у тебе въ торби?

— Кныжки,—каже школяръ.

— Та хто-жь ты такой?

— Школяръ.

— Э, якъ що ты школяръ, такъ геть къ бису зъ воза, бо я знаю васъ школяривь — уси вы наголо шыбеныкы!

Погано прыйшлося бы школяреви, та тильке винъ бувъ догадлывыи хлопецъ. Якъ ставъ його дидъ проганять, винъ швыденько пи-

шовъ по вѣю, сивъ на ярмо, выннѣвъ прытыку та на воливъ: „Собъ!“ „Гей!“—та й выйхавъ съ калюжи на суше, а воливъ коло калюжи бросывъ. Не успивъ разглядитьця дидъ, якъ школяра й близько нема, а винъ остався середъ калюжи на вози, безъ воливъ. Лаявся, лаявся дидъ, та ничѣго не поробышь! Прыйшлося воливъ ловыть та середъ калюжи въ грязи у визъ запрягать.

А школяръ тымъ часомъ пишовъ та й пишовъ по станыци, та заглядившы у одній хати свитло, попросывся ночувать, зализъ на пичъ, та й сыдыть, гріетьця; на свою биду винъ якъ-разъ попавъ у дидову хату.

Прыйхавъ дидъ до дому увесь у грязи, роспригъ воливъ та й увійшовъ у хату колы роздыввся, ажъ и школяръ на пичи.

— Э, такъ це й ты тутъ!—каже дидъ.— Ну, щастя-жъ твое, що теперь я не такой сердытый. Злазь же съ печи та будемъ вечерять.

Силы, повечерялы, а дидъ ничего — мовчыть. Кончылы вечерю, помолылысь Богу, а дидъ тоди й каже:

— Теперь будемъ спать лягать, та тильке я хотивъ тебе попытать, чы гараздъ тамъ васъ у школи вучять.

Узявъ школяра за рукавъ, пидвивъ до каганця, показуе на огонь та й пытае:

— Скажы мини, що це таке?

— Хиба-жъ вы, диду, не знаете? Огонь!

— Брешешъ, сучый сыну! — крыкнувъ дидъ, та хватъ школяра за чуба. — Це у насъ зветьця красота, красота, красота...

Добре намнявъ школяреви чуба, а дали показуе на кишку, та упьять пытае:

— А це що таке?

— Кишка,—каже школяръ.

— Брешешъ, сякый - такый! Це у насъ зветьця чыстота, чыстота, чыстота...

Та знову намнявъ добре чуба.

— А це якъ зветьця? — показуе дидъ на сволокъ.

— Сволокъ,—каже съ плачемъ школяръ.

— Брешешъ, сучый сыну! Це зветьця высота, высота, высота...

Та й знову за чуба.

— А це що таке?—показуе на воду.

— Вода,—каже школяръ.

— Брешешъ, бисивъ сыну! Це у насъ зветьця благодать Божа, благодать Божа, благодать Божа...

Намнявъ дидъ школяреви чуба, скильке хотилось, та й наказуе:

— Оце тоби, разумный школяръ, навука, щобъ старыхъ людей почитавъ та поважавъ, а то, може, васъ у школи цему не вучать. Теперь лягай спать та помны мою прышту.

Лигъ школяръ спать, а дидъ зъ бабою зализлы на пичъ та скоро й поснулы; тиль-

ке одному школяреви не спытыця, — дуже чубъ болыть. Прыслухавсь винъ, що дидъ зъ бабою уже добре заснулы, та й надумавъ зробить штуку, щобъ и дидъ його помнывъ. Піймавъ винъ кишку, привъязавъ до хвоста кусокъ прядыва, намочывъ його у каганци, та й запалывъ, а кишку пустывъ на горыще. Быйшовъ тоди самъ на двиръ, та й гукае въ викно:

— Диду! Диду! Буде вамъ спать, вставайте хату рятувать! Бо взяла ваша чыстота красоту та понесла на высоту: якъ не буде зъ неба Божои благодати, такъ не буде у васъ и хаты, щобъ зналы, якъ школяривъ за чуба мнять!

— Геть къ бису, чортивъ шыбенуку, — крыкнувъ съ просонку дидъ.—Бо якъ устану зъ печи, такъ ще гирше чуба намну!

Колы якъ займетьця хата! Такъ насылу сусиду втушылы, а верхъ трохи не увесъ згоривъ.

Отаки-то у старовыну школяри булы!

(Изъ разсказа Ефима Пивня. Станица Павловская).

Дурни люде.

Жылы соби десь дидъ зъ бабою, и бувъ у ихъ тильке одынъ сынъ Степанъ. Дидъ та баба булы вже дуже стари та такы булы й дурни. Не живъ зъ нымы Степанъ, а

тильке мучывся черезъ йихъ дуристь. Разъ топыла баба пичь, а дидь прынись у хату дровъ, та якось и упустывь одынъ дрючокъ до долу. Баба якъ заплаче!

— Чого ты плачешь?—пытае дидь.

— Якъ же мени не плакать,—каже баба,—що якъ-бы мы булы оженылы Степана, та бувъ у насъ маленький унучокъ, такъ оце, диду, ты-бъ його дрючкомъ убывь.

— Охъ, правда,—каже дидь,—та давай и соби плакать!

Сыдять, ревуть у двоухъ на всю хату. Увійшовъ у хату Степанъ, розпытався, чого воны плачуть, та й зовсимъ розсердивсь.

— Нема мени спокою зъ вами! — каже йимь. — Пиду по свиту блукать, дурныхъ людей шукать. Якъ найду дурнишихъ за васъ, такъ тоди тильке вернусь до дому.

Узявъ Степанъ у торбу хлиба, у руки ципокъ, та й пишовъ соби свить-за-очи. Иде, та й иде. Прыйшовъ у одно село, а назу-стричь йому жене стара баба квочку зъ курчатамы, бье квочку хворостыною та на весь ротъ лае:

— Ачъ, сяка-така птыця! Навела курчать цилу кучу, а чымъ ты йихъ годуватимешъ, колы немае у тебе ни цыщечкы ни пыптычка!

Лупытъ хворостыною та одно лае.

Прыслухавсь Степанъ до бабыной лайкы, лоздоровкався, та й каже:

— А чы есть у васъ, бабусю, шноно?

— Есть, шыночку, а на-що тоби?

— Ось принести сюда, а я курчатамъ посыплю.

Принесла баба пшона, посыпавъ Степанъ на землю, а квочка зъ курчатамы и зачалы йисты.

Зрадила баба та давай йому дякувать.

— Отъ спасыби тоби, шыночку, що навчывъ, а я цего й не жнала!

Пишовъ Степанъ дали. Тыльке поривнявся зъ однією хатою, колы слухае, ажъ у хати крычыть якый-сь чоловікъ не своимъ голосомъ.

Ускочывъ Степанъ у хату, та й дывытьця.

А тамъ середъ хаты стоить чоловікъ, а на голови у його надитый новый мишокъ изъ билого полотна, и коло його стоить жинка та зъ усіей мочи бье його рублемъ по голови.

— А що це вы робыте, добри люде?— пытае Степанъ.

— Та оце я,—каже жинка,—зроду сорочокъ не шыла; а чоловікови моему забажалось новои сорочки. Такъ я оце пошыла йому та надила на його, та й хочу пробыть рублемъ зверху таку дирку, щобъ голова пролазыла.

— Пострывайте, титко,—каже Степанъ,—не быйте, я вамъ покажу, якъ дирку зробыть.

Узявъ сокыру, прорубавъ у мишку дирки для головы и для рукъ, та й надивъ на чоловіка. Такъ ти люде такъ зрадили, що Степанъ научывъ йихъ сорочки шыть, що нагодувалы його добре, ще й грошей далы.

Пишовъ дали Степанъ; иде та й иде, колы дывытыця, коло одніей хаты стойць баба и держыть бузивка за налыгачъ, а дидъ зъ усіей сылы лупыть його, ломакою. Здывуався Степанъ, поздоровкавсь, та й пытае:

— На що це вы бьете цього бычка, добри люде?

— Та выросла,—каже дидъ,—у насъ на хати трава добра, такъ оце хочемъ туды бузивка зигнать, щобъ траву пойивъ, а винъ иты не хоче.

Найшовъ Степанъ косу, выкосивъ на хати траву, та й скыдавъ додолу, а бычокъ и йистъ. Подякувалы його дидъ зъ бабою за науку, а Степанъ пишовъ соби дали. Иде та й иде, колы зыркъ на одну хату, ажъ сыдыть на хати старый дидъ безъ штанивъ, а голи ноги изъ стрихы у нызь звисывъ; а внызу пидъ хатою стоить баба и держыть у рукахъ штаны — ростопырыла.

Здывувся ще бильше Степанъ на таку кумедю, пидійшовъ, поздоровкавсь та й пытае:

— А що це вы, дидусю, робыть хочете?

— Та це я,—каже зъ хаты дидъ,—зроду штанивъ не носывъ, а теперь не старистъ баба пошыла, такъ не доберемъ толку, якъ йихъ надивать. Та оце вже баба надумала: злизь, каже, на хату, я штаны растопырю, а ты прямо й плыгнешъ у штаны.

— Не плыгайте, дидусю,—каже Степанъ,—бо ще вьетесь, а лучше злизьте,

такъ я вамъ и такъ покажу, якъ штаны надивать.

Злизъ дидъ зъ хаты, а Степанъ и показавъ йому, що слидъ. Дуже дякувалы йому дидъ зъ бабою, оставлялы начувать, та тильке Степанъ не схотивъ оставатьця, а завернувсь до дому.

„Багацько ще дурныхъ людей на свити; есть и дурниши за мого батька та матирь“, думавъ Степанъ, та й остався жыть дома.

(Изъ разказа Ефима Пивня. Станица Павловская).

Нисенитныця.

За царя Панька, якъ була земля тонка, жыла моя маты Хымка; а я народывся за царя Горошка, якъ було людей трошкы; якъ снигъ горивъ, а соломою тушылы, якъ небо було лубьяне, а шкуратяни гроши ходылы. Тоди саме гныда ишла замижъ за Демыда, черепаха була сваха, а на свайби помело, кажуть, яйце знесло. Котивъ тоди ще й заводу не було, а про собакъ и не чулы, а индыкы таки булы здорови, що якъ зарядуть було одного, такъ добудуть зъ його тры дижкы сыру, коробку масла, та сотню яецъ.

Якъ маты моя вмерла, такъ я бувъ уже добрымъ парубкомъ, а дидъ мій бувъ ще невеличкымъ хлопчыкомъ, а батька, ще й на свити не було. Баба була хочъ трохи

уже й старенька, а все-таки добре тямыла и спекты и зварыть, а намъ зъ дидомъ бильшь ничего й не треба. Такъ мы съ дидомъ добре робылы, весною чумакувалы, литомъ стрильцювалы, а якъ прыйде було зима, то звисно, якъ и вси добри люде, на степу робымо.

Якъ запряжемъ було зъ дидомъ у визъ воливъ та накладемъ выль та грабель, та й пойдемъ у лись ловыть ведмедивъ. Дидъ було вйя заструже, а я заховаюсь у кущи та на ведмедя якъ тюкну, такъ винъ зъ переляку роззявыть ротъ та такъ на вйя и наштрыкнетьця; а дидъ забижыть иззаду та килочкомъ и закладе. Якъ заходымось мы тоди зъ дидомъ та такъ зъ жывого ведмедя шкуру й знимемъ.

Було у насъ две пари воливъ: одна чужа, а друга не наша, тры рыжыхъ, а одынь четвертый; такъ мы й зибралысь разъ зъ дидомъ у Крымъ по силь; йидемо та й йидемо, а волы у насъ булы дуже строги та якъ побижать! А визъ тоди: другъ-другъ! а мазныця — хряпусъ! а деготь и ставъ! Колы дывымось, ажъ у степу кущъ терну, такъ мы и осталысь коло його ночувать. Розвелы огонь, зварылы на вечерю кашу, та тильке що силы пообидать, колы слухаемъ опивночи—вовкъ вые. Я й кажу дидови:

— Це насъ вовкы пойдять!

— А пиды лышь довидайсь,—каже дидъ.

Пишовъ я на вовчий голось, пидхожу до куща терну, колы вовкъ видтиль тильке

шелестъ! Я до куща—ажъ винъ яйце знисъ! Заходылысь мы зъ дидомъ те яйце на визъ класты, та нйакъ положыть не зможемъ—таке вельке! Та насылу уже я догадавсь—у шапку його взявъ. Прыйизжаемъ до дому, ажъ баба хрестыны пье,—батько народывсь.

А чога це вы прыйихалы?—пытае баба.

— Та вовче яйце выдралы!

— Ну, ото й добре! Бо у насъ уже цилу недилу свыня квокче.

Пидсыпалы мы пидъ свыню те яйце, по-сыдила вона тры дни та й вылупыла намъ дванадцять коровъ зъ телятьмы. Усе здаетьця добре, такъ никому коровъ дойти. Дидъ малый, а баба стара, а я хочъ и добрый бувъ парубокъ, такъ до цього дила не дотепный. Що тутъ робыть? Думавъ я, думавъ, голову чухавъ-чухавъ, а дали ось що вы-думавъ. Жылы мы пидъ самою горою; такъ я выкопавъ съ горы ривчакъ до самага погриба, вымазавъ глыною та й справывсь. Якъ напасе було дидъ коровъ та жжене на гору, то мы й выйдемъ зъ бабою коровъ дойти; доймо та й доймо, а молоко бижыть по ривчаку прямо въ погрибъ. Подойилысь такъ днивъ зотры, та й надойилы повынъ погрибъ. Якъ погнався жъ разъ кумивъ рябо та за сватовою сучкою, та й упалы обое въ погрибъ, якъ зачалы коло-тыть масло, такъ наколотылы боклагъ дровъ, пыхтеръ яецъ та на выла сметаны—блынецъ помазатъ.

Прыйшла зима, треба поле орать, а тутъ, якъ на биду, волы подохлы,—ничымъ поле орать. Зажурылысь мы зъ дидомъ, та ничего не зробішь! Та спасыби насъ баба порятувала.

— Дурни вы,—каже,—зъ дидомъ обое! Чого вамъ за воламы журытьця, колы у насъ йе—добри пидсвынкы. Визьमितъ запряжить, та й робить наздоровья.

Подслухалы мы зъ дидомъ баба, та й заходылысь коло роботы. Запрягли у рало два пидсвынкы. та тры индыкы на прыстяжку, та й прынялысь поле орать. Оремо та й оремо, а тутъ на нашу биду морозъ, ажъ земля трищыть! Не потягне рала наша худоба, та й годи. Бросылы мы роботу, та й вернулысь додому.

— А чого це вы вернулысь?—пытае баба.

— Та земля замерзла! Будемъ, мабутъ, сей рикъ безъ хлиба.

— Оце-жъ вы,—каже баба,—двичи дурни. Чого вамъ журытьця марно, колы у насъ пичъ гуляща; визьमितъ, выорить, та й посьйте хлибъ.

Послухалы мы упьять бабы, бо вона у насъ була такы дуже розумна, та й затіялы коло печи роботу. Якъ началы орать и на пичи, и по пичуркамъ, и у запичку, и пидъ прыпичкомъ, та й наоралы цылыны дванадцять десятинь.

Якъ посіялы хлибъ, такъ такой вырись, що ажъ пидъ стелю достае. Якъ зачалы-жъ мы той хлибъ жать та косыть, та й на-

кчалы на комини дванадцять стогивъ, та такихъ высокихъ, що якъ глянешъ на нихъ, такъ шапка на очи такъ и насовуетьця! Якъ завелысь-же у стогахъ мыши! А у насъ тоди китъ добрый бувъ, та якъ зачавъ за нымы ганятыця: мыши пидъ стигъ, а китъ на стигъ,—такъ и повалявъ уси стогы въ помыйныцю!

Такъ мы й zostалысь той рикъ безъ хлиба.

Прыйшло лито, а мы зибралысь зъ дидомъ стрильцювать — вовкивъ бытъ. Тры дни по лису ходылы, ничего не вбылы; стали до дому вертатыця, колы я глянувъ на вербу, що коло хаты росла, ажъ тамъ вовкъ сыдыть, рыбу йистъ. Роздывылыся мы зъ дидомъ, ажъ на верби сей годъ окуни та шуки вродылы! Узявъ я ружныцю, прыцилысь, та якъ стрельну у вовка, такъ куля тильке брызъ! А вовкъ якъ полетытъ— тильке крыламы захлопавъ! Полизъ я на вербу шучыхъ яецъ драть, та й надравъ повну шапку; ставъ назадъ злазытъ, колы воно щось якъ запыщытъ! Я стрыбнувъ на землю та тикать! Прыбигъ у хату, а воно пыщытъ; я—на пичь, а воно пыщытъ; я съ печи пидъ лавку—а воно пыщытъ, я съ хаты та у погрибъ—а воно усе пыщытъ; колы прыслухавсь добре, ажъ воно у мене въ носу!

Такъ я такъ злякався шо и самъ себе не помню.

А тутъ вырослы наши телята, та стало такихъ шість паръ воливъ, якъ соколивъ! Заходылысь мы зъ дидомъ поле орать, бо вже на зиму повернуло. Оралы, не оралы, дви десятыны наоралы та дванадцять гаку. Якъ посіялы конопли, якъ уродылы вербы, такъ якъ зацвилы раки! А баба й каже:

— Пойидемъ, диты, у поле ягидъ рвать.

— Такъ щожъ,—кажу,—чы пойидемъ, то и пойидемъ!

Пойихалы по ягоды, та й нарвалы два невшываныхъ возы сметаны. Вывезлы у Павливу на базаръ та якъ крыкнулы „по чоботы!“, такъ назбиралось стильке людей, що розибралы усю сметану, а мы гроши пощыталы, якъ за перець; тильке подумалы вертатця до дому, колы якийсь дурень носыть по базару лопату; купылы—мы ту лопату, выкройилы зъ неи свыту, та якъ прышылы комиръ до подушкы, такъ стало таке вйя, що й волы не поламають!

А тутъ саме ставъ нашъ хлибъ поспивать.

Такъ уже-жъ и уродыло добре! Якъ выйдемъ було зъ дидомъ у поле, та глянемъ на хлибъ, такъ то чужый, а то не нашъ; то чужый, а то не нашъ! А якъ пидрослы конопли, такъ ленъ зацвивъ. Я й кажу дидови:

— Це пора уже ленъ косыть.

—Пора,—каже дидъ.

— Такъ мы й заходылысь коло його коратця: тры дни косылы, чотыри моло-

тылы, а п'ять в'ялы. Та й нав'ялы зъ того льону гарбу коросты та чуваль паслену. Якъ вывезлы у Павливськый базарь, до хлибной ссыпки на продажъ, такъ узялы гроши дуже хороши: тры вырвы, десять стусанивъ та мишокъ кулаччя! Такъ мы зъ тихъ грошей трохи въ хазяйстви и пидправылысь!

А якъ батько пидрись, та ставъ уже чымалымъ хлопцемъ, такъ я його у школу оддавъ грамоты навчытьця. Винь, спасыби йому, добре грамоты навчився, бо заразъ, якъ изъ школы выйшовъ, рыбалкою зробывся. Якъ закыне було удку у чужу будку, такъ и тягне колы не кожухъ, такъ свыту.

Такъ мы якъ разжылыся, такъ добре одяглыся, та й понаймалысь до людей зкотыну пасты, бо йисты було ничого!

А якъ я у батька рыбалыть навчився, такъ оженився, та й своимъ хозяйствомъ розжывся. Давъ мени тестъ у прыдане: куль соломы, михъ половы, чужый байракъ, семеро собакъ и того вола, що дома нема. Якъ пос'явъ я у первый рикъ хлибъ, такъ уродыло жыто, пшениця и у запичку дитей копыця, такъ я й пишовъ тоди богатить.

(Записано въ ст. Павловской, со словъ Ев. М., Е. Г. и Д. Ш.).

Коротунъ-Небида.

Жывъ соби козакъ
Коротунъ-Небида,
А яка въ його й не-бида,
Що не пьетця вода.
Пишовъ Небида
Шукать случаю,
Щобъ купыть у лавци
Сахарю-чаю;
Такъ винъ найшовъ
Такого случаю,
Тай купывъ соби
Сахарю-чаю.
А якъ найшовъ?
А такъ и такъ:
Бувъ соби чоловикъ
Абдулка-Арапъ,
Такъ винъ у його съ кешени
Грошыкы й шкрябъ!
Добре було йому жыть,
Добре, не худо.
Купывъ винъ для чаю
Стаканъ та блюдо.
Добре йому було
Чужи гроши прожывать,
Та не зумивъ винъ якъ слидъ
Оти гроши сховать.
Сховавъ гроши въ халявку,
Та й пишовъ у лавку;

А Арапка та люде
Зналы ци штукуы,
Та якъ-разъ и піймалы
Не-биду въ руки.
Зачалы його лаять,
Лаять та гудыть.
А скажемъ, що йому
За ци штукуы буде?
Та що?—Знимуть штаны,
Та й дадутъ звычайю,
Що-бъ не кравъ грошей
Та не пывъ чаю.

(Записано дословно отъ Е. Г., въ ст. Павловской).



II. ДРИБЬЯЗОКЪ.

— Що це у тебе, дочко, болячка, чы-що?
— Ни, мамо; йихала яка-сь роззява та
голоблюю мени въ ротъ.

— Грыцько!
— Чого!
— Що я у тебе спытаю?
— А що?
— Чы ты не знаешъ, чого люде бувають
то бияви, то чорняви?
— Якъ не знать,—знаю.
— А чого?
— Отъ дурный! Уже-жъ не чого, якъ
того, що одни родятыця у день, а други въ
ночи.
— Це-бъ то днемъ — били, а ноччу
чорни?
— Та вже-жъ не якъ!
— А й справди, мабутъ, такъ! Ну, а рыжи
колы?
— Рыжи?
— Эге!
— Рыжи—те-жъ у день, тильке тоди, якъ
дуже жарко.

(Сообщилъ Н. Костенко).

- Що ты ийсы?
 - Печинку.
 - Да же й мени.
 - Эге, уже всю ззивъ, сама кистка зосталась!
-

- Чоловиче, а чоловиче!
 - Чого?
 - Що-бъ ты робывъ, якъ-бы я на тебе сказала „брешешъ“, такъ-якъ кума каже своему чоловикови?
 - Що? Бывъ-бы!
 - Та брешешъ!
 - Ей-бо, бывъ-бы!
-

- Выпый чарку горилкы!
 - Не хочу.
 - Хиба ты не пьешъ?
 - Ни.
 - Та выпей одну, хочъ маленьку:
 - Ну, давай уже одну выпью, та й то тильке черезъ те, що голова болыть съ похмилля.
-

Якъ у козака визъ давно не мазаний, такъ винъ дуже скрыпыть. Передни колеса наче выказують:

— Хазяинъ, дегтю купы! Хазяинъ, дегтю купы!

А задни:

— Лучше пропыть, чымъ дегтю купыть!
Лучше пропыть, чымъ дегтю купыть!

Звисно, що козакъ частише задни колеса
слухае, нижъ передни.

— Видкиль?

— Видтиль.

— По чимъ?

— По симъ.

— Ого!

— Эге!

(Сообщилъ М. Дикаревъ).

— Здоровы, Полтавци!

— Мовчымо, — богати стали!

— Чы вы-жъ жонати?

— А якъ-же!

— А жинкы?

— Овва!

— А дитей?

— О-го-го!

— А хлиба?

— М!

— Здоровъ, куме!

— Хто? Я?

— Э.

— Що, здоровъ?

— Э.

— Та здоровъ!

— А видкиль ты, куме, йидешъ?

— Хто? Я?

— Э.

— Видкиль йиду?

— Э.

- Та зь ярмарку.
 - Прощай, куме! Цобъ!
 - Прощавай! Цабе!
-

— Діяты, діяты, йиде батько сіяты, бере матирь волочыть, та намь його не учыть!

Печерыци та опенькы, заходывсь старый коло ненькы: якъ ставъ молотыть, такъ ажъ пирья летыть!

- Чого ты плачешь?
 - Батько вмерь.
 - Одъ чого?
 - Зь голоду.
 - Хиба хлиба не було?
 - Ни, хлибъ бувъ, та ножа не було—вризать!
-

— Передавъ кути меду! Теперь сучого сына диты не йистымутъ!

— Чы не гаспидськи диты! Такъ зна-ровылы кобылу, що й по голови не влущышь!

— Не купывъ батько шапки, чортъ його беры, нехай уши мерзнуть!

- Що батько хворяе?
 - Хворяе.
 - Дуже?
 - Ни, трохы стало легше.
 - Якъ?
 - Та, бачъ, раньше усе плювалы на землю, а теперь уже на бороду.
-

- Здоровъ, куме!
 - На ярмарку бувъ.
 - А кума жыва?
 - Кобылу купывъ.
 - Чы ты, куме, не ошалопутивъ?
 - Та на выгони спутавъ!
 - Та хай вона тоби здохне!
 - Спасыби.
-

У буденный день зайшовъ батько зъ сыномъ у кабакъ горилкы выпыть; выпылы добре, та й идуть до дому, обнявшись, а назустрічь йиде сусидъ, везе косаривъ на степь.

— Хазяйнуемо мы, тату,—каже сынъ,— бодай чортъ, нашего батька попохазяйнувавъ!

— Чіего, сынку, батька?

— Та якъ що жалко вамъ, тату, свого, такъ нехай мого!

(Ст. Уманская. Сообщилъ Рутницкій).

— Чымъ вы втераетесь?

— Батько рукавомъ, маты спидныцею, а я на пичи такъ сохну.

— Господы, просты! Бувъ я на страсти, купывъ свичечку за копіечку, понюхавъ— медомъ пахне, такъ я и ззивъ.

— Що твоя кобыла жеребна?

— Жеребна! Тильке хвистъ та ребра!

— Сестры — вечиръ, добрячки, чы не тылячылы нашего бачаты?

— А яке-жь воно?

Пидъ сиренькымъ черевеньке, на лыси лобочка, на кытечци шычка, на мотузочци хвостыкъ.

Тылячылы, добрычко, тылячылы. Пидъ нашимъ ночомъ стогувало; мы кыдьма сокырячылы, а воно задрало лозы, та побигло у хвосты.

(Г. Екатеринодаръ. Сообщилъ Золотько).

— Та й розбогативъ-же нашъ Охримъ!

— Якъ?

— Ныткою хлибъ риже!

— Чымъ ты укрывся?

— Мишкомъ.

— А въ головахъ що?

— Мишокъ.

- А пославъ що?
- Мишокъ.
- Дай же мени хочъ одынь.
- Та у мене одынь у самого!

(Записано со словъ Е. Пивня).

- Стій, Оксано, бо воно ще рано!
- Э, стояла бѣ, такъ хлиба не брала, а вы свого не дасте.

- Де винъ живе?
- Не доходя, мынаючи, де Четверъ-Мышка живе, на ри-суботы; ряби тамъ ворота та нова собака, а погрибъ у яму впавъ.

- Здоровъ, Исаю!
- Чаекъ шукаю.
- Чы ты ще живъ-здоровъ?
- Та вже четверо найшовъ.
- А чы благополучни тамъ жинка та диткы.
- А чортъ йихъ пійма, пидлиткивъ.
- Тю на тебе! Чы багато васъ такыхъ дуракивъ?
- Та чотыри дижки жинка наскребла, та мишкывъ зъ десятокъ на базари продавъ.
- Хай вони тоби прокыснуть и ты зъ ными!
- Спасыби!

— Чы тутъ можна перейихать?

— Ось пойдь! Тамъ тебе й Матвій по-
снида!

— Чымъ гришенъ?

— Малымъ, родывся, пьянымъ умеръ, ни
чога не знаю.

— Иды, душа, въ рай!

Колмыкъ, що ты робышь?

— Рыба печу.

— Де-жъ ты ййи взявъ?

— Самъ на кибитка прыскакавъ.

А винъ настромывъ жабу та й пече на
вогни.

(Сообщилъ Вишницкій).

— Скильке васъ?

— Я, Тарасъ, та Панасъ, та той хлопець,
що въ насъ, та тихъ п'ять, що въ соломи
сплять, та два парубка, носатыхъ, та дви
дивкы патлать, та Нестиръ, та Нестирка,
та дитей у йихъ шестирко, та батько, та
маты, та чотыри браты, а въ бративъ по
жинци, а въ жинокъ по дытынци.

Одынъ разъ сторожъ коло церкви уда-
ривъ у дзвинъ дванадцять часивъ, а тре-
ба було быть тильке одынадцять.

— Що ты наробивъ,—каже другый сто-
рожъ,—це ты ударивъ лышній разъ!

— Такъ що-жъ теперъ робыть?

— Одбый назадъ!

Такъ той прыбавывъ ище разъ, та й вый-
шло трынадцять.

Прыспивы до гопака.

Сыдыть козакъ на терну,
Та й штаны латае:
Терень його ззаду коле,
А винъ його лае.

Ой, Боже мій мылостывый,
Якый-же я вдався:
Мого батька повисылы,
А я одирвався!

Ой, дивчына Орына
Пойихала до млына,
Зачепылася за пень,
Та й стояла увесь день.

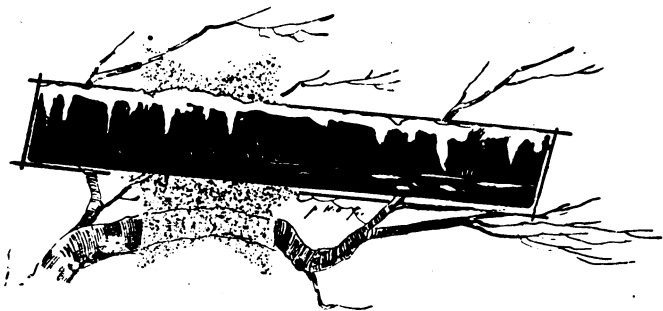
Ой, ты ходывъ, а я спала.
Ой, ты свыснувъ, а я встала;
Та забула попытаты,
Чого ходышь коло хаты.

Прыспивы до горилкы.

И хлибъ на столи,
Горилочка летьця,
Якъ выпью я чарку—дви,
Все лыхо мынетця.

Ой, пый та не лый,
Любы жинку та не бый;
Буду лыть, буду пыть,
Буду любыть, буду й быть.

Гей, чого хлопци, добри молодци,
Чого смутни, невесели,
Хлиба въ хазяина мало горилкы,
Мало меду и пыва.
Повни чары всимъ нальвайте,
Щобъ черезъ винця лылося,
Щобъ наша доля нась не цуралась,
Щобъ добре въ свити жылося.



Оглавление.

	<i>Стр.</i>
I. Смиховинны.	
Старынна служба	3
Хивря та Хымка	5
Слипци	6
Чудна розмова	7
Яка работа, така й плата	8
Брехенька	9
Теща та зять	14
Паниболотський кардонь	19
Дидь та школяръ	21
Дурни люде	25
Нисенитныця	29
Коротунъ-Небида	36
II. Дрибязонъ	38
Прыспивы до гопака	46
Прыспивы до горилкы	—





3 2044 048 075 519

Digitized by Google